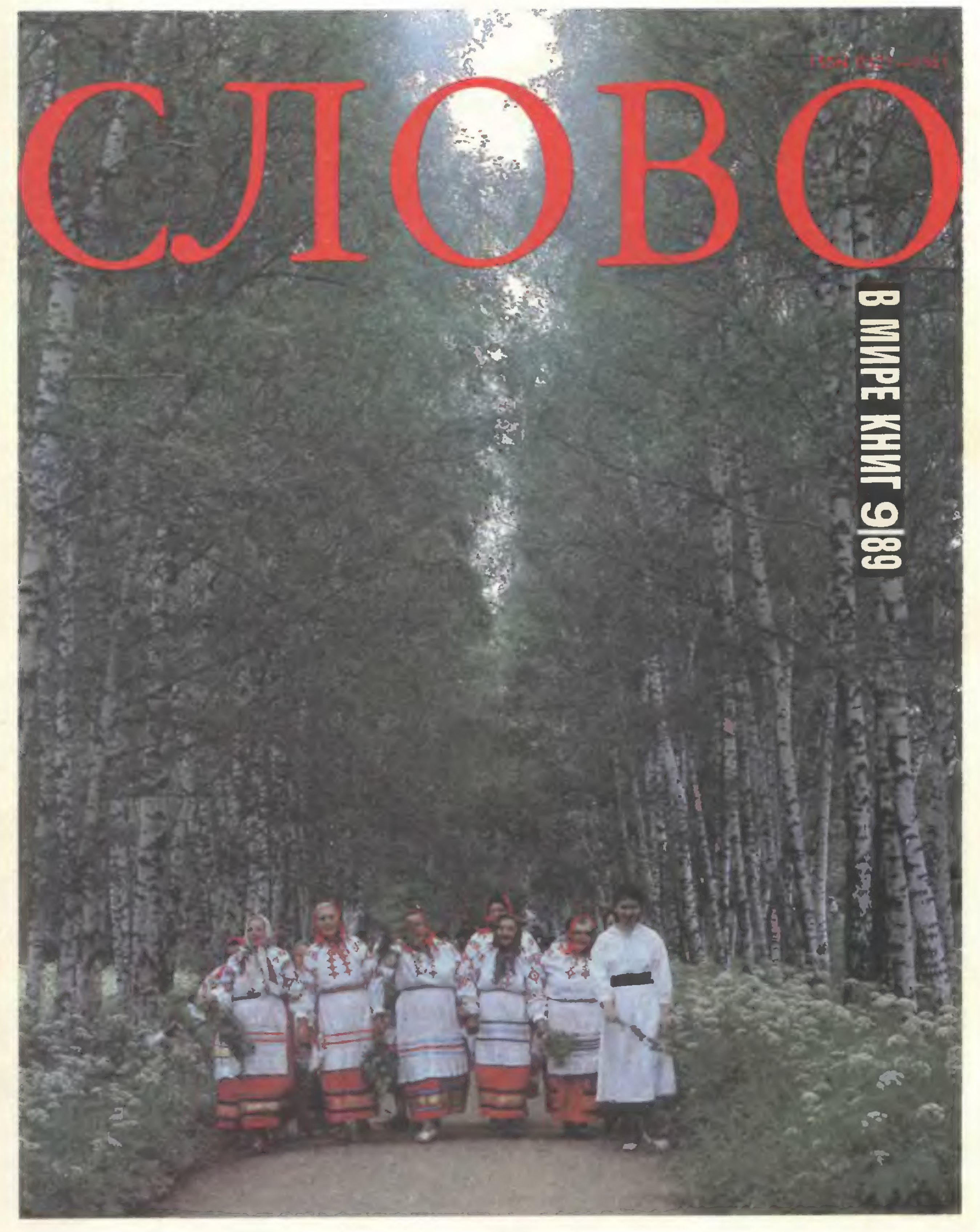


В Ясную Поляну, на Троицу...



Лев Толстой. Крекшино. 1909. Фото В. Г. Черткова.
Из книги «Толстой в жизни».

В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ, НА ТРОИЦУ...

...Лучше своей родины нигде нет. Для меня самое лучшее — Ясная Поляна.

Л. Н. Толстой

На дворе осень. Пора с летних духовных пастбищ перебираться на зимний долгостой. Так всегда велось на Руси. Книжники, закончив хождение в народ, возвращались по духовным кельям, чтобы к весне, обогатившись в трудах праведных знаниями, вновь нести слово добра и благочестия...

Да, такой полнокровный круговорот сегодня, конечно, еще совсем редкость. Но все же в культуре нашей намечается и кое-что приметное, правда, нельзя сказать, чтобы принципиально новое, но бывает, что и доброе старое возродить — это как вновь родиться...

Так вот, по старому стилю — август — месяц Льва Николаевича Толстого, а день рождения его двадцать восьмого... Однако то самое событие, о котором пойдет речь, произошло в этом году двумя месяцами раньше... И связано оно с возрождением нашего духа. Снова в обиход возвращаются слова, служившие предкам нашим многие столетия... А с ними и возвращаются обычаи, традиции, праздники, утешавшие души миллионов и миллионов русских, почитавших народный образ жизни. Вот и в этом году впервые за многие воинствующе-атеистические десятилетия в Ясную Поляну вернулась традиция, существовавшая долгие годы при жизни Льва Николаевича Толстого. И поддерживалась его близкими до сокрушительных ударов по православию...

Читаю у Душана Петровича Маковицкого, домашнего врача и близкого друга Толстого, в дневниках за 5 июня 1905 года: **«Воскресенье. Троицын день...**

Сегодня народный праздник. Песни, пляски, в белое одеты бабы. Домашние до двух часов ночи пели и плясали».

Лев Николаевич любил этих шумных гостей на яснополянской усадьбе, любил их веселье, хороводы на прешпекте, вокруг березок, разноцветные венки на головах девушек, высокие звуки народной песни, взлетавшей в бездонное светло-голубое июньское небо... Он любил этот народ в холщовых белых одеждах, одержимый жизнью и радостью... Охотно шел ему навстречу, вступал в круг, отправлялся вместе с ним к речке, грустно смотрел, как летели венки на воду, и умиленно вздыхал, любуясь людской красотой и красотой природы...

Вот и на сей раз, восемнадцатого июня 1989 года, на Троицу, с самого утра хлынул разнаряженный народ на яснополянский прешпект (снимок на обложке). Огласились аллеи и сады песней, замелькали ловкие девичьи руки, собирая цветы и укладывая их в венки... И дохнуло вечным, живым и радостным, что несет в себе народ и что так любил Толстой в этом празднике, на переломе весны и лета, когда природа русской равнины набирает зрелый цвет и слепит обилием красок...

Конечно, с добрым чувством хочется сказать: отныне уж и навсегда бы жить народному обычаю в Ясной Поляне. Ведь хорошо не то, что насаждается сверху, по чиновному распоряжению, мы в этом убеждались много-много раз. Живет же только то, что самим народом задумано, что ему по сердцу, что он творит в высокое благодарение за содеянное духовником мирским...

Так явились пушкинские дни в Михайловском... Может, в согласии с народным выбором и Толстовский праздник положить на день Троицы. Ведь дни рождения Льва Николаевича никогда не были многолюдными, более того, он не любил словословия и почестей, проводя день рождения в узком семейном кругу, без суетливого напоминания о его великих заслугах. Все домашние знали нрав хозяина, его правила жизни.

Может, и нам их не нарушать, тем более, что осенний праздник — день рождения нашего гения, никак не вызреет. Не хватает еще дыхания, созидательных духовных сил. Не легче ли было бы пойти вслед за народным зачином... Как в свое время православная церковь умело и тонко использовала бытовавший у славян и любимый на Руси — народный праздник, почитавший духов растительности и совпавший по времени с Троицей.

Пусть на Троицу, традиционно, и будет Толстовский праздник — день почитания и возвеличивания заслуг мирового духовника. Конечно же, в этом нуждается не Толстой, его слава — навсегда с ним. В этом бесконечно нуждаемся мы — духовные сироты XX века, в этом нуждается народ наш, исстрадавшийся и духовно обездоленный бесконечными душевными, сердечными и культурными разорениями...

А в конечном итоге — это ведь и вернуть Ясную Поляну, экологически почти уничтоженную безнравственными, всенародно изолгавшимися за последние двенадцать лет химиками со Щекинского химкомбината и из министерства минеральных удобрений...

Наконец, может, и наше правительство осмелится не только на словах, но и на деле — навести порядок в святой обители гения, создавшего своим неустанным рукотворным трудом крупнейший в Европе яблоневый сад, насильственно, хищнически умертвляемый на наших глазах. Доколе же такое будет?! Сознательное разрушение не может воспитать в душе созидания, милости и добра, какие бы обнадеживающие и громогласные призывы ни произносились.

До́лжно спасать и Байкал, и Арал, и Оптину Пустынь, но человечество никогда не простит нам, русским, уничтожения Ясной Поляны — Мекки мирового духа! Причем уничтожения, начавшегося давно, еще в 1918 году. Эта губительная полуправда, полуложь всегда сопровождала яснополянскую усадьбу при нашем всеобщем молчаливом согласии, длившемся долгие десятилетия. В чем вы легко убедитесь, познакомившись с воспоминаниями дочери писателя Александры Львовны Толстой, имя которой долгие годы было у нас запретным... (см. стр. 76).

А мы смели убедиться в этом бесконечное число раз, когда в 1978 году на страницах газеты «Советская Россия» вместе с писателем Юрием Бондаревым и неутомимой яснополянской подвижницей Юлией Клементьевной Федоровой начинали и многие годы вели борьбу за сохранение родового толстовского гнезда.

Тяжелая, изнуряющая была борьба по циничным временам застоя, но, к сожалению, и перестроечные оказались не более удачливыми... Химкомбинат чадит, а усадьба, зажатая со всех сторон промышленным производством, чахнет на глазах, как весенний цветок, лишенный живительной влаги...

Вот такими горькими словами можно отозваться на 161-й год рождения величайшего художника и мыслителя.

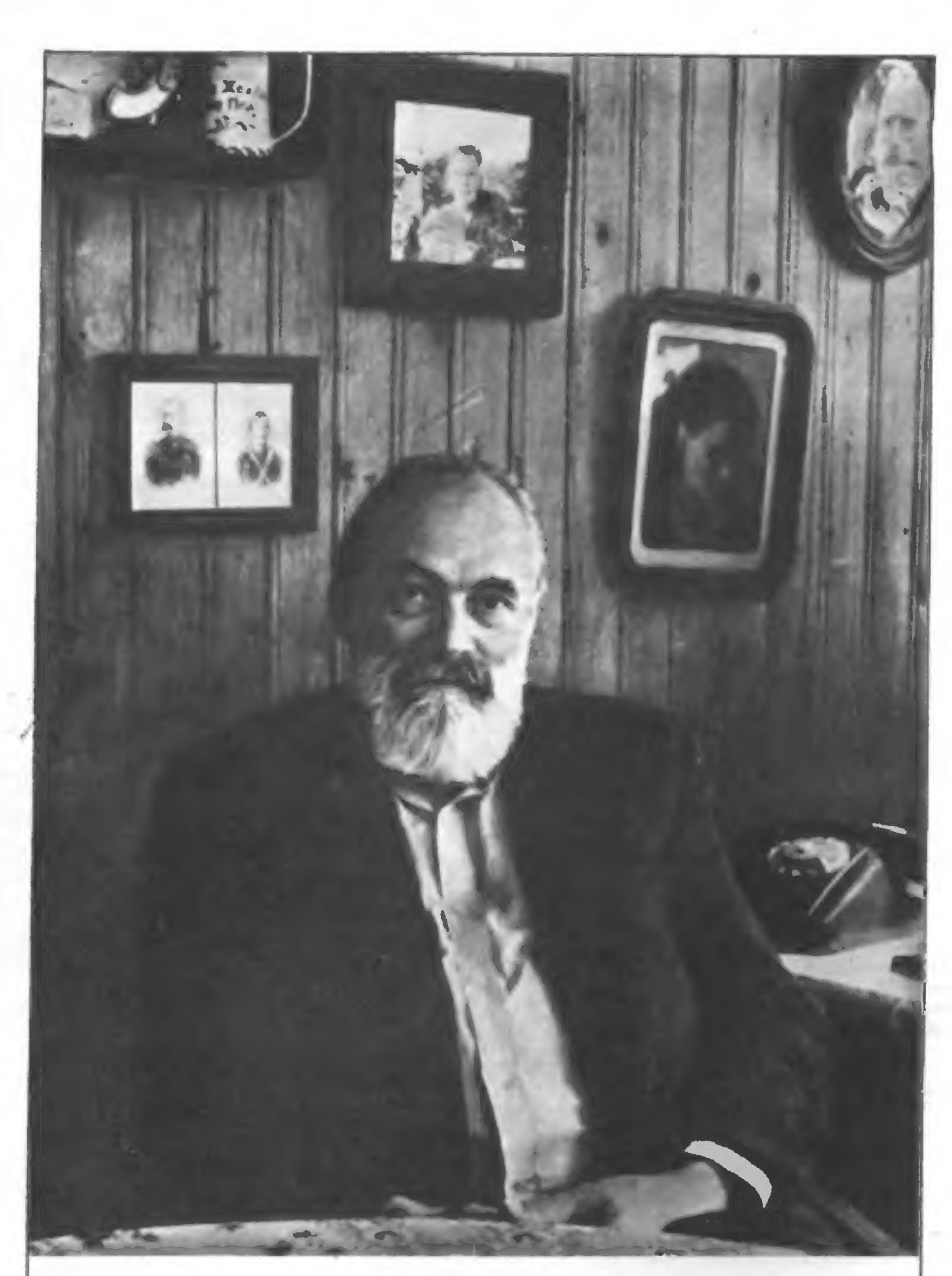
И все же духовная работа Толстого неостановима. Предоставим слово его правнуку — Илье Владимировичу. Он расскажет о новой, в своем роде уникальной книге о своем прадеде, о Ясной Поляне, о своем знаменитом роде...

Так будем же неустанно продолжать наше постижение Тостого. Будем добры, милостливы, милосердны, будем памятливы, совестливы и энергично неуступчивы в том, что касается человеческого духа, созданного такими гигантами, как Толстой... Иначе наша смерть наступит раньше, чем угаснет небесное светило...

Арсений ЛАРИОНОВ

ИЛЬЯ ТОЛСТОЙ

МИГ И ЖИЗНЬ



ТОЛСТОЙ Илья Владимирович родился в 1930 году, в югославском городе Новый Бечей, в семье Владимира Ильича Толстого, внука великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В 1945 году Толстые возвращаются на Родину. В 1954 году Илья Владимирович оканчивает филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

И. В. Толстой — заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, исследователь жизни и творчества Л. Н. Толстого, автор книги «Свет Ясной Поляны» (Молодая гвардия, 1986).

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ АЛЬБОМА

Кто не испытывал захватывающего чувства от прикосновения к давно ушедшему, уже далекому, но очень тебе близкому прошлому, рассматривая старинные семейные фотографии! Иногда чудом сохранились они в бабушкиных альбомах. Особенно интересно, если каждую фотографию когда-то сопровождал рассказ о тех, кто на ней запечатлен. Потом и сам возвращаешься к любимым фотографиям, погружаясь в созерцание, и каждый раз открываешь что-то новое, ранее не замеченное, и мысли приходят новые, связанные с остановленными мгновениями жизни.

Каждому, наверное, случалось рассматривать фотографии писателя, которого много читал и любишь. С особым интересом всматриваешься в те из них, где любимый писатель с друзьями, близкими, в семейном кругу, в парке или на прогулке, за чтением или игрой в шахматы; вот он позирует во время встречи с известными деятелями своего времени, а вот незаметно для себя и окружающих оказался в объективе фотокамеры.

Именно такие фотографии, сделанные Софьей Андреевной Толстой и Владимиром Григорьевичем Чертковым на протяжении двадцати с лишним лет, собраны в альбоме «Толстой в жизни» (см. обложки 2 и 3 — от ред.), который был издан в 1982 году Приокским книжным издательством. Составлен альбом с большим вкусом и хорошим знанием дела сотрудниками Государственного толстовского музея Т. К. Поповкиной и О. Е. Ершовой. Фотографии сопровождены кратким комментарием и сведениями об авторах снимков.

Софья Андреевна, жена писателя, оказывается, оставила нам больше тысячи фотографий, так что в альбоме представлена только небольшая их часть. И, тем не менее, эти фотографии — увлекательнейший рассказ о Ясной Поляне, о жизни огромной семьи, жизни деятельной и разносторонней, содержательной и разнообразной. Они говорят о мире занятий и увлечений яснополянцев.

Само фотографирование занимало немало сил и времени у неутомимой Софьи Андреевны. В те годы это занятие было непростым: громоздкий аппарат, тренога, пластины... Проявляла снимки Софья Андреевна в темном чуланчике, где был ход на чердак. Рассказывали, что тогда она бегала в большом ситцевом фартуке и постоянно у нее были черные ногти от вираж-фиксажа.

Люблю фотографии Льва Николаевича с детьми: с внуками, с яснополянскими ребятами, тульскими школьниками. Чего стоят снимки, где дед рассказывает Соне и Илюшку́ сказку об огурцах. «У меня есть сказка, которая имеет очень большой успех у маленьких детей, — сказал как-то в разговоре Толстой. — ...Все ее содержание заключается в том, что маленький мальчик нашел семь огурцов. Сначала он съел маленький огурец, потом побольше, потом еще больше и т. д. Нужно видеть восторг детей, когда рассказ доходил до того места, когда мальчик берется за последний седьмой огурец, который был вот-вот какой огромный». Это запись Г. А. Русанова. Интересны выражения лиц рассказчика и внуков. А вот он наклонился, о чем-то говорит с маленькой девочкой, — это в Троицын день нарядные крестьянские дети пришли на усадьбу; или вот он идет стремительной походкой, а за ним еле поспевают мальчики — тульские школьники, с которыми он решил искупаться в речке Воронке.

Это не случайно — так много фотографий с детьми: он очень серьезно относился к ним, часто сам подходил, затевал разговор. Он был так естествен, что ребятам казалось, будто ему созвучны их детские интересы и чувства. Рассказывали, что он мог присоединиться к играющим в городки. Иногда просто бросит биту по кону, а иногда и партию сыграет. Бывало, предложит кому-нибудь из внуков помериться силой, тут же покажет приемы французской борьбы или башкирской — на поясах. Играл в крокет и лаун-теннис, зимой катался на коньках, хорошо ходил на лыжах. Когда в 80-х годах в России впервые появился велосипед, он с непостижимым упорством стал осваивать езду на нем. «У нас новое увлечение, — рассказывала дочь Татьяна Львовна, — велосипед. Папá часами учится на нем, ездит и кружит по аллеям в саду». Потом он даже ездил на велосипеде в Тулу и обратно. Нетрудно представить себе, каким был этот неуемный человек в молодости, как любили его ученики яснополянской школы, когда он называл себя приходским учителем!

Хороши фотографии Толстого на природе — в поле, на лугу, в лесу, а также в деревне, когда он беседует со странниками, прохожими. Заметим, как часто его сопровождают на некотором расстоянии собачки, они всегда бегали за ним. Лев Николаевич каждый день совершал трехчасовые прогулки, пешие или верховые. Пешком он проходил километров 10—15, а верхом — и 25, и 30. На прогулке хорошо думалось, встречались люди разные, они все интересны писателю — богомольцы, бродяги, нищие со всех концов России. Его волновали мельчайшие изменения в природе: он видел, как весной «высокие цветы заготовились подняться», как они «ждут тепла распуститься»; остановится, бывало, у Потапкина болота и пьет «вприпадочку» из чуть заметного в траве родника.

В седле Толстой сидел по-кавалерийски, свободно и, как многие вспоминали, очень красиво. Любил хороших лошадей, каждый день заходил к ним в денники, угощал сахаром. Особенно был привязан к последней своей верховой лошади — английской полукровке Делиру. Вот он в самой гуще роскошного луга или на Делире же заехал в глубокий снег, чтобы запечатлеть, «какой у нас снег бывает».

Многие фотографии напоминают нам о том, что за годы жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых в Ясной Поляне были посажены яблоки на 30 гектарах и постоянно восстанавливались старые сады князя Н. С. Волконского. До сих пор в урожайный год деревья ломятся от яблок: антоновка, бабушкино, грушовка, коричное, скрыжапель, апорт и боровинка — старинные русские сорта, яблоки душистые, наливные, сочные; есть малоизвестные теперь мирончик, полосатка, плодовитка, зеленка, лопух — мы и названия-то их давно уж забыли. И в наше время яснополянские сады хорошо ухожены: преданные делу музея специалисты постоянно обновляют их саженцами старых сортов.

Автор снимков Софья Андреевна была помощницей Льва Николаевича во многих его начинаниях. Она любила сады и леса, и они посадили за свою жизнь 266 гектаров леса! Это только в окрестностях Ясной Поляны, не считая Никольского-Вяземского, где тоже постоянно увеличивались площади садов и лесов, благодаря заботам Толстых. С каждым годом появлялись новые березовые рощи, дубравы, ельники, каждая посадка получала свое название и начинала жить уже жизнью Ясной Поляны как ее неотъемлемая часть.

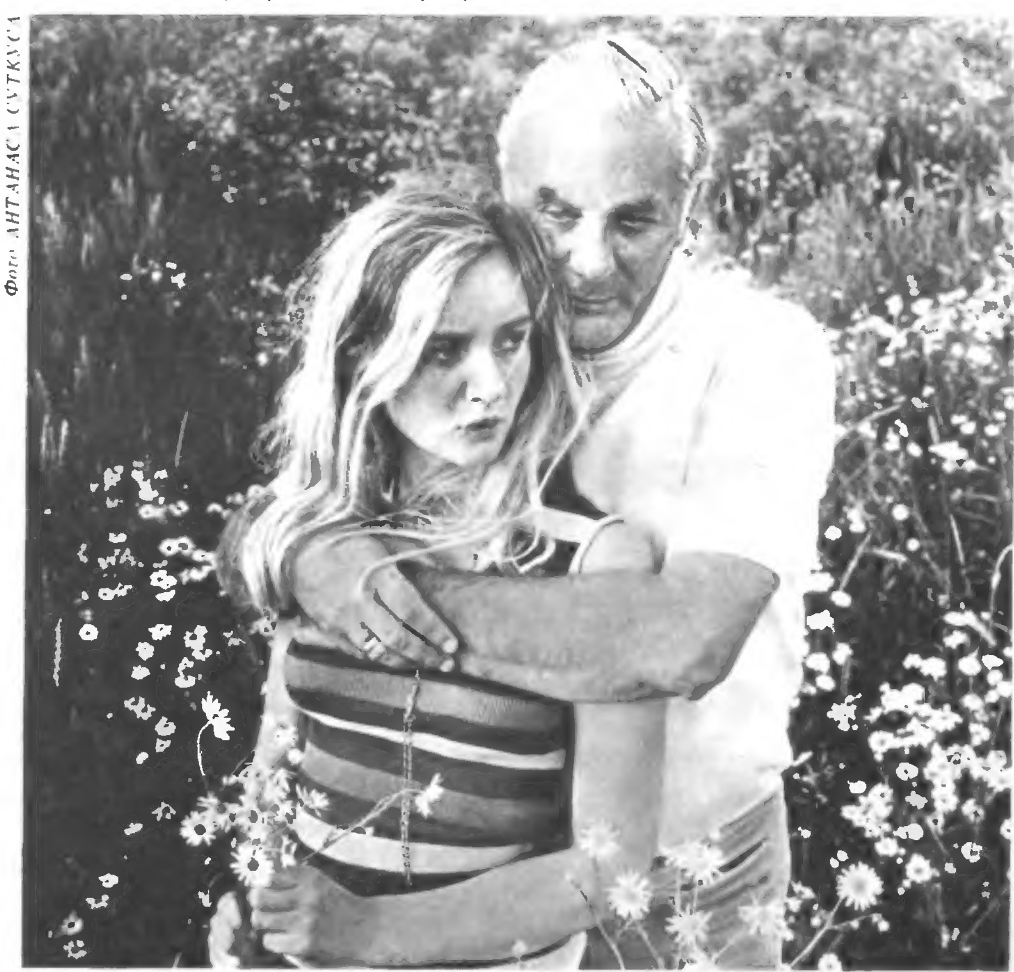
С посадками связано множество событий в жизни Толстого и его семьи, они описаны в его произведениях. Плоцкий верх, Срезанная, Митрофановская и Абрамовская посадки. Елки у подкапустника, Елочка под Грумантом, Елочки у колодца — эти названия встречаются в переписке Толстых, в дневниках и записных книжках Льва Николаевича, он пишет о них, как о детях своих, любит и знает в них каждое дерево. В письме к Софье Андреевне от 18 октября 1885 года читаем: «Нынче вышла вода, и я пошел в конюшню рано утром (кучер был на свадьбе), запряг Крысу в бочку и поехал за водой. Чудное утро: с одной стороны лошади рассыпаются по лугу, с другой — стадо идет мимо посадки, с третьей — бабы с песнями идут на работу. Вода чистая, лошадь милая, добрая, работа приятная, ну, редко я испытывал такое удовольствие».

Игра в шахматы, музыка, греческий язык, японские свиньи, охота, педагогика, косьба и сапожное дело — всех увлечений Льва Николаевича не перечислить. К каждому новому занятию он относился, как к самому важному и интересному, изучал в деталях, потом это находило отражение в его произведениях. Именно поэтому сестра Софьи Андреевны — Т. А. Кузминская метко назвала все увлечения Толстого творческими.

Листая страницы альбома, читатель погружается в жизнь Л. Н. Толстого и Ясной Поляны.

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

Фото АНТАНАСА СУТКУСА



Эдуардас Межелайтис с дочерью Дайной.

МЕЖЕЛАЙТИС Эдуардас Беньяминович родился 3 октября 1919 года в семье рабочего в деревне Карейвишкяй, ныне Пакроуойского района Литовской ССР. Учился на юридических факультетах Каунасского и Вильнюсского университетов. Во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Первые произведения появились в печати в 1935 году. Автор поэтических книг «Лирика» (1943), «Ветер родины» (1946), «Мой соловей» (1952), «Братская поэма» (1955), «Человек» (1961), «Кардиограмма» (1963), «Авиаэтюды» (1966), «Алелюмай» (1970) и многих других, а также ряда книг поэтической публицистики.

Яркий лирический талант, неразрывная связь с литовским фольклором, со своим народом и родной природой, глубокий интеллектуализм, философичность и публицистический пафос Э. Межелайтиса позволили ему стать одним из самых значительных поэтов нашего времени.

Э. Межелайтис — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, премии имени Дж. Неру.

Предлагаем вниманию читателей его новые стихи из сборника стихотворений «Гномы», который выходит в Вильнюсе в издательстве «Вага» в 1989 году. Гнома (гр. gnōmē — изречение)— стихотворный афоризм.

ГНОМЫ

aš jau vėlyvas vakaras o tu
kaitrus vidudienis - aš žemėn vėsų
akių žvaigždėtą spindesį metu
tau akyse dar saulė neišblėso
aš lūpom mėnesieną tau žeriu
tu lūpomis siunti man saulės šiltį
aš tau nakties neono žiburių
tu man dienos šviesa grąžinus viltį -
ak kaip vidudienis priglusti gali
prie vakaro - per didelė juk skalė?

я только поздний вечер ну а ты
палящий полдень — понимаю ясно
в моих глазах холодный свет звезды
в твоих глазах свет солнечный не гаснет
губами шлю тебе я лунный свет
ты — солнца луч раскрытыми губами
я ночь неоновую шлю в ответ
а ты — дня возвратившегося пламя
неужто полдень к вечеру прильнет
когда шкала различий точно лед?

* * *

что ж клюет птица синяя вишни
брызжут ягоды кровью в саду
я из сада у ш е л а не вышел
не сказав и прощай на ходу
в край пойду где никто еще не был
из него нет дороги назад
до него далеко как до неба
или дальше еще во сто крат
ухожу я по меридиану
пусть звезда катит сердце в тумане

* * *

от человека от реального святые
отстранены хранят свой ореол
протуберанцев фейерверки золотые
теплом не греют тех кто сир и гол
и жаль мне бутафорской славы чести
сияющих трагических фигур —
ну у кого забьется сердце резче? —
дождавшихся судьбы карикатур
нет грешников святых в дороге
длинной
все из одной как говорится глины

* * *

бокал наполненный давай мне
я выпью мало одного!
вот дятел гвозди в гроб вбивает
почти у дома моего

* * *

как прошлый день петух
под нож попав потух
такая жизни проза
а был крылатой розой!

* * *

хулить не будем серый день
палитру обвинять напрасно
когда с душой в ладу то тень
лишь подчеркнет все буйство красок

* * *

люблю семью люблю деревню
когда все вместе за обедом
небесной благодатью древней
стол освящен меня же бедным
провинциалом окрестили
люблю я хутор в пашне след мой
плевать что во дворцах вы жили

* * *

я знаю многих самозванцев
царей из бывших оборванцев
храни Господь от Властелина
что был нулем в ряду цифирном
такой — кого тут удивлю? —
способен жизнь свести к нулю

* * *

подобно римскому авгуру
по клину белых журавлей
летящих в облаках лазурных
предсказываю путь людей
вот жаворонок с песней бурной —
он топливо души моей! —
геометрической фигурой
висит над плоскостью полей
и знаки в небе видит око
и сдержанны слова мои
простыми слугами пророка
давно являются они

* * *

достаточно мне лишь прикосновенья
к твоей руке она была добра
но потянулся — и оттолкновенье!
в зрачках что жало — холод серебра
кто виноват? и кто вину измерит?
не созданы для этого весы
зачем сломала ты в себе изверясь
губами заведенные часы

* * *

тебя во сне в любое время года
я вижу слышу в голосе — тоска
твои глаза как будто два анода
мне греют сердце сжатое в тисках
ты — бабочка цвет крыльев фиолетов
а из зрачков исходят провода
вельветом крыльев задеваешь мне ты
лицо порхая рядом без труда
глаза открою всюду тьма пуста рука:
ни сна ни бабочки у левого виска

* * *

поэзия как бокс как драка
арена кровью залита —
есть мышцы побеждай без страха
но есть другая правота:
коль мускул сердца вступит в бой
то проиграет враг любой

* * *

когда во мне кровь закипает снова
и мир глаза не видят из-за слез
мне наплевать он старый или новый
я — раб я распрямляюсь в полный
рост
я превращаюсь в зверя встретив зверя
и все на свете я переборю
ведь до сих пор я в идеалы верю
и терниями красными горю

* * *

я на десятки лет закрыл глаза
и погрузился в летаргию рифм
дабы не знать свершающегося
вкруг меня — и вот однажды
мне пригрезилось во сне
что я вошел в такое государство
где жителей не гражданами кличут
а называют попросту людьми
и как же трудно было мне проснуться
продрать обманутые сном глаза
смахнуть с ресниц ладонью жесткой
как метастазы паутины в летней роще
тот сон застенчивый и эфемерный
детский

* * *

люби родную землю так
чтоб той любви боялся враг
храни родной земли покой
такой понятной и простой
как матери ей не груби
а просто-напросто люби
любовью искренней земной
и верю я что ты такой!

Перевод **ЮРИЯ КОБРИНА**

Дорогой Эдуардас Беньяминович! Редакция журнала «Слово» от имени своих читателей сердечно поздравляет Вас с 70-летием и желает новых творческих свершений.

КНИГИ Э. МЕЖЕЛАЙТИСА,

Собрание сочинений. В 3-х томах. М.: Худож. лит., 1977—1979.

Пантомима. Стихи. М.: Сов. писатель, 1980.

Литовская сюита. Стихи. Л.: Дет. лит., Ленингр. отд-ние, 1981.

Клочок небес. Стихи и поэма. Вильнюс.: Вага, 1981.

Армянский феномен. Ереван.: Советикан Грох, 1982.

Стихотворения. М.: Худож. лит., 1984. (Классики и современники. Поэтич. б-ка Сов. лит.).

Асимметрия. Лирика, сатира, поэмы. Вильнюс.: Вага, 1985.

Трехцветное дерево. Стихотворения и поэма. М.: Сов. писатель, 1985.

Дневник Дайны. Вильнюс.: Витурис, 1987.

НА ТАМОЖЕННОМ ПОТОКЕ

«Сейчас по телевидению, по радио, в газетах часто можно слышать, что мы находимся не то на 24-м месте, не то на 56-м по информированности, — пишут в «Литературную Россию» студенты МАДИ. — Спорить по поводу этих мест нет охоты — любое из них позорно. Но сейчас нас интересует другое: почему мы не бьем в колокола, не созываем народ на сход по поводу одичания, которое нам грозит? Нас лишают родной культуры! Никогда не повысится производительность труда, никогда не придут нравственные отношения в общество, пока в каждом книжном магазине и в любое время нельзя будет купить Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова. Начинать надо с этого — с возвращения самосознания и самоуважения...» Но не увлеклись ли студенты-автодорожники? Какие колокола? «В стране действует закон, по которому все крупные научные библиотеки каждой республики, края, области получают обязательный экземпляр всей печатной продукции страны, что гарантирует обеспечение информационных потребностей в масштабах всей страны... В целом библиотеки СССР имеют в фондах 6 млрд. экземпляров печатных изданий, что превышает информационный потенциал любой развитой державы. Не следует забывать также, что, по оценкам социологов, в домашних библиотеках у нас имеется 40 млрд. томов», — заверяет заведующий отделом теории и методики Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина Ю. Гриханов в газете «Советская культура» не далее как 18 марта 1989 года. Оказывается, все не так уж и плохо... Хотя бодрый тон компетентного специалиста как-то не успокаивает, не гасит сомнений, как это, наверно, могло бы быть лет десять назад. О чем же, собственно, шла речь в этой недавней статье под названием «Через таможню», занявшей целый подвал солидной газеты?

Было бы на что взглянуть отечественному библиофилу, побывав на одном из пунктов таможенного досмотра или, скажем, на Московском почтамте на улице Кирова или на Международном почтамте на Варшавском шоссе. Много, много книг, целый поток практически в одном направлении — из Советского Союза на Запад. Здесь и академические издания собраний сочинений Ф. Достоевского, И. Тургенева, А. Чехова, Л. Толстого (в 90 т., тираж 5000 экз., минимальная букинистическая цена — 1000 руб.) и многих других классиков; здесь собрания сочинений С. Соловьева и В. Ключевского, книги из серии «Библиотека поэта» (А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак, И. Северянин и др.), выходившие тиражом в среднем 30 тысяч экземпляров; здесь часто можно увидеть «Всеобщую историю искусств» в 8 томах (тираж 20 тыс. экз.), многочисленные альбомы по искусству, в том числе книгу В. Лазарева «Русская иконопись. От истоков до начала XVI в.» (М., 1984 г., тираж 25 тыс. экз., отпечатан в Австрии); книги из серий «Литературные памятники», «Памятники исторической мысли», «Библиотека всемирной литературы» в 200 томах, «Философское наследие», «Библиотека мировой литературы для детей», «Памятники литературы Древней Руси» в 10 томах, «Жизнь в искусстве»...

В изобилии — научно-техническая литература, в основном по физико-математическим наукам, программированию (например, в значительном количестве — переведенный с английского трехтомник «Компьютеры», М., 1986, тираж 50 тыс. экз.), монографии по онкологии, психотерапии, фитотерапии, гомеопатии, восточной медицине, тиражи которых редко превышают 20—30 тысяч экземпляров. Богат здесь выбор и миниатюрных изданий, высылаемых и вывозимых большими коллекциями, подарочных и великолепно оформленных книг (надо сказать, что престиж отечественного художественного оформления традиционно высок). Встречаются, к сожалению, и книги с вытравленными библиотечными штампами.

Каковы масштабы вывоза книжной продукции? По предварительным подсчетам за I квартал 1989 года только на двух вышеупомянутых московских почтамтах было принято международных книжных бандеролей более 26 тысяч, количество книг в них составило более 185 тысяч(!). Показательно, что это примерно в три раза больше, чем всего лишь год назад. Далее — каждый из выезжающих из СССР на постоянное местожительство имеет право взять с собой контейнер книг (в 1988 году эмиграция достигла 100 тысяч человек). Число взаимных поездок в прошлом году составило примерно миллион человек, которые также не забывают, как правило, о книгах, столь дешевых, благодаря государственным дотациям, у нас в стране. Никого не останавливают и цены «черного» рынка, кажущиеся астрономическими жителю Тамбова, — на Западе книги все равно стоят дороже и в долларах. Как известно, средняя цена для пользующихся спросом романов в твердой обложке в США — 13 — 17 долларов, научной литературы — 20 — 25 долларов и т. д. Не являются барьером и наши таможенные пошлины для некоторых видов изданий, хотя, скажем, в 1988 году после оценки книг, проведенной сотрудниками ГБЛ, было уплачено в соответствии с «Таможенным тарифом Союза ССР» более 500 тысяч рублей, т. е. в 10 раз больше, чем в предыдущем году, что, кстати, свидетельствует не только о количественном, но и о качественном изменении книжного вывоза.

Куда же отправляется столь нужная, казалось бы, нам самим литература? Увы, ответ однозначен — 97,5 процента

КНИГООБМЕН

в капиталистические страны, из них большинство в США и Израиль...

Вопиющие эти цифры и факты все же становятся постепенно известными нашему массовому читателю. «С болью видишь на границе (а именно там более семи лет мое рабочее место), — пишет в журнале «Молодая гвардия» искусствовед-контролер Главного управления культуры исполкома Моссовета Т. М. Яковлева, — как из СССР вывозятся книги, которых нет в подавляющем большинстве библиотек, ибо что такое тираж 10 тысяч для страны, в которой 300 тысяч библиотек?! Такой тираж через международный аэропорт Шереметьево можно вывезти за сутки-двое...» Появились публикации на эту тему в «Московском комсомольце», "Аргументах и фактах», «Московском литераторе», журнале «Советская библиография». Везде отмечается прямо-таки роковая роль вступившего в действие 2 декабря 1988 года приказа Министерства культуры СССР № 439 «О внесении изменений в Инструкцию «О порядке контроля за вывозом из СССР культурных ценностей». В чем же суть данного приказа, подготовленного и подписанного, к сожалению, в полной тайне не только от общественности, но и от организаций, осуществляющих контроль за вывозом культурных ценностей на границах?

Приказ, подписанный заместителем министра культуры СССР В. И. Казениным, определил новый порядок вывоза (отправки) печатной продукции из нашей страны: все, что издано после 1946 года (за исключением отдельных справочных изданий и книг типа отпечатанных на пергаменте или в переплетах индивидуальной работы с использованием драгоценных камней), вывозится и пересылается свободно, в неограниченных количествах и без материальной компенсации за дотации государства. Книги, вышедшие в свет с 1926 по 1945 год, можно вывозить с оплатой пошлины (100 процентов от оценки изданий, проведенной сотрудниками ГБЛ).

Справедливости ради необходимо отметить, что предыдущая инструкция, подписанная в марте 1987 года тем же заместителем министра, по мнению специалистов, нуждалась в доработке. Но подобное «кардинальное» решение *вопроса ошеломило как операторов почтамта*, поскольку значительно усложнило их работу («Да вы смеетесь, что ли! Машинами везут!»), так и сотрудников *таможен и комиссии по вопросам* вывоза изданий из СССР при ГБЛ, хотя уж им-то нововведение, казалось бы, значительно упростило жизнь. В нигде не опубликованном *письме группа* сотрудников этих служб, знакомых как никто с практическим действием нового приказа, пытается предостеречь: «Новые правила вывоза книг из страны породят опустошение полное и окончательное. Результаты не поддаются воображению. Будут скупаться не только старые книги у населения и на «черных рынках», в целях наживы будут разворовываться и библиотеки... (В связи с этим предупреждением трудно не вспомнить так и не проясненные до конца, не*смотря на бурную, но далеко не исчер*пывающе информативную реакцию прессы, обстоятельства опустошительных пожаров в отечественных книгохранилищах, когда огонь уничтожал библиотечные стеллажи весьма избирательно, словно по некой загадочной синусоиде... — *А. Т.*) Вывоз культурных ценностей из СССР — вопрос, касающийся всего народа. Тем не менее приказ Министерства культуры № 439 принят келейно, без всенародного обсуждения, право на которое закреплено Резолюцией «О гласности», принятой на XIX партконференции. Считая также, что данный приказ нарушает ряд статей Конституции СССР, провозглашающих право граждан на творческое развитие личности, охрану духовных ценностей, специалисты полагают необходимым срочно отменить приказ № 439, поскольку «осуществляемая в стране перестройка подразумевает не скоропалительные решения по снятию обоснованных ограничений, а дальновидный подход к проблемам, затрагивающим экономические и духовные сферы нашей жизни».

Действительно, даже если смотреть на данный вопрос сугубо прагматически, — ведь вынудило же состояние нашего внутреннего рынка соответствующие органы принять необходимые меры по ограничению с 1 февраля 1989 года вывоза из страны ряда дефицитных товаров, тех же кофемолок и утюгов...

Но все эти аргументы — лишь одна из точек зрения. Мнения разделились. Причем, к сожалению, создается впечатление, что разговор оппонентов ведется порой словно на разных языках.

Газета «Известия». Под рубрикой «Из компетентных источников» помещено интервью заместителя начальника Главного управления культурно-массовой работы, библиотечного и музейного дела Министерства культуры СССР Е. С. Пономаревой, которая, отметив несовершенство прежней инструкции 1987 года, с иронией отзывается об «излишних» запретительных пунктах. О практике применения нового приказа ответственный работник Министерства компетентно сообщает: «Мы побывали на таможне. Увозят книги, купленные в последние годы, то, что выпускалось массовыми тиражами... В основном — произведения русских классиков. Нас *это ни в коей мере не огорчило*. Напротив, мы считаем, что люди должны сохранять связь со своей культурой — и они сами, и их потомки». Казалось бы, *все верно*, тем более, что в конце беседы Е. С. Пономарева как бы ставит точку: «Хочу напомнить — есть международная конвенция по этим проблемам, *мы подтвердили, что участвуем в ней*, — следовательно, должны ей следовать. А все ее правила укладываются в один-единственный пункт — из страны запрещено вывозить раритеты».

Действительно, конвенция подписана, идет демократизация общества, предполагающая, конечно, и расширение международных контактов. Вот и студент из Ульяновска, отправлявший в ноябре прошлого года книжки другу-американцу, жалуется на непомерный размер востребованной с него пошлины. *За три книги русских классиков* — 362 рубля 80 копеек! «Как долго будет сохраняться такое ненормальное положение?» — возмущенно спрашивает студент в письме, опубликованном в «Огоньке» (№ 9, 1989 г.). Правда, в беседе со специалистами выясняется, что читатель принял за верную ошибочно написанную на бланке сумму пошлины, несмотря на то, что рядом была проставлена подлинная сумма в 10 руб. В журнале же сообщили, что не имеют возможности проверять факты, излагаемые в письмах... И этот эпизод, увы, свидетельствует о значительной неосведомленности людей в столь волнующем всех вопросе.

«...Регламентация вывоза не уникальных и действительно редких изданий, а обыкновенной многотиражной поточной печатной продукции сама по себе порочна и бессмысленна», — вторит Е. С. Пономаревой автор уже упомянутой оптимистической статьи «Через таможню» Ю. Гриханов. С едким сарказмом он, порой, к сожалению, обнаруживая некоторую неподготовленность в специальных вопросах, пишет об «охранительном пафосе», «о неуклюжей попытке подстраховаться, чтобы, не дай бог, не увезли какой-нибудь раритет и не оголили арсеналы духовного воспитания советских детей», о регулировании процесса вывоза и пересылки книг по «железному» принципу застойного времени «как бы чего не вышло» (как будто не было это время отмечено вакханалией распродажи естественных ресурсов страны...). Негодование читателей не могут не вызвать и описанные Ю. Грихановым недоразумения с отправкой книг, возникшие у инвалида Великой Отечественной войны, пересылавшего знакомому учителю в ГДР две книги, и у жителя Караганды, захотевшего порадовать нотами внуков в ФРГ. Правда, при этом не вспоминает автор статьи о регулярных отправителях многокилограммовых бандеролей, о владельцах магазинов русских книг за океаном, постоянно приезжающих в СССР, о жалующихся на нарушение прав советского гражданина, но уже имеющих при этом иностранную визу в кармане... Приказ № 439 Министерство культуры приняло, по утверждению Ю. Гриханова, «изучив сложившуюся ситуацию *и международную практику*». «...До настоящего времени мы были единственной страной, из которой книги, изданные массовыми тиражами, вывозились *по специальным разрешениям и* с оплатой таможенной пошлины, — сетует автор статьи в «Советской культуре».— Конечно, такую исключительность можно прикрывать красивыми словами о сбережении сокровищ родной культуры, оправдывать разницей в стоимости книг у нас и у них, но никак не вяжется это с такими понятиями, как открытое общество, правовое государство, расширение культурных связей и народная дипломатия». Посмеет ли кто-либо возразить после столь весомых, оснащенных передовой фразеологией гневных тирад? Не обходится и без упоминания о той же международной конвен-

ции... И ведь знает автор статьи, заведующий отделом ГБЛ, и о тиражах нашей детской литературы, и приводит сам же факт отправки только за один день 6 января 500 бандеролей с книгами на одном Московском международном почтамте...

Причем ознакомление с 26 статьями принятой 14 ноября 1970 года ЮНЕСКО «Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» оставляет в недоумении. Из каких соображений ссылаются на нее в своих выступлениях Е. С. Пономарева и Ю. Гриханов? Неужели только для придания большей весомости своей аргументации? В статье 1 этого документа сказано: «Для целей настоящей Конвенции культурными ценностями считаются ценности религиозного или светского характера, которые рассматриваются каждым государством как представляющие значение для археологии, доисторического периода, истории, литературы, искусства и науки и которые относятся к перечисляемым ниже категориям:... (h) редкие рукописи и инкунабулы, старинные книги, документы и издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный, литературный и т. д.), отдельно или в коллекциях...» Вполне можно согласиться с А. Л. Антоновым, написавшим о вывозе книг в журнале «Советская библиография» (№ 1, 1989 г.): «Об отечественных изданиях, представляющих особый интерес для литературы и искусства: думаю, к ним нужно подходить с теми же мерками, что и к научной и научно-справочной литературе — не с точки зрения количества экземпляров (хотя это тоже имеет значение), а с учетом того, насколько полно наши литература и искусство обеспечены материалом для своего нормального развития». Так что все-таки даже и международной Конвенции свойствен скорее столь одиозный для некоторых «охранительный пафос».

Кстати, что касается той, по несколько пренебрежительному тону Ю. Гриханова «обыкновенной многотиражной поточной печатной продукции», вышедшей с 1946 года. Ведь многое из этого «потока» представляет значительную культурную ценность. К примеру, в фонд редких и особо ценных изданий музея книги ГБЛ только в 1988 году из текущих отечественных изданий поступило 1200 книг. Среди книг и альбомов, отобранных для фонда отдела истории книг — премированные на различных конкурсах, лучшие миниатюрные и факсимильные издания... Поступают сюда и лучшие справочные издания, такие, как «Мифы народов мира» (М., 1980—1982), двухтомник, не имеющий аналогов в мировом книгоиздании.

Увы, не укомплектованы фонды большинства библиотек нашей страны. По предварительным данным закончившегося не так давно всесоюзного исследования, проведенного Институтом книги, «библиотечными фондами пользуются 22 процента населения, но только один из двадцати (?!) может получить в библиотеке то, что его интересует» («Советская культура», 26.1.1989 г.).

Вообще, многое проясняется при ознакомлении с материалами, подготовленными специалистами не для конъюнктурных статей. Так, если Е. С. Пономарева окончательно «добивает» неискушенного читателя отсылкой к международной конвенции, то Ю. Гриханов действует еще более решительно: «Да и во все времена обмен идеями, культурными ценностями лишь способствовал взаимному обогащению партнеров. Далеко не случайно В. И. Ленин даже в труднейшем ноябре 1917 года выдвинул требование «...немедленно перейти к обмену книгами... с заграничными библиотеками...» Самое интересное, что, оказывается, и до введения приказа № 439 книгообмен отнюдь не сдерживался. Так, ГБЛ за 1986—1988 годы ежегодно в среднем отправляла 120 тысяч книг, журналов, продолжающихся изданий, в том числе и дореволюционных изданий по конкретным заявкам партнеров. Хотя, по свидетельствам библиотекарей, в последнее время объем книгообмена снижается, причем возможно именно вследствие притока на зарубежный рынок «книжных посылок» из СССР.

Завершая обзор аргументов сторонников несколько необычного «книгообмена», начавшегося с введением приказа № 439, нужно сказать и о следующем. Как сообщает один из английских корреспондентов из нашей столицы: «Купить в Москве книгу, как, впрочем, и большинство других товаров в этой столице дефицита, нелегко. Вашингтонцы в Роквилле, а лондонцы — на Черинг-кросс-роуд имеют гораздо больший выбор публикаций современных русских авторов» («Иностранная литература», 1989, № 3). Существует ведь, помимо всего прочего, Всесоюзное внешнеторговое объединение «Международная книга», занимающееся книгопродажей и книготорговым обменом по всему свету. Упоминает вышеуказанный журналист и о спецмагазинах для иностранцев в наших городах, где можно купить на валюту и беспрепятственно вывезти любые книги. Искусствоведы-контролеры поэтому и подчеркивают, что «смысл упраздненных приказом правил касался другого — ограничить утечку книжных ресурсов, которые выпущены на ВНУТРЕННИЙ рынок, т. е. специально для удовлетворения спроса советских людей». В конце этого письма сообщается: «Видя и понимая, чему подобно здесь промедление, мы боремся из последних сил с собственным (!) министерством за отмену его приказа. Но наши тревожные письменные обращения к министру культуры тов. Захарову и в другие высокие инстанции до настоящего времени аккуратно спускались на монопольное рассмотрение исполнителей этого документа.

Понимая, что аргументы типа «мы побывали на таможне» и т. д., в разговоре с нами пройти не могут, они заявили, что это — «временный эксперимент» и что они ждут от нас предложений. Для включения в будущую инструкцию мы предложили свой перечень изданий, на вывоз и пересылку которых не требуется разрешение Минкультуры СССР (изданные в последние 10 лет): политическая литература, однотомники художественной литературы, если тираж их не менее 100 тысяч, список других видов однотомных изданий (словари, ноты, учебники и др.)... 12 конкретных пунктов. И продолжаем настаивать на немедленном прекращении действия приказа Минкультуры СССР № 439, так как подготовка и утверждение новой министерской инструкции длится до года и более, а каждая неделя «эксперимента» стоит нам слишком дорого.

В ответ по служебным каналам мы получили молчание, а через центральную газету — утешительную дезинформацию, из которой реально следует лишь одно: это совсем не эксперимент и вовсе не временный...»

Что ж, ситуация пока не меняется. В чем можно сразу согласиться с возмущенными специалистами — в таких вопросах обязательна широкая информированность населения и всенародное обсуждение до принятия ответственных решений. Можно ли без недоумения наблюдать одновременно картины типа контейнеров с книгами, приготовленных для отправки в США, и той, которая предстает перед нами при чтении очерка «После нас...» («Наш современник», № 5, 1989 г.): «Духовное одичание, отрыв от подлинной культуры и искусства основной массы тех, кто ищет залежи нефти и газа, обустраивает промыслы, строит города и дороги, добывает нефть и газ. Духовный микромир многих из них — убог и сер, да иным он и не мог бы быть, ибо все, что должно работать на душу человека, все, буквально все находится на последней, низшей ступеньке. Север с полуторамиллионным населением мало что имеет для души... Библиотеки ютятся на птичьих правах, в плохо приспособленных помещениях. За добрыми книгами очередь выстраивается с вечера, жаждущие пищи духовной торчат у костров под дверями магазина до утра...»

Так правомерно ли считать одной из форм «расширения культурных связей» вывоз в развитые капиталистические страны критической массы тиражей издаваемых у нас книг, и без того практически недоступных отечественному читателю в Тюмени, Тамбове, да и (кто станет это отрицать) в любом городе «самой читающей страны в мире»? Когда же «полемика» по вопросу, насущнейшему для миллионов и миллионов людей, приобретет нормальный характер равноправности и доказательности, избавившись, наконец, от категорических предписаний, не подкрепленных, как выясняется, ничем, кроме терминологии, внешне, казалось бы, соответствующей духу времени? Слишком серьезно все, связанное с недопустимо малоизвестным для неспециалистов министерским приказом № 439.

Алексей ТИМОФЕЕВ,
специальный корреспондент
журнала «Слово».

ПИСЬМО В НОМЕР

КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ ВОК?

Приближается событие, которого ждут книголюбы: съезд Всесоюзного общества книголюбов. Почему его так ждут? Ну, хотя бы потому, чтобы, наконец, выработать и принять устав ВОК — организации, которая уже много лет вполне благоденствует и насчитывает в своих рядах более 19 млн. человек.

Ситуация, скажем прямо, не очень обычная. Тем более, что вот сейчас, в июне, когда я пишу эти строки, в печати так и не появился проект этого устава, а ведь вовсю идут республиканские съезды книголюбов, где, казалось бы, самое место и время обсудить его. Кроме того, было бы совсем не лишним вынести устав на всеобщее, в пределах самого общества, а то и всех читающих людей в стране, обсуждение. Это бы соответствовало курсу на гласность и демократизацию в нашей жизни.

А, впрочем, когда речь идет о ВОКе, особенно о работе его Центрального правления, то эти требования, пожалуй, даже неуместны. Скорее наоборот. Возникшая в годы застоя по указке сверху структура, объединяющая в своих рядах любителей книги (а вернее, пытающаяся объединить) — детище этого застоя, со всеми его достоинствами и недостатками. Достоинствами, конечно, в глазах тех, кто привык не руководить, а командовать, не отвечать, а отписываться, не разбираться по существу вопроса, а «спихивать». Не работать с людьми, а «проводить мероприятия».

Два года назад мне довелось встретиться с ответственными секретарями районных и городских отделений общества книголюбов Москвы и Подмосковья за «круглым столом», который проводила редакция «Книжного обозрения». Разговор состоялся, скажу прямо, резкий, но честный, открытый. Люди, собравшиеся в редакции, с болью говорили о накопившихся проблемах, которые, кажется, не решит никто и никогда: как избежать бумаготворчества, ведь всю свою работу по руководству отделениями ВОК Центральное правление сводит в основном лишь к различным формам отчетности, новым бумажным формам.

Говорили также и о том, что ВОК могло возникнуть, пожалуй, только в нашей системе, так как книги у нас не продают, а распределяют. В условиях острейшего дефицита на книгу «библиофильские пиры», духовное общение вполне могут заменить скучные мероприятия с набором «свадебных генералов» в президиуме и дежурными выступающими и... очередь в фойе к книжному киоску. А чего стоят народные магазины (которые, порой, служат для обогащения «жучков» с черного рынка), если книги там, как правило, продают с так называемым «прикладом», в которые входят устаревшие турсхемы, брошюры по борьбе с колорадским жуком при выращивании, скажем, кукурузы и пр. «прелести» на сумму, превышающую стоимость нужных книг. Обсуждать прочитанное? Да какое там! Вперед, работая локтями, к киоску, к лотку, к сердцу завмага — «народника».

Не знакомая вам, читатель, картина?

Еще на той памятной встрече за «круглым столом» говорили мы и о том, что основное, на что нацеливает ЦП ВОК своих «подопечных» коллег,— это как можно шире «охватывать» книголюбским движением всех. Что ж, рост рядов и озабоченность этим — вещь понятная. Но если рост рядов становится самоцелью? Тогда-то и появляются рублевые «мертвые души», которые, заплатив свой вступительный взнос, в дальнейшем в духовно-книжном деле не участвуют. Да и зачем участвовать, если книги до очень, очень многих рядовых книголюбов практически не доходят, а мероприятия «для галочки» сейчас уже никому не интересны.

Думается, что все, о чем я пишу в канун съезда ВОК, присуще жизни многих старых структур. Не случайно рядом с ВОГ и ВОС выросло общество инвалидов; рядом с Федерацией футбола — общество, объединяющее футболистов и тренеров. Да и рядом с ВОК возникли общества Ш. Руставели, К. Хетагурова, Т. Шевченко, наконец — Фонд славянской письменности и культуры. Конечно, отделения ВОК — в составе учредителей обществ. Но эти новые структуры с их во многом новыми формами работы в «орбиту» ВОК не вписались. И вписаться, конечно, не могли.

Все время возвращаюсь к той памятной встрече, состоявшейся два года назад. Люди, стоявшие у истоков ВОК, с болью говорили о том, что общество книголюбов за последние годы стало одним из самых непопулярных в стране; у него нет собственного лица; оно во многом дублирует работу общества «Знание», библиотек и Всесоюзный центр пропаганды художественной литературы Союза писателей, а главное, не выполняет своего предназначения — не помогает общению между людьми, не воспитывает настоящих читателей. Словом, несет книгу в массы — и... не доносит.

А какие требования предъявлялись и предъявляются к первичкам! Центральное правление добивается от них участия в пропаганде и общественно-политической, и научно-технической, и художественной литературы, и открытия народного книжного киоска, и организации библиографического всеобуча, и сбора книг для подшефного колхоза... Всего и не перечислить. Но люди, объединенные в первичные организации ВОК, не хотят тратить свое свободное время на то, о чем мечтает столичное начальство. Кто-то искал общения с любителями исторической литературы, а кто-то — с почитателями фантастики, никак не желая заниматься распространением устаревших монографий по проблемам сельского хозяйства. Но Центральное правление этого не понимало: как так — в разгар кампании в защиту мелиорации, когда Центральный Комитет партии посвятил этому вопросу специальный Пленум, книголюбы займутся фантастикой?! А тут еще несколько «фантастических» клубов ряд нарушений допустили. В такой ситуации, безусловно, чиновникам от книги легче разогнать движение фантастов и поставить на нем точку. Правда, все равно уже через полтора года сама жизнь все же заставила Центральное правление, пусть с неохотой, без какого-либо энтузиазма, но заняться и работой с любителями фантастики. Но смотрите, что произошло: большинство таких объединений возродилось буквально за считанные дни (точнее не возродились, а вышли из «подполья»), тогда как тысячи первичных организаций ВОК распались как мертворожденные, не приносящие пользу.

И уж, не дай бог, если кому-то из «министров» книголюбской «отрасли» приходила в голову какая-нибудь идея, скажем, сбор книг из личных библиотек. Эта идея сразу становилась директивой, которую в обязательном порядке должны были подхватить все без исключения низовые организации. От каждого члена ВОК тут же требовали принести из дома для погранзастав или очередных «строек века» пять-шесть книг.

А теперь давайте посмотрим, чем за последние годы заявило о себе общество книголюбов. Если верить рекламным буклетам, то едиными клубными днями, клубами политической книги при Домах политического просвещения, тысячами народных книжных магазинов и киосков, производством переплетных станков. Звучит все это красиво. А как на деле?!

Что такое «народный магазин», многие книголюбы испытали на себе и своем кармане: практически в каждом магазине «узаконена» нагрузка, а дефицитная литература распространяется сначала среди «нужных» людей. Клубами политической книги занимаются, как правило, штатные сотрудники Домов политического просвещения, только вот в отчетах говорится о якобы совместной их работе с книголюбами. Впрочем, это давняя любовь аппаратчиков из ВОКа выдавать работу библиотек, книжных магазинов и школ за успешную совместную деятельность... Про переплетные станки уже и не говорю. Об их массовом производстве я слышу с 1983 года. Но время идет, а обещанных станков нет. Если, конечно, не считать красивых экспозиций на очередных международных выставках-ярмарках.

Вот почему многие люди, разуверившись в последние годы в возможностях общества книголюбов, стали задумываться о создании новых общественных организаций, свободных от бюрократизма и чиновничьего произвола.

Два года назад мы говорили с ответсекретарями о проблемах ВОК. Они и поныне те же. Такова судьба многих структур, возникших в застойное время, Общества трезвости, например. Не потому ли в прибалтийских республиках уже сказали решительное «нет» неорганизованным формам работы с любителями книги, превратившими духовное общение в унылые мероприятия, а покупку книги — в унизительный розыгрыш с «принудассортиментом» в придачу. Сказали и распустили республиканские советы, упразднили прежние общества книголюбов как еще одну «палку-погонялку». И создали в согласии с жизнью более гибкую организацию бескорыстных книжников.

Так, может быть, ВОК в нынешнем виде не нужен, как не нужна вообще структура, располагающая огромными средствами, но не знающая, как с пользой для дела потратить их.

И не лучше ли вообще не вливать свежую кровь в старые жилы, а создать на месте ВОК новую организацию, например, Союз читательских обществ. Союз, который действительно объединял бы на демократичных началах настоящих любителей книги. Выношу это предложение на суд читателей журнала «Слово».

Вячеслав ОГРЫЗКО



ТЛЕМИСОВ Хайдулла Абдрахманович родился в 1929 году. Закончил факультет журналистики Казахского государственного университета. Сорок лет проработал в периодической печати. С 1970 года трудится в республиканском издательстве «Кайнар» — главным редактором, а последние 15 лет директором.
Х. А. Тлемисов — прозаик, публицист, переводчик. Он автор нескольких повестей и сборников очерков, перевел на казахский язык более десяти книг. Член Союза писателей СССР.

ХАЙДУЛЛА ТЛЕМИСОВ,
директор издательства «Кайнар»

ПОСЛЕ ЛЕГКОЙ ЭЙФОРИИ



КНИГА И ПЕРЕСТРОЙКА. МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Всякий раз, когда речь заходит о перестройке, мы непременно спрашиваем себя или друг друга: а что изменилось, какие перемены произошли в нашей работе?

Если обратиться с этим вопросом к рядовым сотрудникам «Кайнара», большинство из них ответят: коренных сдвигов к лучшему не произошло — как работали, так и работаем. А экономисты и плановики считают, что им стало даже сложнее. В свою очередь, производственники сетуют: труднее выполнять план.

А что же руководители издательства? Обращаясь к широкой публике, они называют немало отрадных знамений: демократизацию управления, возросшую самостоятельность... Но в доверительной беседе обязательно признаются: руки по-прежнему связаны инструкциями и положениями, новый экономический механизм на поверку оказался немногим лучше старого.

Сопоставление возможностей перестройки издательского дела, его хозяйственного механизма с действительностью разочаровывает. Что и говорить, наступило время трезвых оценок последствий перехода на полный хозрасчет и самофинансирование.

Почти два года прошло с тех пор, как был утвержден Закон о государственном предприятии (объединении). Вслед за ним издан соответствующий приказ Госкомпечати СССР, который, казалось бы, дает издательствам немало прав — хозяйственную самостоятельность, возможность самим составлять и утверждать тематические планы, устанавливать структуру штатов, формировать фонды материального поощрения, осуществлять внутреннее самоуправление и так далее. А как воодушевлял часто декларировавшийся тезис: можно все, что не запрещено!

Понемногу легкая эйфория от радужных надежд прошла. И вот стала вырисовываться реальная картина. Спору нет, в ней ныне больше светлых красок, чем прежде. Взять издательство «Кайнар». Вместо громоздких отраслевых редакций созданы творческие группы. Теперь каждая из них самостоятельно оценивает рукописи, готовит и подписывает их в набор, а книги — к выходу в свет; работает по договору с администрацией на основе хозрасчета. Отказавшись от администрирования деятельности этих небольших коллективов, мы перешли на экономические отношения на основе договорных связей — оплата труда по конечному результату.

Все это заметно повысило заинтересованность редакторов в поиске актуальных тем, интересных авторов, в создании содержательных, престижных книг для массового читателя. Сейчас у нас по существу не осталось редакторов, которые не работали бы по методу социального заказа. И вот уже исчезли случаи возврата рукописей после редактирования, прекратились срывы графиков работы. Ясно, насколько это важно в условиях хозрасчета. Что я имею в виду? Готовность выпускать за счет заинтересованных организаций актуальную научно-производственную литературу; создание при издательстве кооператива по производству рекламно-информационных материалов и товаров широкого потребления, фирменного книжного магазина; перевод редакционно-издательских процессов на обслуживание современной техникой...

Попытки воплотить эти задумки в действительность всякий раз наталкиваются на непреодолимые препятствия — старую систему планирования, лимитирования и фондирования, на отсутствие свободного рынка бумаги и полиграфических мощностей. Почти все попытки добиться самостоятельности встречают в «коридорах власти» тонко маскируемое сопротивление. Причем, такое изощренное, что трудно каждый раз винить конкретных людей.

В итоге оказалось, что все наши перестроечные достижения последних двух-трех лет — не главное. А в главном как раз изменений мало. Возьмем вопрос вопросов: планирование. Формально издательство может теперь формировать план самостоятельно, соблюдая в нем лишь необходимые соотношения по видам литературы. Да какой толк, если нас вынуждают подгонять эти планы под спускаемые сверху показатели — объем такой-то, листов-оттисков — столько-то, сумма реализации — такая-то...

Наш опыт работы на основе хозрасчета и самофинансирования показал, что роль плана в его прежнем виде вообще начинает утрачивать прежнее значение как закона для пред-

приятия. Он превращается в тормоз, не позволяющий издательству производить больше продукции, полнее удовлетворять спрос читателей. В подтверждение своих слов приведу только один факт. На большинство массовых изданий «Кайнара» заказ книжной торговли составляет 200—300 тысяч экземпляров. Но из-за лимитируемых сверху фондов бумаги и полиграфических мощностей мы вынуждены включать в план лишь десятую часть требуемой литературы. Так что книжный дефицит планируется заведомо...

Я работаю в издательстве почти двадцать лет, а план «Кайнара» как был 1500 печатных листов, так и остался. Редакционный портфель пухнет, появляется все больше актуальных работ, планом не предусмотренных, которые надо бы срочно подготовить, сдать в набор, выпустить. Но не тут-то было. Где раздобыть дополнительную бумагу? Свободного рынка бумаги в стране нет. Напрямую от предприятий ее не получишь. Вот и получается, что для издателей в хозяйственном механизме по существу ничего не изменилось. Госкомпечать СССР продолжает твердо держать руку на «кислородном кране» и в любой момент может его докрутить или закрыть вовсе. Поэтому каждый руководитель издательства, намереваясь что-либо самостоятельно предпринять, прежде с опаской посмотрит на эту руку...

Какие же мы полноправные хозяева, если 85—87 процентов дохода у нас забирают, а заработанную валюту мы даже в глаза не видим?! Где уж там купить на нее какую-никакую современную издательскую технику!..

У меня нет оснований заподозрить союзный Госкомпечать в том, что он злонамеренно оставил за собой право «фондировать и лимитировать». Хочется верить, что эта ведомственная опека продиктована стремлением сохранить справедливость — всем дочерям по серьгам. Но если так будет продолжаться и дальше, как быть с надеждой на улучшение положения дел в отрасли, не запоздает ли обещанный экономический сдвиг? Да и сможет ли он произойти при столь консервативном подходе?

Представим чудо — в издательско-полиграфической экономике перестали составлять план от достигнутого, отменены лимиты, объявили, что издательства работают только на удовлетворение читательского спроса, переводятся на прямые связи с типографиями и бумажными фабриками, им можно вступать в договорные отношения с любыми поставщиками, в том числе с зарубежными.

Так и слышу возражение: это же анархия. Но уверяю — ничего страшного не произойдет. Просто план станет внутрииздательским делом, не придется отчитываться за его выполнение, ограничившись подачей статистической отчетности по тематическим направлениям выпуска, росту тиражей и доходов. Разве не ясно, что при хозрасчетной экономике не может быть полухозяина, какой-то половинчатой самостоятельности. Это — явления еще более низкого порядка, чем волевое планирование и голое администрирование. Точно так же, как полуправда хуже лжи.

Сама жизнь, казалось бы, давно убедила, что даже самые пламенные призывы ощущать себя хозяином, проявлять максимум предприимчивости и инициативы ничего не стоят, если не выработан адекватный механизм. А его-то издательства до сих пор и не получили. Налицо лишь попытка совместить несовместимое. Судите сами.

— Говорится об издательской самостоятельности в определении объемных показателей плана, на деле же остается пресловутое фондирование и лимитирование.

— Роль совета трудового коллектива определена будто бы как ведущая, между тем, при решении главных вопросов остается в силе единоначалие.

— На словах предоставлена возможность распоряжаться своими финансами, на практике — ужесточается контроль за расходованием средств на оплату труда.

— Вроде бы не ограничиваются максимальные заработки, но вот уже установлен норматив превышения производительности труда над его оплатой.

— И, наконец, утверждается: главное — конечный результат! А на практике главным по-прежнему остается выполнение плана.

Нужно быть большим оптимистом, чтобы в таких условиях поддерживать постоянное желание вести дело смело, с размахом, предприимчиво. И испытываешь чувство стыда за несовершенство отраслевой экономики, когда вступаешь в деловые контакты с зарубежными издателями. Ведь прежде, чем согласиться на любое их предложение или внести свое, приходится уходить от прямого ответа, дабы выиграть время для согласований с начальством. А эти согласования, как хорошо известно, тянутся столь долго, что партнеры просто теряют веру в серьезность наших намерений. В этом году директор индийского академического сельскохозяйственного издательства Т. С. Джейн предложил «Кайнару» выгодное сотрудничество на основе безвалютных расчетов. Назвал сроки и объемы поставок оборудования для совместного фирменного магазина в Алма-Ате, а также издательской компьютерной техники, размещения наших заказов на индийской полиграфической базе. Все это — в обмен на реализацию продукции индийской фирмы нашими силами.

Мое приподнятое настроение в ходе переговоров поймет любой издатель, перед которым вдруг открывается возможность заключить выгодное соглашение. Ведь фирменный магазин нужен «Кайнару» не только для повышения своего престижа. Он мог бы целенаправленно рекламировать продукцию издательства, изучать спрос читателей, рассылать литературу по заявкам сельских специалистов, собирать остатки наших книг в периферийных магазинах и находить адреса гарантированного сбыта. Короче говоря, здесь бы осуществлялась столь необходимая обратная связь: читатель — издатель.

Мы предполагали открыть такой магазин на арендных условиях. И в общем-то республиканский книготорг не возражал: пожалуйста, берите в аренду помещение — только плата за нее 80 тысяч рублей в год, да еще за оборудование 70 тысяч; мало того, будете давать нам отчисления от оборота. И Госкомиздат республики потребует отчисления и государство тоже. Что-то останется и нам, но этих жалких крох не хватит даже на зарплату работникам магазина.

Мы могли бы вложить в него собственные средства, но опять-таки нет уверенности, что Министерство финансов и другие учреждения разрешат нам распоряжаться доходами по собственному усмотрению. Так что задумка не осуществилась. К большому удивлению индийского коллеги...

В общем, за два года работы на хозрасчете мы уяснили, что все призывы становиться инициативными хозяевами, многообещающие разговоры о самостоятельности издательств не подкреплены экономически и, главное, соответствующими законами на государственном уровне. Такая ситуация не много стоит. Поэтому я разделяю точку зрения директора издательства «Юридическая литература» Э. И. Мачульского, которую он высказал в № 7 «Слова» за этот год, о необходимости подготовки издательского права.

На мой взгляд, наступил паритет сил между второй моделью хозрасчета и старой системой управления. Это равновесие становится опасным. Если в ближайшее время не будет реально расширена самостоятельность издательств, будет все сильнее действовать механизм торможения. Экономика не терпит неквалифицированного вмешательства, о чем так остро говорилось на первом Съезде народных депутатов СССР. Она мстит падением производительности труда, появлением все новых дефицитов, снижением уровня жизни. Мы ждем более зрелых решений экономистов-руководителей, тех, кто призван удовлетворить интересы отрасли и миллионов читателей. Времени отпущено мало. Следует поспешить.

Алма-Ата

Фото ВИКТОРА ЛАРИНА



БУШИН Владимир Сергеевич, родился в 1924 году в селе Глухово Московской области. Участник Великой Отечественной войны. Печататься начал на фронте, в 1946 году поступил в Литературный институт им. М. Горького, в котором учился вместе с писателями-фронтовиками В. Тендряковым, Ю. Бондаревым, Е. Винокуровым, Г. Баклановым, Г. Поженяном. Работал в редакциях «Литературной газеты», «Молодой гвардии», «Дружбы народов». Автор книг документальной прозы «Ничего, кроме всей жизни», «Эоловы арфы», а также многих статей и рецензий, отличающихся острой полемичностью. Во времена застоя, после публикации в журнале «Москва» (1979, № 7) статьи о романе Б. Окуджавы «Бедный Авросимов», восемь лет был отлучен от литературно-общественной критики, лишь в последние годы его статьи стали вновь появляться на страницах центральных газет и журналов.

ВЛАДИМИР БУШИН

УРОКИ ОДНОЙ ИСТОРИИ



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Достопечальная и опасная особенность многих нынешних споров о прошлом, в том числе и споров о событиях литературной жизни, состоит в том, что факты и лица, поступки и книги то и дело «с мясом» вырываются из контекста времени, из конкретной бытийно-исторической обстановки и преподносятся с точки зрения непререкаемой абсолютной истины. Кое-кто из молодых делает это, возможно, по неопытности, по незнанию; многие из старших — умудренных и закаленных в литературных ристалищах — сознательно.

Помянутая особенность разительно обнаружилась, например, в широчайшей кампании гневного обличения и проклятия опубликованного когда-то в «Огоньке» письма «Против чего выступает «Новый мир»?» и его одиннадцати авторов. Дело было в 1969 году — четыре пятилетки тому назад, за это время сменилось четыре лидера партии и государства, более трети авторов письма уже, как говорится, ушли в тот мир, где литературные дискуссии вряд ли возможны, все остальные пересекли пенсионный рубеж, иные перешагнули даже и предел средней продолжительности жизни в нашей стране. И однако же, не желая знать ни малейшего снисхождения не только к живым долгожителям, но и к уже не имеющим возможности даже взять слово для справки, начисто игнорируя общепринятые гуманные понятия о сроке давности — словно перед ними военные преступники — авторы «Огонька», «Московских новостей», «Советской культуры», «Знамени», «Юности», «Книжного обозрения», даже «Искусства кино» всё гвоздят и гвоздят «письмо одиннадцати» и его несчастных авторов. Это ж какая хроническая зацикленность!.. А между тем, доводилось слышать, будто кое-кто из экзекуторов внесли кое-какие суммы в Фонд милосердия.

Правда, среди экзекуторов наблюдаются все-таки некоторые оттенки и градации. Кто полиберальней (например, мягкосердечная Алла Марченко), тот хотя и уверяет, что «один из самых ощутимых ударов нанесли Твардовскому те одиннадцать», но все же — благодарение небесам! — корит их лишь «вынужденной отставкой» главного редактора «Нового мира». А кто попрокурористей (например, неумолимые В. Лакшин, В. Коротич, Ст. Рассадин, В. Оскоцкий, Ю. Буртин и пародист А. Иванов), тот оглашает державу кликами о том, что-де «письмо одиннадцати» сыграло роковую роль в жизни Твардовского. «Я знаю, кто убил поэта!» — слышат соотечественники от В. Коротича. «Топтали и душили «Новый мир» тем более, что высокие критерии искусства, выдвигавшиеся журналом, прямо задевали интересы невыдающихся сочинителей», — пишет выдающийся сочинитель В. Лакшин, подводя под «убийство» идейно-психологический базис.

Есть свои оттенки и в санкциях, которые бдительные критики, поэты и пародисты предлагают применить к «могильщикам» Твардовского. Одни, кажется, были бы вполне удовлетворены, если те «публично раскаялись бы в содеянном». Другие настойчиво предлагают им «воспользоваться правом отставки по собственному желанию». Третьи не находят слов, а только рычат да щелкают зубами. И лишь иногда можно разобрать: «...угробили Твардовского... злобный оскал... ждут своего часа...» (Ан. Рыбаков).

Да, уже чуть ли не три года идет неутомимая борьба против «одиннадцати». Как говорится, эту энергию да в мирных бы целях! Ах, как это было бы полезно для дела перестройки!

Кстати говоря, за эти два-три года бесстрашной борьбы против живых и мертвых ненавистников Твардовского не раз мы слышали недоуменные голоса: «Если «письмо одиннадцати» действительно было так ужасно, что убило поэта, то почему бы в назидание потомству не перепечатать его ныне в трехмиллионнотиражном «Огоньке» или в шестиязычных «Московских новостях», в беляевской «Советской культуре» или в баклановском «Знамени», ну, хотя бы в «Искусстве кино» или в «Книжном обозрении»? Именно такое недоумение высказал в «Советской культуре» кинорежиссер Алексей Герман: «Мы так и не знаем, кто написал письмо, послужившее поводом для снятия Твардовского с должности главного редактора «Нового мира». А почему бы тот манифест не напечатать?» Что касается «не знаем, кто написал», то это совершенно верно: документов, действительно связан-

ных с уходом Твардовского из журнала, в печати не было. Ну, а последовать разумному призыву опубликовать «манифест одиннадцати» хотя бы в сокращенном виде ни один из вышеназванных органов печати почему-то так и не пожелал. А ведь, казалось бы, это прямо в их интересах, тем более, что все они решительно числят себя в авангарде перестройки и страстно ратуют за гласность, открытость, расхристанность. Нет, никто не пожелал. Убийственный же козырь! Нет, увольте...

Однако «манифест» все-таки появился! Кто же его, наконец, опубликовал? Может, ну, хотя бы «Московский комсомолец»? Опять не то! Дело обернулось совершенно неожиданно: в своей январской книжке 1989 года «манифест» воспроизвел «Наш современник», во главе которого стоит один из авторов «манифеста». Ждали год, ждали два, и вот на третьем не выдержали. Что ж, пробавляться так долго замусоленными цитатками? — вот вам полный текст, читайте! И надо заметить, что он отнюдь не идеализируется. В статье, предваряющей публикацию, прямо сказано: «в тексте *«письма»* содержатся *демагогические* и *просто безосновательные выпады* против тех или иных авторов «Нового мира». Тут же даны конкретные примеры этого. И тем не менее — вот оно все письмо от слова до слова. Как сказал поэт, что ж тут хитрить, мусью, пожалуй к бою! И теперь спрашивается: кто же *на самом деле за гласность*, за открытую и прямую полемику, за обращение к подлинным документам, а кто за цитатную малакию, сопровождаемую страстными стенаниями, кто за сокрытие подлинных документов, за манипулирование фактами?

Итак, возникла во многом совершенно новая ситуация: теперь читатель безо всякого копания в архивной пыли может сам прочитать письмо, о котором столько написано и сказано. «Письмо одиннадцати» было отнюдь не исключительным и не единственным актом критики в адрес «Нового мира». Но почему же два-три года «Огонек» и солидарные с ним органы печати шумят больше всего именно о нем? Почему одни, не отрицая, вернее, молча о том, что Твардовский до конца дней своих оставался и секретарем правления Союза писателей СССР, и депутатом Верховного Совета РСФСР, и членом Комитета по премиям, и вице-президентом Европейского сообщества писателей, и членом редсоветов разного рода изданий вроде «Библиотеки поэта», — почему, тем не менее, уверяют, что в результате «письма» он лишился «возможности дышать воздухом времени»? Да во всей стране мало кто располагал столь широким полем для общественно-культурной деятельности и такой возможностью дышать воздухом эпохи самой разной консистенции. Другое дело, уже не оставалось сил...

Почему иные «неоогоньковцы» идут еще дальше и страстно уверяют общество, что главную роль в смерти поэта сыграли не пожилой возраст, не две пережитых войны, не напряженная, и во многом и драматическая личная жизнь, не многолетние духовные и физические перегрузки, не давнее потворство нездоровому пристрастию, не несчастный случай, уложивший его на несколько месяцев в больницу, не инсульт, не рак легкого, и не все это вместе взятое, а только уход из журнала из-за «письма одиннадцати»?

Почему, наконец, из семи здравствующих авторов «письма» некоторые, как С. Смирнов и С. Воронин, почти не упоминаются, а нападкам подвергаются М. Алексеев, С. Викулов, Ан. Иванов и П. Проскурин?

Да неужели кому-нибудь еще не ясно, что на все эти вопросы ответ один: упомянутые четыре автора «письма» занимают ныне наиболее активную и стойкую общественно-литературную позицию, которая шибко не нравится В. Коротичу, А. Беляеву, Е. Евтушенко и другим литераторам, ибо она сильно мешает вести перестройку как им хотелось бы. К тому же трое из авторов «письма» возглавляют толстые журналы, которые дают решительный отпор пустозвонству и экстремизму, разоблачают перестроечное лицемерие и приспособленчество. Потому и делается все, чтобы дискредитировать этих людей, выбить из седла, растоптать их репутации. Именно с этой целью и пущен в ход аргументик двадцатилетней давности.

Так вот, сегодня этот документ все могут прочитать сами. Но хочется обратить внимание на некоторые его особенности. Во-первых, как уже говорилось, «письмо одиннадцати» было лишь ответом на статью А. Дементьева*, лишь актом защиты. Во-вторых, «Новый мир» вовсе не безропотно принял «удар», а ответил очень резким заявлением «От редакции», написанным В. Лакшиным. Сейчас он уверяет, что сделать это удалось «с немалым трудом». Сомнительно. Ибо «письмо» появилось в «Огоньке» 26 июля 1969 года, а ответ на него — в июльской же книжке «Нового мира».

Как же данный эпизод литературной борьбы выглядит в итоге? Один «удар» со стороны «Огонька» и два «удара» со стороны «Нового мира». Причем по объему тексты второго превосходят текст первого раз в десять. Вот так-то в данном случае «душили и топтали» В. Лакшина и А. Дементьева. Словом, у первого из них были всякие основания заявить: «Атака на «Новый мир» летом 1969 года захлебнулась...»

Здесь небесполезно также отметить, что, обороняя «Молодую гвардию», авторы «письма» вовсе не считали, будто это какой-то безупречный журнал. Нет, они не раз возвращались к его ошибкам, промахам, неудачам. В частности, писали о некоторых статьях молодого тогда критика В. Чалмаева, напечатанных в «Молодой гвардии»: «они страдают серьезными недостатками, содержат грубые фактические и методологические ошибки, неточность ряда формулировок, уязвимые места в системе доказательств. Мы считаем, что редакция при публикации этих статей не проявила должной требовательности». *Одновременно признавалась справедливость* критики этих статей, которой они подверглись на страницах других изданий. Право же, такое в нашей литературной жизни случается не часто.

Можно добавить, что, как уже говорилось в начале статьи, авторы «письма», перепечатывая его ныне, видят и в нем большие недостатки. Ну, а зрит ли В. Лакшин, спустя двадцать лет, хоть какие-нибудь промашечки, задоринки, щербинки в статье А. Дементьева или в заявлении «От редакции»? Никаких. Абсолютно. Наоборот, до сих пор считает, что это — «как стихи». Словом, сколь был убежден в своей непогрешимости четыре пятилетки тому назад, столь убежден в этом и теперь.

Барон фон Гринвальдус,
Сей доблестный рыцарь,
Все в той же позицьи
На камне сидит.

Сидит и за перестройку агитирует.

Можно было ожидать, что после перепечатки в «Нашем современнике» «письма одиннадцати» его многочисленные критики, досадуя на свое упущение, тотчас перепечатают в ответ статью известного ученого А. Дементьева или хотя бы сочинение В. Лакшина «От редакции». Увы, ничего подобного пока не последовало. Все тихо. А ведь, пожалуй, теперь деваться рыцарям и баронам некуда, как пойти следом за «могильщиками» Твардовского...

В подтверждение девственной непорочности помянутых публикаций «Нового мира» и мерзости «письма одиннадцати» В. Лакшин упоминает письмо К. Симонова, тогда же посланное Твардовскому. В этом письме было сказано, в частности: «я лично отношу себя к числу литераторов, которые не приемлют ни позиции одиннадцати (...), ни их аргументации, ни того метода систематических передержек, по которому написано их письмо». Ни позиции, ни аргументации, ни метода...

Не хотели мы в этой статье обращаться к Симонову, не *хотели, но уж коли Лакшин апеллирует* именно к нему, то как не вспомнить еще о двух письмах на страницах «Нового мира», к которым и Симонов и Твардовский имели самое прямое авторское отношение. Посмотрим, как тут обстояло дело с позицией, аргументацией и методом, — насколько они приемлемы и для кого.

Впрочем, два эти помянутые письма и сами собой невольно напрашиваются на сопоставление с «письмом одиннадцати».

Об одном из этих писем я уже упоминал в статье «Знать и помнить» («Молодая гвардия» № 2, 1988). Тогда же зоркий Л. Аннинский заметил, читая статью: «Вл. Бушин при-

* В. Лакшин до сих пор величает А. Дементьева не иначе, как «известный ученый». Да, известный, очень хорошо известный, — например, той ролью, которую, будучи секретарем Ленинградского отделения Союза писателей, сыграл в судьбе М. Зощенко и А. Ахматовой. Известен этот «ученый» и своим лицемерием, например, по отношению к творчеству И. Ильфа и Е. Петрова.

водит интересные факты. Например, что А. Твардовский подписал редакционное письмо, где «Новый мир» отказывается от романа «Доктор Живаго». И повторил, как бы перелагая меня: «А. Твардовский подписал отказ от «Доктора Живаго». Странно видеть тут слова «отказ» и «отказывается». Можно подумать, что сперва журнал и его главный редактор роман приняли, а потом отказались его печатать. Ничего подобного. В конце письма-рецензии, написанной в сентябре 1956 года и тогда же переданной вместе с рукописью романа Б. Пастернаку, члены редколлегии журнала четко заявляли: «Как люди, стоящие на позиции, прямо противоположной Вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации Вашего романа на страницах журнала «Новый мир» не может быть и речи». Кроме того, в моей статье, как читатель может сам легко в этом убедиться, вовсе не сказано, что «Твардовский подписал редакционное письмо», которое только что упомянуто. Нет, дело обстояло не так. Письмо написали и подписали К. Симонов, К. Федин, Б. Лавренев и другие члены редколлегии 1956 года.* Твардовский же и члены новой редколлегии опубликовали это письмо в ноябрьской книжке журнала за 1958 год после присуждения Пастернаку Нобелевской премии. Они сопроводили письмо заявлением «От редакции», в котором целиком поддержали оценку, данную роману два года назад их предшественниками. Более того, они сочли нужным от себя добавить, что Пастернак, передав рукопись романа иностранным издателям, встал «на путь, позорящий высокое звание советского писателя... пренебрег элементарными понятиями чести и совести советского литератора и гражданина», что «будучи издана за границей, эта книга Пастернака, клеветнически изображающая Октябрьскую революцию, народ, совершивший эту революцию, и строительство социализма в Советском Союзе», используется нашими врагами. И еще: «Совершенно очевидно, что присуждение Б. Пастернаку Нобелевской премии не имеет ничего общего с объективной оценкой собственно литературных качеств его творчества, которое носит сугубо индивидуалистический характер, далеко от жизни народа, отходит от реалистических и демократических традиций великой русской литературы. Присуждение премии связано с антисоветской шумихой вокруг романа «Доктор Живаго» и является чисто политической акцией, враждебной по отношению к нашей стране и направленной на разжигание холодной войны». И наконец: «Вот почему мы считаем сейчас необходимым предать гласности письмо Б. Пастернаку. Оно с достаточной убедительностью объясняет, почему роман Пастернака не мог найти места на страницах советского журнала, хотя, естественно, не выражает той меры негодования и презрения, какую вызвала у нас, как и у всех советских писателей, нынешняя постыдная, антипатриотическая позиция Пастернака».

Вот какие строки были подписаны Александром Трифоновичем 24 октября 1958 года. Произошло это за полтора года до смерти Пастернака.

В недавней обширной публикации В. Борисова и Е. Пастернака «Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» («Новый мир» № 6, 1988) названы многие литераторы, критиковавшие те ли иные произведения писателя или его позицию: А. Фадеев, К. Симонов, А. Сурков, Э. Казакевич, А. Кривицкий, Л. Плоткин, Б. Яковлев, А. Макаров, Т. Мотылева... Мельком упомянута и внутренняя рецензия симоновской редколлегии «Нового мира», публикацией которой спустя два года «была открыта скандально известная кампания, вызванная присуждением Пастернаку Нобелевской премии в 1958 году». Все верно, но о публикации этой рецензии именно в «Новом мире», о заявлении «От редколлегии», то есть о причастности к той кампании и Твардовского — ни слова.

Итак, имели место два уничижительно-разгромных заявления о «Докторе Живаго» и его авторе: письмо-рецензия пяти членов редколлегии «Нового мира» во главе с К. Симоновым в 1956 году и совершенно солидарное с ним, содержащее однако гораздо более резкие оценки, добавление к тому письму восьми членов редколлегии во главе с А. Твардовским в 1958 году. Есть веские основания для простоты называть их в совокупности в дальнейшем «письмом тринадцати».

Так вот, даже если оценивать «письмо одиннадцати» крайне отрицательно, то и тогда нельзя не видеть, что в нем не было обвинений главного редактора журнала и его авторов в «неприятии социалистической революции», их произведений — в наличии «антинародного духа», в «апологии предательства», а их любимых героев — в «патологическом индивидуализме», «в «зоологическом отщепенстве», в «ненависти к революции», в «готовности изменить народу в трудную минуту», пойти «на любые несправедливости по отношению к нему», в «двурушничестве и шкурничестве», в «иезуитстве и многократном предательстве», в «высокомерии и низости», — словом, в «письме одиннадцати» не было ничего такого, что содержалось в письме К. Симонова и еще четырех известных литераторов о «Докторе Живаго» и его авторе. Как не было в «письме одиннадцати» и обвинений кого-либо в избрании пути, «позорящего высокое звание советского писателя», в «пренебрежении понятиями чести и совести советского гражданина», в «клеветническом изображении советского народа и социализма», в «пособничестве врагам», не было и слов презрения.

А сопоставим авторов обоих писем! В числе подписавших «письмо одиннадцати» значительную часть составляли сравнительно молодые литераторы, некоторым не было еще и сорока, не лауреаты, не депутаты, не секретари Союза писателей СССР, кроме А. Прокофьева. Во всяком случае, под тем письмом не стояло ни одного столь громкого и влиятельного имени, как под «письмом тринадцати», — секретари Союза писателей СССР, депутаты Верховных Советов, пятишестикратные лауреаты высших литературных премий, за плечами у некоторых — долгие годы пребывания в составе ЦК и ЦРК КПСС. К. Симонов был тогда даже не просто секретарем Союза писателей СССР, а заместителем генерального секретаря его. Спрашивается, чей же голос звучал весомей? К кому руководящие инстанции должны были прислушиваться внимательней — к поэту Сергею Смирнову или к Симонову? к Владимиру Чивилихину или к Твардовскому? к Николаю Шундику или к Федину? к Петру Проскурину или к Лавреневу? к Сергею Малашкину или к Овечкину?.. Тем более, повторяю, что в «письме одиннадцати» не было и в помине столь тяжких нравственных и гражданско-политических обвинений по адресу Пастернака, которые высказаны в «письме тринадцати».

Нельзя забыть и о том, что симоновско-твардовская разгромная акция была предпринята вскоре после XX съезда *партии, в пору самого пышного расцвета хрущевской либерализации.* А о точной направленности «письма тринадцати» свидетельствует то, что оно было напечатано не только в *«Новом мире», но еще и в «Литературной газете» как раз накануне* писательского пленума, на котором Пастернака исключили из Союза писателей.

Наконец, если даже принять версию о злой роли «письма одиннадцати» в судьбе Твардовского, то надо все же помнить: поэт ушел из журнала, и этим дело ограничилось, перечисленных выше других высоких постов и должностей никто Твардовского не лишал, книги его, разумеется, издавались и переиздавались, даже и премию еще одну он получил, пятую по счету. Для Пастернака же, как известно, дело обернулось покруче... Надо слишком безоглядно забыть недавнее прошлое, чтобы игнорировать все эти факты, поистине вопиющие. Нет, уж если перестроечные правдолюбцы твердят, что одиннадцать писателей-консерваторов в 1969 году затравили Твардовского, то пусть примут и другое: за десять с лишним лет до этого тринадцать писателей-либералов во главе с Симоновым и Твардовским затравили Пастернака. И тогда правдолюбцы получат: нижестоящие да и почти безвестные лишь следовали громкому примеру вышестоящих и прославленных.

Не будем заниматься здесь выяснением причин указанной «забывчивости» всех критиков «письма одиннадцати» — почему если некоторые из них и упоминают глухо о роли К. Симонова в судьбе Пастернака, то решительно все мертво молчат о роли Твардовского. Однако о причине такой «забывчивости» наиболее осведомленного из них — главного летописца «Нового мира» В. Лакшина умолчать нельзя. Она проста: ведь речь-то идет о «втором отце», а родителей крайне необходимо иметь с безупречной анкетой. Ради такой анкеты можно и любовью к Пастернаку поступиться.

* Как записал в своем дневнике К. Чуковский, К. Симонов при этом будто бы сказал: «Нельзя давать трибуну Пастернаку!»



Все меньше и меньше остается белых пятен в истории нашей страны, все больше и больше тайн, хранимых прежде за семью печатями, раскрывается и предается огласке. В последнее время, например, много пишут о «деле врачей» 1953 года. И не только в периодической печати. Не так давно вышел в свет «первый и единственный», как написано в предисловии, литературный труд Я. Л. Рапопорта «На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года» (издание за счет средств автора). Книга — далеко не однозначная — вызвала жаркие споры. Словом, она находится в центре общественного внимания, вызывая порой противоположные мнения читателей по отдельным авторским суждениям, в частности, относительно «национального вопроса». «Опять полуправда! Слова недоговоренности и чисто субъективные оценки далеких событий...» — с горечью сетуют одни читатели. «Белых пятен в период, связанный со сталинщиной, нет, все эти пятна — черные, мрачные, зловещие!» — горячатся другие.

Сегодня на страницах нашего журнала полемический разговор о мемуарах Я. Л. Рапопорта ведут писатель РУДОЛЬФ БАЛАНДИН и научный сотрудник НИКОЛАЙ МОСКОВЧЕНКО.

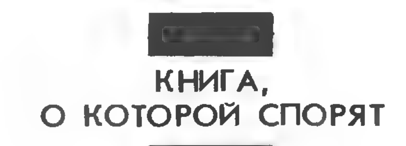
Рубрика, в которой публикуется материал, на наш взгляд, могла бы стать постоянной, поскольку поток книг, вызывающих острую дискуссию, в последнее время значительно расширился, и есть все основания считать, что тенденция эта будет развиваться. Отрадно, что рецензентами таких работ все чаще выступают не только профессиональные литературные критики, но и обычные читатели, то есть те, на кого книги и рассчитаны. Редакция надеется, что новая рубрика привлечет внимание наших подписчиков, которые впредь будут присылать нам свои размышления о книгах «дискуссионного характера». Напоминаем, однако, что истинная гласность предполагает не просто плюрализм мнений, но главное — высокую степень аргументированности высказываемых точек зрения. Что же касается плюрализма, то в данном разговоре его более чем достаточно. Но редакция, в свою очередь, хочет подчеркнуть, что это личные точки зрения Р. Баландина и Н. Московченко. Мы готовы продолжить начатый разговор, предоставив слово и самому Я. Л. Рапопорту или любому читателю.

Николай Московченко. Рудольф Константинович, вы писали о творчестве и социальных взглядах естествоиспытателей, среди которых Вернадский, Ферсман, Миклухо-Маклай... А теперь представился случай поговорить о творчестве в этой области представителей медицины.

Рудольф Баландин. *Патологоанатомия, которой посвятил свою жизнь Рапопорт, в основном изучает не живых, а мертвых людей. Но цель таких вскрытий — исследование причин смерти для того, чтобы выяснить возможные ошибки лечащих врачей, просчеты хирургов, сомнительные диагнозы. Прошлого, конечно, не вернуть, и данному человеку уже не поможешь, однако опыт прошлого важен для настоящего и будущего.*

В обществе подобные патологоанатомическим задачи призваны решать историки, социологи, философы. Однако они, как известно, были мобилизованы на «идеологический фронт»; их исследования были направлены не на искания правды, а на обоснование тех или иных положений, высказанных политическими вождями. Так продолжалось десятилетиями, и в конце концов историческая правда оказалась продуктом остродефицитным и трудно добываемым, погребенным под завалами лживых искажений и добросовестных заблуждений. Поэтому объяснимо, что за последние годы стали особенно популярны произведения мемуарного жанра, а также различные документальные сведения о событиях прошлого.

Рапопорт, человек умный и образованный, был непосредственным участником событий и жертвой несправедливых обвинений. Его взгляд — как бы изнутри. Это своеобразное историческое «вскрытие», по результатам которого автор дает свое, достаточно категорическое, заключение как о данном частном «деле», так и о главнейших патологиях нашего общества и их причинах. Главную из них он видит в Сталине, рисуя его психологический портрет: «...ханжеское лицемерие и вероломство в сочетании с хитростью зверя, вводившее в заблуждение и «стреляных воробьев»; безграничная жестокость ненасытного, кровожадного людоеда; подозрительность параноика



и физическая трусость, как непременные черты любого тирана. Все эти черты создали в своей совокупности образ из области криминологической психопатологии» (с. 208). То есть психически больной вождь творил окружающую социальную среду по своему образу и подобию.

Н. М. Неясно только, какие фактические данные положены в основу этого вывода. Ведь автор не был лечащим врачом Сталина, да и принцип врачебной тайны никто не отменял... Если считать, что профессор В. Н. Виноградов был верен этому принципу, то главным источником становится рассказ Н. С. Хрущева о том, как Берия доложил Сталину заключение профессора и какую реакцию это вызвало у диктатора.

Р. Б. Рапопорт не проводил и патологоанатомического вскрытия тела Сталина (да и вряд ли при этом возможно установить предполагаемое автором психическое расстройство). По этим данным, «Сталин страдал в последние годы гипертонической болезнью и мозговым артериосклерозом», в результате чего у него, как обычно в подобных случаях, был «портящийся характер». Эти старческие недуги вряд ли могут объяснить характерные черты «сталинской эпохи», которая начиналась в расцвете его физических и умственных сил. И если этот человек сумел тогда ввести в заблуждение «стреляных воробьев», не обделенных жестокостью, лицемерием, хитростью, искушенных в борьбе за власть и внутренних интригах, то, надо полагать, он был способен, как шахматист, видеть на один-два хода вперед своих соперников, продуманно используя их слабости и разногласия. В общем «нетипичный» параноик.

Н. М. Мне трудно судить о медицинской стороне дела, но для обыденного сознания версия о мести Сталина за жену (Н. С. Аллилуеву) кажется правдоподобной. Как пишет Рапопорт, Л. Г. Левину, Д. Д. Плетневу и главному врачу кремлевской больницы А. Ю. Канель было предложено подписать бюллетень о смерти Н. С. Аллилуевой «от аппендицита», но все трое отказались. (Жена Сталина была обнаружена мертвой с огнестрельной раной в виске). «Сталин не забыл этого отказа, и его злобной местью, — делает вывод автор, — была версия умерщвления А. М. Горького Плетневым и Левиным» (с. 17). Их осудили на трагически известном процессе в марте 1938 года вместе с Рыковым, Бухариным и другими.

Надо сказать, что в литературе имеются и другие версии событий тех лет. По словам писателя Льва Разгона, объяснение с аппендицитом предложил Енукидзе, тогдаший секретарь ЦИКа, но Сталин на него не пошел ввиду сомнительности для народа такого диагноза. Видимо, этот непростой вопрос решался коллективно.

Р. Б. К сожалению, вскользь упомянуты в книге такие фигуры, как Жданов, Маленков, Молотов...

Н. М. А ведь жена последнего — Полина Семеновна Жемчужина — была в годы войны одним из руководителей Еврейского антифашистского комитета, истории которого посвящено автором немало страниц. По сведениям Роя Медведева, посол Израиля в СССР Голда Меир и Полина Жемчужина не раз беседовали друг с другом на посольских приемах. Но ее фамилия в книге не упоминается.

Р. Б. Полагаю, что в подборе фактов любой мемуарист суверенен и, в отличие от писателя или исследователя, привлекает те из них, которые ему лично «знакомы» и которые «работают» на его концепцию. Схема Рапопорта, как я ее понял, следующая: сталинская система состояла из вождя-маньяка и нелюдей-исполнителей. Работники МГБ «действительно считали себя людьми, — пишет Рапопорт, — и, мне кажется, могли бы ими быть в другой общественной формации и в другой профессиональной области» (с. 99).

Спору нет, эта схема, как и всякая другая, имеет право на существование, хотя вряд ли хоть что-нибудь объясняет в нашей почти вековой истории. Хотелось бы, однако, обратить внимание на одно обстоятельство. По мнению автора, такие *нелюди, как его следователь, в благоприятной социальной среде* «могли бы» стать людьми. Такая конструкция допускает, что нелюди могли бы и не стать людьми. Почему? По каким-то своим врожденным, как у Сталина, качествам?

Нет, я не придираюсь к словам или оговоркам. К тому же, как полагал почтительно упоминаемый автором З. Фрейд, оговорки часто означают больше (проявляя бессознательное), чем продуманные мысли. Но в данном случае мне видится даже и не оговорка, и не просто эмоциональная характеристика «следователей-убийц». Вспомните одну очень серьезную аналогию, проводимую Рапопортом. По его убеждению: «Общественная ситуация, сложившаяся после правительственного сообщения о «врачах-убийцах», да и внутренняя подоплека этого дела является незаконченным советским изданием так называемых «холерных бунтов»... Вспышки ярости, накопленной годами нищеты и бедствий озлобленных человеческих масс, были вначале направлены против медицинского персонала... Необразованные темные массы приписывали врачам распространение холеры... Как и в холерных бунтах XIX века, в 1953 году озлобление народа, оболваненного соответствующей пропагандой, было от врачей распространено на интеллигенцию вообще... открытые всеми государственными средствами пропаганды каналы антисемитизма были приняты с особым воодушевлением, подготовленные всей длинной предысторией (с. 70—71).

Н. М. Этот тезис хотелось бы обсудить. Если вспомнить цифры, характеризующие в те годы смертность среди населения, то оснований для аналогии нет. В самом начале 1950-х на 1000 жителей страны приходилось 9,7 умерших, а в 1954-м — 8,9; хотя в точности этих цифр можно сомневаться. В то же время в обыденном сознании отношение к врачам в случаях с летальным исходом было и остается, мягко говоря, настороженным. Я напомню один эпизод из романа Константина Федина «Братья», опубликованного еще в 1928 году. Прямо со дня рождения жены профессор Матвей Васильевич Карев должен ехать к «товарищу Шерингу», известному многим жителям Петрограда. Осмотрев больного, Карев попросил молодого доктора Званцева:

— Коллега доктор! Надо приготовить горячие бутылки.

Точно дождавшись какого-то важного результата, люди *колонкой двинулись следом за доктором Званцевым.*

— Значит, надо не лед, а бутылки, горячие бутылки, а ты клал лед, это что же? Нарочно, что ли, лед, а? Ты понимаешь, что делаешь, ты кладешь лед, когда...

В этом эпизоде ярко виден конфликт между профессионализмом и некомпетентностью, между обыденной верой во всемогущество человеческого разума и его противоречивыми результатами. И Рапопорт, мне кажется, занимает трезвую позицию, признавая горькое право каждого врача на ошибку, существо и природу которой должен раскрыть патологоанатом (с. 152).

Что же касается антисемитизма, то автор идет, что называется, с открытым забралом: профессор Г. П. Зайцев, заместитель директора 2-го Московского медицинского института по научной и учебной работе, и секретарь партийной организации института В. А. Иванов «создавали атмосферу расслоения, организовывали подлинную травлю профессоров евреев, способствовали возникновению у них чувства протеста и подавленности, тем более что один за другим они под разными предлогами изгонялись из института» (с. 150). *Другие гонители* или приспособленцы указаны в книге по инициалам, но с такими подробностями, что «вычислить» их нетрудно. Два вышеупомянутых лица — Г. П. З. и В. А. И. — названы черносотенцами и мерзавцами (с. 155). Во многих подобных ситуациях упоминается профессор Б. Н. М., научный руководитель Клеопатры Горнак, который «дал ей диссертационную тему, примитивную по замыслу и бездарную по ее научному смыслу, но беспроигрышную по требованиям того времени к кандидатским диссертациям» (с. 29). Эти и другие факты, рассыпанные в книге, позволяют основательно предположить, что за инициалами Б. Н. М. имеется в виду заведующий кафедрой патологической анатомии педиатрического факультета в 1933—1955 годах и заместитель директора 2-го Московского медицинского института в 1942—1946 годах член-корреспондент АМН СССР с 1952 г. Борис Нестерович Могильницкий (1882—1955). Нетрудно «вычислить» и секретного сотрудника МГБ (сексота старушку Е. Г., о которой говорится на с. 129—136). Такие детали, как работа вторым профессором у Абрикосова *до войны, а потом прозектором больницы на* Басманной о многом говорят...

Р. Б. Вы правы, для «сыщиков» решить такую задачу — пара пустяков. Дело только в том, что оценку той или иной деятельности человека выносит суд на основании рассмотрения иска. Из книги не видно, что Рапопорт требовал в судебном порядке заклеймить, например, Зайцева и Иванова как черносотенцев...

Но я хотел бы вернуться к вышеупомянутой аналогии «дела врачей» и «холерными бунтами», благодаря которой, на мой

взгляд, теоретическая концепция автора становится окончательно завершенной. Помимо верхов пирамиды власти и бесчеловечных исполнителей воли маньяка существует озлобленный, оболваненный, необразованный народ (надо полагать, речь идет о русском народе, ибо ранее упомянуты крестьянские массы и «русский бунт»), науськанный верхушкой на интеллигенцию вообще и семитов в частности. Это сказано, что называется, прямым текстом. И автора не смущает давно признанная клеветой версия о дикости и озлобленности русского крестьянства в дореволюционное время, о его ненависти к интеллигенции. Кому не известно, что русская культура XIX века вышла за уровень высочайших достижений мировой культуры, а в литературе стала признанным лидером. И все это — на самобытной национальной почве, как развитие и проявление духовных богатств народа, в частности, русского языка, художественных традиций, материальной культуры...

Конечно, каждый человек вправе иметь личные симпатии и антипатии, затрагивающие не только родных и близких, но страны и народы, национальные культуры и традиции. На этих чувствах вполне могут сказываться привходящие текущие обстоятельства, например, несправедливые оскорбления, гонения. Хотя в данном случае Рапопорт вспоминает «дела давно минувших дней» и старается трезво анализировать их, тем не менее некоторые его высказывания и оценки по «национальному вопросу» вызывают глубокое недоумение. Трудно даже сказать, на кого они рассчитаны: на какие народы, на какие поколения. Хотя книга, безусловно, обращена ко всем нам. Судите сами.

«Вся постановка вопроса о безродных коспомолитах, людях без рода, без племени, не имеющих родины, заключается в том, что им не дано понять творчества русских людей, русской и советской природы... Идеологи борьбы с безродными космополитами, вероятно, запретили бы и Исааку Левитану, великому певцу русской природы, коснуться ее своей гениальной, но еврейской кистью».

Можно, конечно, посмеяться над словами о «гениальной, но еврейской кисти» Левитана, посетовав на отсутствие редактирования текста. Переходя на серьезный тон, можно было бы перечислять имена десятков, сотен советских художников, музыкантов, поэтов, писателей, кинематографистов еврейской национальности, которые вполне благополучно и успешно «касались» в своем творчестве и русской природы, и вообще русской темы в искусстве. На это у нас никогда и нигде не было запретов. Но хотелось бы обратиться к примеру Левитана, его отношению к России, русской природе, культуре.

Вот что писал он из Ниццы А. М. Васнецову: «Воображаю, какая прелесть у нас на Руси — реки разлились, оживает все... Нет лучше страны, чем Россия!» Из Генуи, три года спустя, из очередной поездки: «Зачем ссылают сюда людей русских, любящих так сильно свою родину, свою природу, как я, например?! Неужели воздух с юга может в самом деле восстановить организм, тело, которое так неразрывно связано с нашим духом, с нашей сущностью? А наша сущность, наш дух может быть только покоен у себя, на своей земле, среди своих, которые, допускаю, могут быть минутами неприятны, тяжелы, но без которых еще хуже». А. П. Чехову из Германии: «Недели через две, вероятно, еду в Россию, куда смертельно хочется. Хоть и дикая страна, а люблю ее!» Е. А. Корзинкиной из Франции (в 1897 г.): «Одно время было даже настолько плохо, что хотел ехать обратно в Россию, умирать».

Не обязательно знать подобные высказывания — очень искренние. Достаточно даже беглого знакомства с творчеством художника Левитана, чтобы согласиться с мнением Л. О. Пастернака: «Его художественная индивидуальность сделала его бессмертным, и благодаря ей в истории развития русского искусства, русского пейзажа ему приготовлено одно из самых крупных, почетных мест, и память о Левитане, как о тонком поэте-художнике будет жить всегда в сердцах всех, кому дорого родное искусство».

Национальность художника, которую столь явно выпячивает Рапопорт, ни сам Левитан, ни другие представители духовной культуры России (русские, евреи или кто бы то ни был) не считали в подобных случаях сколько-нибудь существенной. Для всех них определяющей являлась принадлежность к данной культуре, к родной стране и родной природе. В целом это можно назвать чувством Родины. К сожалению, у Рапопорта подобная шкала ценностей, приоритетов оказалась перевернутой, и на первый план выступил, опять же обобщенно говоря, биологический или популяционный признак (расовый, национальный)...

Н. М. Действительно, на с. 121 утверждается, что «...в определении понятия «еврей» надо идти от противоположных показателей: еврей тот, на которого распространяется антисемитизм...» «...антисемитизм — имманентное людоедское чувство из области зоологии, проецирующееся на евреев...» Применять такой «научный» критерий к анализу наших межнациональных отношений вряд ли уместно.

Р. Б. Настораживает в высказывании Рапопорта уже то, что тон и дух его книги, стиль рассуждений и шуток, и конце концов та самая «гениальная, но еврейская кисть Левитана» весьма мало гармонируют с традициями и достижениями русской культуры. И дело тут вовсе не в каких-либо проявлениях пресловутого «еврейского национализма», а в подходе к культуре, которая рассматривается как механическая система, сумма произведений литературы и искусства вне народной и природной среды, вне религиозных и философских прозрений, нравственных традиций. Как будто речь идет о культуре, сотворенной несколькими умершими гениями, призванной удовлетворять «законную гордость советского народа за нее».

Мне, например, показалась крайне неудачной, с неуместными сопоставлениями, характеристика рядового врача кремлевской больницы Тимощук: «По совместительству со светлым образом преподобной богородицы она была секретным сотрудником (сокращенно — сексотом) органов госбезопасности» (с. 64). Позже (с. 178) сказано, что она «была разжалована из великой дочери русского народа» — именно русского, а не советского.

Н. М. Вообще, в книге можно найти примеры противопоставления работников двух национальностей. Бездарная Лепешинская, открывшая «живое вещество» и получившая за это Сталинскую премию, и признанная в Европе академик Лина Соломоновна Штерн, репрессированная по делу Еврейского антифашистского комитета. Автору книги, «вирховианцу», противостоит завистливый и недалекий профессор Б. Н. М. После освобождения М. С. Вовси глубоко раскаивался в своем поведении на допросах, когда он «перестал быть человеком» (с. 125). Напротив, В. Н. Виноградов особенно возмущался только профессорами-экспертами по «делу врачей». Он забыл, что сам был экспертом по делу Д. Д. Плетнева... и что его экспертиза отнюдь не была в пользу обвиненного (с. 203). Упомяну также оценку И. Н. Казакова: «невежественный, но предприимчивый врач, нашумевший в 30-х годах, автор так называемой лизатотерапии как универсального метода в профилактике возрастных человеческих немощей, как панацеи при лечении различных заболеваний» (с. 13). Его антиподом является оклеветанный доктор Левин.

Судить об уровне квалификации и нравственном облике перечисленных лиц я, конечно, не могу, но некоторые моменты процесса 1938 года уточнить необходимо. Помните, как у Толстого в «Воскресении» разворачивается один сюжет: полицейский врач удостоверил, что смерть курганского 2-й гильдии купца Ферапонта Емельяновича Смелькова произошла в гостинице «Мавритания» от разрыва сердца, вызванного чрезмерным употреблением спиртных напитков. Через несколько дней его земляк и товарищ купец Тимохин, возвратившись из Петербурга, на основании известных ему обстоятельств заявил полиции подозрение в отравлении Смелькова. Судебно-медицинским осмотром, вскрытием трупа и химическим исследованием внутренностей курганского купца обнаружено несомненное присутствие яда в организме покойного.

На процессе 1938-го, который назван прологом «холерного бунта», врачи обвинялись в содействии ускорению летального исхода лиц, который имел место в 1934—1936 годах. При этом заявления родственников покойных (Менжинского, Куйбышева, Горького) о неправильном лечении не оглашались. Кто из медиков консультировал Вышинского на предмет «допустимости» предъявления обвинения врачам, неизвестно. Но сказанное уже определяет те задачи, которые Вышинский мог ставить перед экспертизой. Ее осуществляли Д. А. Бурмин, В. Н. Виноградов, В. Д. Зипалов, Д. М. Российский и Н. А. Шерешевский. Трое из них известны нашим современникам. Выпускник медфака Московского университета Николай Адольфович Шерешевский (1885—1961) был к тому времени заслуженным деятелем науки, возглавлял Институт эксперимен-

тальной эндокринологии. Он также был арестован по «делу врачей», но его роль эксперта Рапопорт не упоминает. Владимир Никитич Виноградов (1882—1964) был профессором и заведовал кафедрой факультетской терапии во втором Московском мединституте. В первом Московском мединституте руководил поликлинической кафедрой профессор Дмитрий Михайлович Российский (1887—1955), специалист по лекарственным растениям. О двух других экспертах — заслуженном деятеле науки, профессоре Дмитрии Александровиче Бурмине и докторе медицинских наук Владимире Дмитриевиче Зипалове — Медицинская энциклопедия не содержит сведений ни в первом, ни во втором изданиях.

Р. Б. Позвольте одну реплику. У большинства, если не у всех племен с примитивной культурой существовало поверье, что смерть человека, в особенности вождя, происходит из-за козней конкретных злодеев. И все беды принято было объяснять действием темных сил, ведьм и колдунов, например. Оставалось только обнаружить этих вредителей и уничтожить. Однако в нашем обществе традиционно обнаруживались и карались бесчисленные и самые разные так называемые «враги народа», а зло продолжало существовать и даже упрочалось.

Н. М. Мы сейчас разбираем один конкретный случай на этом общем фоне. Итак, версия «умерщвления» Менжинского. Экспертизе были заданы по существу два вопроса. Во-первых, допустимо ли было указанному больному, страдавшему артериосклерозом с тяжелыми припадками грудной жабы и имевшему инфаркт миокарда, назначать длительное применение препаратов наперстянки, особенно в сочетании с лизатами, могущими усиливать действие препаратов наперстянки? Во-вторых, могло ли применение такого метода лечения способствовать истощению сердечных мышц и тем самым способствовать наступлению смертельного исхода? Заключительный третий вопрос «подытоживал» ответы: можно ли по совокупности этих «данных» считать методы лечения Менжинского вредительскими.

Экспертам разрешалось изучение всех материалов дела, но их состав в Стенографическом отчете о процессе не отражен. В частности, неизвестно, имелся ли в деле протокол патологоанатомического вскрытия А. И. Абрикосовым и учетная карточка Менжинского с отражением назначенных ему лекарств. От имени единодушной экспертизы профессор Бурмин ответил 9 марта 1938 года, что применение лизатов щитовидной железы, придатка мозга и мозгового слоя надпочечников при тяжелом сердечном заболевании, которым страдал покойный Менжинский, было недопустимо. Вредные действия этих лизатов усугублялись одновременным применением препаратов наперстянки. Такое сочетание методов лечения не могло не привести к истощению сердечной мышцы больного и ускорению наступления его смерти. Под этим заключением экспертов подписался бы любой опытный врач, то есть участие Шерешевского и Виноградова было, по существу, ширмой. Но для отказа от этой роли у них не было оснований; как специалисты, они соответствовали «профилю» дела.

По поводу оценки Казакова можно привести мнение доктора Левина. Он сказал на суде, что в свое время профессор Шварцман изобрел средство от грудной жабы — миоль и всюду его рекламировал. Менжинский вызвал профессора из Одессы, но через некоторое время разочаровался в нем. Затем началась шумиха вокруг Игнатия Николаевича Казакова. С 1932-го Менжинский стал его постоянным и благодарным пациентом, благодаря чему Совнарком выделил «невежде» специальный институт. Однако по неизвестным причинам лечсанупр Кремля отстранил Казакова от лечения «первого чекиста». В общем, эта история остается неисследованной, хотя все обвинявшиеся в 1938 году, за исключением Ягоды, реабилитированы.

Почему я сделал этот исторический экскурс? Первым звеном в цепи построений «психопата» Сталина в книге названы «факты послушания медиков, когда они, теряя профессиональную добросовестность и принципиальность, служили его политическим целям» (с. 210). По перечисленным лицам убедительных доказательств в подтверждение своего вывода Рапопорт не привел.

Хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Характеризуя деятельность врачей, ученых еврейской национальности, автор, мне кажется, порой забывает о чувстве меры. Для раскрытия «дела врачей» уместно, конечно, сказать, что Этингер был словоохотливый человек, любивший политические темы, которые он обсуждал с первым встречным в любой обстановке (с. 117). Но вряд ли будет приятно некоторым из близких к нему людей прочитать, что до ареста в 1950-м приемного сына Яши это был «всегда самодовольный человек» (с. 59), то есть аресты других его не беспокоили. Представляется излишним упоминание (с. 163) о намерении М. С. Вовси приобрести в строящемся кооперативе «Медик» квартиру для женщины, «что, по-видимому, диктовалось интимными соображениями, которые он быстро погасил». Излишние детали такого же рода содержит и очерк о Л. С. Штерн. Может быть, это сделано для того, чтобы снять упреки в пристрастности к русским?

Р. Б. Действительно, Яков Львович Рапопорт недвусмысленно отказывается от примитивного национализма: «Я отметил национальную принадлежность ряда персонажей для демонстрации общеизвестной закономерности, согласно которой любая национальность — это не определение этики» (с. 91). Но, по-моему, такую «истину» не стоило и формулировать! И надо ли приводить в качестве примеров благородное поведение русского профессора В. Н. Беклемишева и доброту русской няни детей Рапопорта и русской портнихи его жены, а также жадность одного врача-еврея. Право, испытываешь неловкость от подобных пассажей.

Судя по всему, автор действительно проявляет склонность к интернационализму, четко разделяя граждан и по социальному положению, причастности к правящим группам. Он не раз подчеркивает свою партийную принадлежность, свои награды и звания, связи с «высшими сферами». Упоминая об аресте профессора, уточняет — «старого члена КПСС...» Правда, он не обращает внимания на то, что его допрашивали представители той же самой партии. Или такая формулировка: лучшие «представители партии и советского народа». То есть автор привычно отделяет «элиту» нашего общества от «народа», причем себя, естественно, причисляет к первой категории. В ряде случаев Яков Львович выглядит в своих мемуарах достаточно типичным представителем советского общества сталинской эпохи. С удивительной непосредственностью он признается: «...лишь спустя некоторое время я узнал, что евреи в СССР не имели права открыто гордиться выдающимися представителями своего народа...» Иначе говоря, пережив в зрелом возрасте всю эпоху сталинизма, он только за рубежом ее заметил, какой чудовищной дискриминации подвергался и сам, и родственники, и многочисленные друзья. Какое-то странное прозрение для взрослого человека. Спору нет, советский человек приучен прозревать в соответствии с очередными лозунгами, разоблачениями, постановлениями. Не пора ли отрешиться от этой привычки?

Н. М. И все-таки хотелось бы разобраться в вопросе об антисемитах, который, судя по книге, очень беспокоит автора. Вы согласны, что такая проблема есть? Или она снимается декларациями и призывами к интернационализму?

Р. Б. Думаю, проблема есть. Но сейчас хотелось бы подумать вот о чем. Может ли своеобразная национал-интернациональная позиция Рапопорта принести при ее практическом воплощении пользу советским евреям? Не обостряет ли она и без того порядком расшатанные межнациональные отношения в нашей стране? Если и далее будет происходить все более резкое размежевание граждан по национальному признаку — даже не по религиозному, духовно более возвышенному — то какая нация в нашей стране тогда окажется на положении гегемона? Если отказаться от единого государственного «общежития», то придется рано или поздно признать необходимость не только республиканского хозрасчета, но и расселения людей по национально-географическим регионам. Тогда получат логическое завершение и воплощение лозунги типа «Эстония — для эстонцев», «Литва — для литовцев», «Татария — для татар», а, скажем, Еврейская АО — для евреев. К этому будем стремиться?

И еще. У меня создалось впечатление, что Рапопорт представителей любой нации разделяет прежде всего по признакам даже не классовым, а говоря условно, кастовым. Вот пример. Рассказывая об аресте по лживому доносу «некоего доктора Арутюнова», работавшего в том же 2-м Московском медицинском институте, что и автор, последний оговаривается: «Эпизод этот вскоре был забыт как не представлявший чего-либо необычного для того времени, да и ранг исчезнувшего не способствовал долгому сохранению памяти о нем и интере-

са к нему». Оставляет неприятное впечатление такое отношение к судьбе человека, оценка его значимости по «рангу» и положению (а то и по национальности, коль уж этот признак так важен для автора). И не очень убедительной кажется ссылка на «обычность» подобных арестов. Привычка к произволу (пока он не коснется тебя или твоих близких) дурна. Вспоминая этот эпизод через четверть века, можно было бы подыскать приличествующие для данной ситуации мысли и чувства. Тем более, что в других случаях автор дает волю эмоциям и яростно клеймит... нет, не столько систему репрессий, сколько распространение ее на отдельных конкретных граждан или группы населения. Словно в нашей стране существовало меньшинство страдальцев среди большинства невежд и насильников. Нет ли тут проявления некой своеобразной номенклатурной этики? Я понимаю, что автор имеет право на самохарактеристики. Но надо ли при этом два или три раза говорить о своем «донкихотстве» (к тому же, весьма неубедительно), о своих заслугах и авторитете. Представляется сомнительной ссылка на то, что «в обывательском жаргоне» длительность пребывания в тюрьме «считается мерилом его воздействия на заключенного», а важно учитывать «реагирующие системы организма». Последнее выражение несколько расплывчато, но из контекста нетрудно понять, что речь идет, по-обывательски говоря, о чуткости нервной системы. Да, безусловно, некоторым людям невыносима тюрьма, и они порой сходят с ума или кончают жизнь самоубийством. Но зачем этот деликатный вопрос затронут автором? Вроде бы для того, чтобы подчеркнуть свои особенные страдания за три месяца тюрьмы, в сравнении с теми людьми, кому были уготовлены годы каторги, истязаний, голода, разрыва с родными и близкими при спасительной (по-видимому, врожденной) тупости ума и грубости «реагирующих систем».

Н. М. Хотелось бы уточнить содержание этого тезиса. Искренне считая себя интернационалистом, Рапопорт достаточно последовательно проводит разделение советского народа на евреев и неевреев. Но делается это, по-видимому, с целью ярче показать факты проявления антисемитизма в нашей стране эпохи Сталина; доказать, в частности, то, что «евреи в СССР не имели права открыто гордиться выдающимися представителями своего народа».

Р. Б. Однако вне желания автора возникает обратный эффект. Ведь по ходу доказательств своих обвинений автор убедительно свидетельствует, что евреи в СССР достигли признания и высоких постов или званий во всех областях привилегированной деятельности, в медицине и здравоохранении, науке и искусстве, системах управления и пропаганды. Правда, при всем при этом «евреям, как особой этнической группе, отказано в том праве, которым с гордостью пользуется каждый народ на земле, в праве иметь своих героев и гордиться ими». Но ведь буквально тут же демонстрируется, что в праве иметь своих героев евреям в СССР никто не отказывал (так прямо и сказано о многочисленных героях-евреях «в рангах от солдата до полководца»). Ну, а «с гордостью... гордиться ими»... Что бы это значило? Непременно подчеркивать национальность героя или видного деятеля? Но тогда по справедливости следовало бы сделать то же и для «выдающихся» преступников, прохвостов. Возможно, в таком подразделении есть рациональное зерно, да только и шелухи видится немало. Конечно, право личности открыто гордиться русской культурой — вещь важная, но вряд ли принципиальная. Деловые люди испокон веков предпочитали гордиться собою тайно, отдавая предпочтение реальным благам и должностям, объединяясь — опять же скрытно — по групповым, а реже по племенным интересам. Подобных примеров наше общество знает немало. Так почему же Рапопорт, оправданно возмущаясь проявлениями антисемитизма, не испытывает душевной боли за русский или какие-то другие (или даже все) народы нашей страны, страдавшие от деспотизма «руководящего ядра», куда входил и Л. М. Каганович? Почему он не анализирует причины явной диспропорции в пользу представителей еврейской нации в ряде областей культуры и управления, идеологии и пропаганды по сравнению с русскими? Или это, по Рапопорту, объясняется изначальной «биологической» дикостью, невежеством, темнотой русского народа? И почему в советское время, в особенности после возобладания в обществе поколений «ровесников» Октября», воспитанных в духе нашей официальной идеологии, всеми отмечается резкий упадок культуры, образования, науки?

Н. М. Иногда приходится слышать такое объяснение: в борьбе за жизненные блага побеждают наиболее приспособленные, и те или иные диспропорции объективны.

Р. Б. Если подразумеваются приспособленцы, готовые ради личных благ служить власть имущим, то принадлежностью к такой категории вряд ли следует гордиться. А если приспособленные — это наиболее талантливые в интеллектуальной сфере, умственно развитые и отмеченные прочими достоинствами, то выделение по такому признаку представителей какого-либо народа граничит с расизмом и нацизмом. Культурный человек должен исходить из признания равенства интеллектуальных способностей людей разной национальности и признания за ними одинаковой свободы проявления творчества, интеллектуальной деятельности.

Н. М. В книге неоднократно подчеркивается, что «дело врачей», а, следовательно, и антисемитизм, были вершиной репрессий, «кульминацией», логичным завершением алогичной сталинской системы».

Р. Б. Вы с этим согласны? Меня, признаться, несколько удивило такое утверждение. Ведь Рапопорту довелось пережить времена чудовищных репрессий гражданской войны, истребления «эксплуататорских классов», голода и разорения крестьянства в периоды военного коммунизма и коллективизации, последующие полосы государственного террора, из которых сейчас почему-то особо выделяется 1937 год. А «дело врачей 1953 года» охватило очень узкий круг специалистов, преимущественно приближенных к правящей «элите».

Н. М. Почему же автор так оценивает это дело, его финал?

Р. Б. По-видимому, потому, что в данном случае он оказался в качестве пострадавшего, проведя в тюрьме три месяца под следствием. Кстати, занятный факт: раз в 10 дней заключенному продавали «набор продуктов: пачку печенья, пакет сливочного масла, копченую колбасу, иногда — репчатый лук, а также кусок туалетного мыла и папиросы».

Н. М. Судя по нашей дискуссии, поводом для которой стала книга Якова Львовича, по тем искренним свидетельствам и соображениям, которые в ней приведены, она не только интересна, но и поучительна, даже актуальна.

Р. Б. Безусловно. Смотрите, какой круг вопросов мы охватили, а обсуждение можно было бы продолжить. Например, мне показались любопытными замечания о заинтересованности некоторых лиц из сталинского окружения в его смерти. Ведь есть даже версия, что великий диктатор был умерщвлен...

Н. М. Я только уточню. Рапопорт сообщает, что у него в тюрьме пытались выяснить возможность летального исхода некоего больного, состояние которого соответствовало предсмертному состоянию Сталина. В книге сказано: «Сложилось впечатление, что соратники и эпигоны Сталина хотели выяснить прогноз его болезни, не может ли он выздороветь, не слишком ли хорошие врачи его лечат и, не дай бог, вылечат» (с. 142). Но пожелание смерти — еще не убийство. Однако как не вспомнить, что Берия, судя по всему, сделал все возможное для отстранения врачей от престарелого вождя. Одно уже это резко увеличило риск несчастного случая или смертельного исхода при болезни.

Р. Б. Страшная государственная система, уготовившая хронический дефицит материальных ценностей для большинства граждан, а духовных ценностей, дефицит совести, добра, милосердия — для всех...

Н. М. Следовательно, та эпоха не осталась в прошлом? Рапопорт определенно утверждает, что произошли коренные изменения к лучшему: «Прошли годы. Восстановление норм общественной и политической жизни сопровождалось и восстановлением (хотя и медленно) норм подлинной науки...» (с. 270). По его мнению, «где-то в темных глубинах общества таятся силы», желающие вернуться к прежним беззакониям. Но они обречены. «Гарантией этому те исторические перемены, которые внесены во всю структуру советского общества идеями перестройки и новым мышлением» (с. 214).

Р. Б. Да, в «деле врачей» справедливость восторжествовала, диктатор умер... Однако, кто из нас не знает, что после сталинизма был волюнтаризм, затем застой. Разве тогда все было благополучно? Выходит, остаются какие-то основные причины наших неполадок, дефектов общественной системы, которые к ущемлению национальных чувств не сводятся. Но эта тема явно выходит за пределы проблем, связанных с книгой Я. Л. Рапопорта.

Фото В. МАШКОВА



МОРОЗОВ Вячеслав Валентинович родился в 1954 году на Алтае. Закончил среднюю школу в с. Сидоровка. Служил в воздушно-десантных войсках. Работал дворником, скалолазом-монтажником, помощником машиниста железнодорожного крана, редактором издательства, заведующим литературной частью в театре, корреспондентом в газете. Заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького — семинар Шуртакова С. И. Участник 4-го Всероссийского семинара молодых очеркистов («Пицунда-2») и 8-го Всероссийского семинара молодых критиков (Дубулты, 1988). Публиковался в Москве, Душанбе, Барнауле.

Появление в русской литературе нового поэтического имени — Сергея Клычкова — было замечено такими крупными мастерами слова, как А. Блок, Н. Клюев, Н. Гумилев, С. Городецкий, В. Брюсов, М. Волошин. В последнее время о Клычкове вновь заговорили, хотя широкой известности его имя пока не завоевало. Ярлык «рупор кулацкой идеологии», навешенный рапповской критикой в конце 20-х годов, повлек за собой казнь поэта, затем — период длительного замалчивания его имени. К настоящему времени оценка его творчества пересмотрена, изданы два сборника стихотворений, составленные Н. В. Банниковым (В гостях у журавлей. — М.: Современник, 1985; Стихотворения. — М.: Художественная литература, 1985), и три романа под одной обложкой (Чертухинский балакирь. — М.: Советский писатель, 1988). В 1956 году С. А. Клычков был реабилитирован посмертно.

«Не парфюмерией, не модным будуаром, а расцветающим полем дохнула на нас поэзия Сергея Клычкова», — напишет критик В. Львов-Рогачевский. Анна Ахматова скажет, что Клычков был «своеобразный поэт. И ослепительной красоты человек». Первый сборник Клычкова «Песни» (1911 г.) Николай Клюев назовет «хрустальными песнями». Стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...» Есенин публикует с посвящением С. Клычкову. Третью часть «Стихов о русской поэзии» О. Мандельштам*, дружный с семьей поэта, также посвятит ему. Пимен Карпов, вся поэзия которого — незаживающая рана и боль за русскую землю, в середине 20-х пишет Клычкову «Сонет-акростих»**:

Совиный крик напомнил мне беду.
Ее я заколдую и, как знамя,
Развернутое в песенное пламя,
Горящим факелом к тебе приду.

Едва взметнется цвет в твоем саду
Юнейшего из юных анемона —
Костить меня ты выйдешь, а закона
Любви не вспомнишь: я приму страду.

«Ы-ы» совиное уже в ночи встречает
Чертей и ведьм; на ветках их качает,
Как будто бы морочит дураков!

Оттуда вещий голос отвечает:
Весной освободится от оков
Узывный песенник — Сергей Клычков.

Посвящают ему свои стихотворения П. Орешин и С. Городецкий. «Клычков необычайно талантлив», — отзывается о нем виднейший критик 20-х годов, редактор журнала «Красная новь» А. К. Воронский. Из переписки Клюева и Блока

* В 30-х годах Клычковы и Мандельштамы жили по соседству, в одном доме: ул. Фурманова, д. 3/5. Любопытно совпадение заглавий стихотворений последнего периода их жизни — «Волчий цикл» — В. М.

** Разыскан в ЦГАЛИ Сергеем Куняевым — В. М.

ВЯЧЕСЛАВ МОРОЗОВ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

известно, что Клюев, раз и навсегда принявший поэзию Клычкова близко к сердцу, исподволь интересовался у адресата его мнением о стихах последнего. Здесь мне хотелось коротко остановиться на единственном известном письме А. Блока к С. Клычкову и выделить те слова, которые обошли толкованием литературоведы и критики. Чаще приводится фраза: «Поется Вам легко, но я не вижу в песнях насущного». Между тем, несколькими строчками раньше, Блок пишет: «...Мне кажется (по стихам Вашим), что мы люди очень несходные, так что надо привыкать друг к другу» (разрядка моя — *В. М.*). Привыкать!.. Ни тени заносчивости или высокомерия, хотя пишет это признанный российский поэт поэту начинающему. Нет и намека на попытку унизить или отвергнуть.

Критика 20-х годов, определявшая «революционность писателя по внешним признакам, по тому, сколько раз он поклялся классом» (Л. Сейфуллина), стихи Н. Клюева и С. Клычкова относила к «стилизации русского фольклора», позже — к «стилизации фольклора на кулацкий манер». Резкость в суждениях об «очень несходных» с рапповцами писателях сегодня хорошо известна на примерах их отношения к творчеству М. Булгакова, А. Ахматовой, А. Платонова, О. Мандельштама, П. Карпова, П. Орешина, Е. Замятина, П. Васильева и многих других.

С высоты тридцатилетней давности Б. Пастернак в письме к Варламу Шаламову так оценил значение «напостовской дубинки», коей рапповские теоретики выбивали дурь из инакомыслящих: «Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами».

Что же этому предшествовало? «За годы революции, когда был разрушен старый быт, а новый быт в вихре событий не мог еще народиться, художественное творчество в нашей стране было также вихревым и взрывчатым, как время революции. Пришло царство хаоса. Невероятный раскол и сногсшибательные объединения. Образовалось бесчисленное количество групп и течений», — вспоминал С. Есенин («О советских писателях»). Одной из групп была группа так называемых «новокрестьянских поэтов», куда входил Есенин, куда входил и Клычков. А. К. Воронский, говоря о Есенине, Клюеве, Клычкове, Пришвине, Орешине, Чапыгине, Вольнове, — назвал их людьми «одного художественного направления», добавив при этом: «По-своему, по-особому, каждый на свой лад и образец они отразили новые сдвиги в нашем крестьянстве и в нашей литературной общественности. Их подняла волна растущего крестьянского самосознания, самодеятельности, самостоятельности, требовательности и желания утвердить свои права и законы, и, наконец, волна культурного подъема в крестьянстве».

Разделенные Троцким на «пролетарских писателей» и «попутчиков» («Попутчики не революционеры, а юродствующие в революции», — писал Троцкий), первая часть писателей как бы получила индульгенции на право обладать конечной истиной; группа «новокрестьянских» была зачислена во вторую категорию. Отношение к ним со стороны деятелей Пролеткульта, а затем РАППа радикально отличалось от позиции А. Воронского, который открыто покровительствовал Есенину, Клычкову, Радимову, Дружинину и т. д.

Говорить о Сергее Клычкове, не сказав о своеобразии его поэтического (не говоря уже о прозе!) языка, о совершенно индивидуальной манере письма, — невозможно. Думается, неспроста художник Б. Ефимов в дружеском шарже «Пленарное заседание российской литературы» («Прожектор», 1923, № 10), сгруппировав писателей «по интересам», нарисовал Клычкова отдельно от всех. В «Автобиографии» С. Клычков пишет, что «языком обязан лесной бабке Авдотье, речистой матке Фекле Алексеевне и нередко мудрому в своих косноязычных построениях отцу моему (...), а больше всего нашему полю за околицей и Чертухинскому лесу...» Корнелий Зелинский, рассказывая о первой встрече с Клычковым, вспоминает, как Воронский отрекомендовал последнего: «Если вы хотите услышать, как говорит Русь шестнадцатого века, послушайте его». Разумеется, Сергей Клычков не писал стихи языком Руси шестнадцатого века, но фольклорные персонажи, образы Руси языческой, «небылицы про лешего и другую милую русскую нечисть» (С. Городецкий) присутствуют в его стихах. Полуязыческое его миросозерцание доказывает хотя бы полная безлюдность ранних стихотворений, в которых чаще всего лирический герой существует один на один с матерью-природой, глубоко опоэтизированной. «...Мы вступаем в сказочный мир старых деревенских поверий, легенд, заговоров, песен», — пишет Н. В. Банников о ранней поэзии Клычкова в предисловии к его сборнику.

Один из старейших литераторов страны Николай Михайлович Любимов, знавший поэта лично, вспоминает: «Клычков был наделен незаурядными стихотворными способностями и неповторимым даром поэта в прозе.

Как-то я сказал ему с юношески-дерзкой восторженностью:

— Сергей Антоныч! Поэт вы хороший, но все-таки Есенин и Клюев писали лучше вас, а как прозаику нет вам равного во всей мировой литературе.

— Вот это вы совершенно верно сказали, — с чувством полного удовлетворения, серьезно и убежденно проговорил Клычков.

Я, мягко выражаясь, очень неудачно выразил свою мысль, но Клычков понял, что я хотел сказать. Конечно, я не ставил Клычкова выше Пушкина. Моя мысль, от которой я не отказываюсь и сейчас, сводилась к тому, что проза Клычкова — это в русской литературе явление в своем роде единственное. И вот с этим Клычков согласился, согласился тем радостнее, что подобного рода похвалу, которую он раньше слышал от Есенина, от выдающихся профессиональных критиков А. К. Воронского, А. З. Лежнева*), теперь произнес совсем еще юный читатель, желторотый птенец».

В 1824 году, за сто лет до выхода первого романа С. Клычкова, П. А. Вяземский сетовал, что «мы не имеем русского покроя в литературе». Следуя гоголевским традициям, но оставаясь при том самим собой, Клычков своей прозой явил ярчайший образец именно «русского покроя», который не мог стать незамеченным и не мог быть не наказан: к середине 20-х годов традиции национального нигилизма, заложенные Пролеткультом, уже набрали силу, а к концу десятилетия понятия «национальный» и «националистический» практически слились воедино и приемы обвинения в национализме и великодержавном шовинизме достигли предела в своей иезуитской отточенности. Например, Петр Орешин на первом пленуме Оргкомитета оправдывался так: «Каким образом я очутился в положении кулака, до сих пор не понимаю!

Мне говорят — виноват стиль! Но стиль ведь такое дело, что один может говорить одним языком, другой — другим, третий — третьим. (...) Если я попробовал побаловаться на былинный лад, то это вовсе не означает, что я перешел на другую классовую позицию». Критик Осип Бескин — самая зловещая фигура в жизни Клычкова — писал: «Русский стиль» в своем 100-процентном применении — не только прием, но и активное выражение соответствующего содержания. А Клычков в этом отношении действительно стопроцентен, и стиль его вызывает не только восхищение, но и оскомину квасного патриотизма и национализма довоенного образца».

Клычков, редко ввязывавшийся в «тоскливые словесные драки», в 1923 году все-таки опубликовал в журнале «Красная новь» статью с многозначительным названием «Лысая гора». Он отстаивал в ней традиции классической поэзии, выступая против «тарабарщины», превратившей русский Парнас в Лысую гору. А своим оппонентам, типа Осипа Бескина, Клычков ответил: «Как может критик-марксист, поучающий еще других критиков-марксистов марксизму, не указывая точно материала, который он имеет в виду в определении понятия русского стиля, совсем не являющегося приемом, а прежде всего, перво-наперво, огромной культурой огромной страны, — как может столь размашисто, так таровато скидывать эту культуру с приходного листа революции?! (...)

А село Палех, Бескин, неужели вы вычеркнули с советской территории?..»

Поистине, прав Гоголь: «Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен».

Сергей Антонович Клычков родился 1 июля 1889 года в деревне Дубровки Тверской губернии, неподалеку от села Талдома. Алексей Сечинский, младший брат поэта, так вспо-

---

* Абрам Захарович Лежнев (Горелик), 1883—1938 гг.

минал о нем: Сергей «безумно любил Потапихинские, Чертухинские и Глебцовские леса... Все его хождения по лесам, болотам, рекам доставляли ему какую-то необычайную радость. (...) Сережа наряду со своей литературной профессией занимался и пчелами, что характерно — пчелы его не кусали: *ползали по рукам, лицу, забирались под рубаху.* [...] Любимое занятие Сережи было — это время сенокоса... Своей поэзией в большинстве случаев Сергей занимался ночами, а утром, чуть покажется солнце, во время сенокоса, обязательно, несмотря на усталость, пойдет со мной и отцом на покос. В летнее время все мы очень уставали (вставали в 3 часа, ложились спать в 10—11 часов вечера), в том числе и Сергей, но он, несмотря на усталость за день, и если вечером у избушки Кульчихи Катерины завидит старушек на бревне, то обязательно подсядет к ним и слушает их разговоры о разных сказочных существах: русалках, домовых, колдунах, ведьмах в лесах Чертухина, Потапихи, Маленьком и Большом Мошке, реках Дубне и Куйменке».

«Прежде всего он был поэт и писатель, весь живший в мире восприятий, дум, образов, замыслов, слов, напевов, — писал о Клычкове друг его молодости Петр Андреевич Журов. — Поэтическое творчество было его природой, его душевной средой. (...) Казалось, он нес в себе родник стихийного народного поэтического мирочувствования и миропонимания. *В мире и в окружающих он ощущал и видел часто то, чего не замечают обыкновенные люди*».

Родившись в трудовой семье — отец был кустарем-башмачником, мать — заготовщицей, — будущий поэт рано познакомился как с сапожной «липкой», так и с нелегкими крестьянскими заботами. Бывало, семья жила впроголодь, а бывало — сидели и без куска. Одиннадцати лет, закончив земскую школу в Талдоме, Сергей поступает в реальное училище И. И. Фидлера в Москве — по милости хозяина, без платы за обучение. В неполные шестнадцать лет с оружием в руках стоит на баррикадах Красной Пресни, после чего в родной деревне получает кличку «забастовщик». Первая любовь — сильная и страстная — чуть не доводит юношу до самоубийства (в «Автобиографии»: «От несчастной любви вздумал я было наложить на себя руки».). Модест Ильич Чайковский (родной брат композитора) помогает Клычкову выйти из помраченного состояния и увозит его с собой в путешествие по Италии.

Позже К. Зелинский с легким недоумением (или огорчением) напишет: «Но от *этой страны великих преданий*, от ее неба, красок ничего не пришло в поэзию Клычкова».

В феврале 1908 года поэт встречается на Капри с М. Горьким и здесь же знакомится с А. В. Луначарским. Через семнадцать лет Клычков пошлет на суд Горького первый свой роман «Сахарный немец» с надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу Пешкову в знак давнишней, каприйской любви и почтительного уважения к Максиму Горькому. С. Клычков». А еще через восемь лет на записке литературоведа Н. А. Славятинского, где значилось, что известные ему попытки некоторых писателей — в том числе Н. Клюева и С. Клычкова — «опереться на фольклор» носили «реакционный характер», Горький поставит: «Очень верно!», подчеркнув закавыченные слова...

Осенью этого же года Клычков поступает на филологический факультет Московского университета, который вскоре оставляет — и по юношеской беспечности, и за невозможностью внести плату за обучение.

Литературный дебют его относится к 1907 году. До войны выходят две поэтические книжки Клычкова — «Песни» и «Потаенный сад», стихи публикуются в разных журналах и в антологии «Избранные стихи русских поэтов» (1914 г.).

Летом 1914 года, во вторую мобилизацию, Клычков призывается в армию и служит в 727 Зубовском полку, в Гельсингфорсе, где знакомится с А. И. Куприным. Осенью 1915 года попадает в Петроград, где публично выступает со своими стихами на вечере крестьянских поэтов в Тенишевском училище — вместе с Н. Клюевым, С. Городецким, С. Есениным. Впоследствии с Городецким их пути разойдутся; Есенина поэт проводит в его последнюю поездку в Ленинград; ссыльный Клюев до последних месяцев будет получать от семьи Клычковых посылки и денежные переводы...

Революцию поэт принимает безоговорочно: снимает с себя мундир младшего офицера и переходит на сторону революционных солдат. Выступает на митингах. Отравленный немецкими газами в мировую войну, в гражданскую получает контузию. Следует подчеркнуть, что ни один из крестьянских поэтов в написанных позже автобиографиях или же просто в «удобных» случаях не акцентировал внимания на своих заслугах перед народом, перед революцией. Клычков, например, *о них даже н е у п о м и н а л.*

Осенью 1918 года, работая в канцелярии московского Пролеткульта, Клычков наиболее близко сходится с Есениным. Н. Г. Полетаев, знавший обоих, так живописно представил их совместный быт: «Познакомившись с Есениным, узнал, что он живет в ванной комнате купцов Морозовых, причем один из них спит на кровати, а другой — в каком-то шкафу на чем-то, для спанья совершенно непригодном. Чем они жили, довольно трудно было сказать, — тогда и все-то неизвестно на какие средства жили, но были веселы и стихи писали, как никогда». Именно в этот период Есенин пишет программную статью «Ключи Марии», в которой называет Клычкова «истинно прекрасным народным поэтом».

В правлении московского Пролеткульта Есенин, Клычков, Орешин и Коненков пишут «Заявление инициативной группы...», в котором предлагают учредить при Пролеткульте крестьянскую секцию — заявление будет отклонено.

Об отношении к крестьянским писателям скажет девятый пункт резолюции ЦК партии «О политике партии в области художественной литературы», от 18 июня 1925 года: «Крестьянские писатели должны встречать дружественный прием и пользоваться нашей безусловной поддержкой. Задача состоит в том, чтобы переводить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеологии (далее текст идет курсивом — В. М.), *отнюдь, однако, не вытравливая из их творчества крестьянских литературно-художественных образов, которые и являются необходимой предпосылкой для влияния на крестьянство»*. Удержимся от комментариев — резолюция была написана в духе времени, — отметим лишь ее несомненный вклад в разрядку «литературной напряженности». В частности, стихи С. Клычкова после выхода в свет резолюции публикует (мыслимое ли дело?!) авербаховская «Молодая гвардия».

Леопольд Леонидович Авербах, генеральный секретарь РАППа, упоенный «классовой борьбой» в литературе, рано вкусивший сладость «вождизма», оправдал все ожидания Троцкого, благословившего своего ученика в начале литературной карьеры. Журнал «На литературном посту», который возглавлял Авербах, с начала своего возникновения (1926 г.) на базе и идеологии журнала «На посту» продолжил и приумножил «ратные» подвиги «напостовцев» в борьбе за искоренение демократии в области литературы. Предтечей образования Союза писателей СССР можно считать попытку создания Федерации советских писателей, идея которой возникла вскоре после выхода резолюции ЦК РКП(б). Ее горячо поддерживал А. К. Воронский, бывший главным препятствием для Авербаха на пути к единовластию в советской литературе.

В 1927 году Воронского исключат из партии и отстранят от редакторской работы. Вместе с ним уйдет из «Красной нови» и С. А. Клычков. Сегодня можно лишь онеметь от восторга, читая некоторые рапповские лозунги (например: «Догнать и перегнать классиков буржуазной литературы!» или: «Ликвидируем отставание литературы от темпов третьего года пятилетки!»), но по отношению к ним выявлялось «классовое лицо» писателя, а иные лозунги, как, например, «Союзник или враг!», сами служили меркой. В феврале 1928 года Ф. Гладков писал М. Горькому: «...Наши шустрые пострелы и казенные писаря из «На лит. посту» невыносимо пустозвонят с репетиловской развязанностью о вещах, в которых ничего не смыслят. Все эти Волины, Зонины, Авербахи, Ермиловы, Фатовы и К°, не имеющие никакого отношения к литературе, изо всех сил лезут в «вожди» и «идеологи» и с апломбом невежд и бесстыдников пророчествуют об «органически гармоническом человеке современности», о «живом человеке в художественной литературе» и т. п.».

Если исходить не из достижений советской литературы того времени, которым есть счет не б л а г о д а р я, а — в о п р е к и деятельности главарей РАППа («рапповской инквизиции во главе с Леопольдом», — скажет критик И. Макарьев, сам бывший рапповец), а из идеологической доминанты, которую РАПП и ее «вожди» проповедовали, то период в советской литературе с 1923 по 1932 год с уверенностью можно назвать «троцкистским». А. Фадеев в статье «Лите-



Фотопортрет Сергея Клычкова работы
Моисея Напельбаума.

ратура и жизнь» (1933 г.), умалчивая о жертвах литературных столкновений, этот период охарактеризовал как «детский период развития литературы». Может быть, убаюканные этим безоблачным термином, не имеющим, однако, ничего общего со счастливым отрочеством, маститые авторы вузовских учебников по сей день с легкостью обобщают: «Между группами шло творческое соревнование» или же: «Так в живой практике социалистического строительства преодолевалось деление на пролетарских, крестьянских писателей и «попутчиков», шел естественный процесс формирования единой социалистической культуры»... «Живая практика» литературной борьбы впоследствии обернулась для десятков российских писателей насильственной гибелью. В списке погубленных — и фамилия Сергея Антоновича Клычкова.

Говоря о прозе Сергея Клычкова, критик Вячеслав Полонский писал в 1928 году: «Когда зайдет речь о крестьянской литературе, историк назовет не имя Деева-Хомяковского и даже не П. Замойского, а Сергея Клычкова — самого крупного и замечательного русского художника, выдвинутого русской деревней». Но ни одного романа Клычкова не упомянет В. В. Будник в книге «Русская советская проза двадцатых годов» (Л.: Наука, 1975), сказав лишь, что писатели «типа Клычкова» безоглядно поэтизировали деревенскую патриархальность (стр. 249). Вообще не упоминает С. Клычкова другой исследователь — Е. Б. Скороспелова в своем труде «Русская советская проза 20—30-х годов: судьбы романа» (изд. Московского университета, 1985). Это тем более загадочно, что в «Малой Советской энциклопедии» (М., 1929, т. 3) на стр. 912 значится: «Важнейшие произведения (С. Клычкова. — В. М.): сб. стихов — «Дубравна», «Домашние песни», «Гость чудесный»; романы — «Сахарный немец», «Чертухинский балакирь», «Последний Лель», «Князь мира».

«Сахарный немец» вышел пятитысячным тиражом в 1925 году. А. М. Горький, которому Клычков послал книгу, писал автору: «Прочитал «Сахарного немца» с великим интересом. Большая затея, и начали Вы ее удачно. Первые главы — волнуют...»

На выход романа «Чертухинский балакирь» в письме к М. Пришвину Горький восклицает: «Вот — неожиданная книга! Это — 1926 г. в коммунистическом и материалистическом государстве! А того неожиданнее — предисловие Лелевича.

Да — «Крепок татарин — не изломится!
А и жиловат, собака, — не изорвется!»

Это я цитирую Илью Муромца в качестве комплимента упрямому россиянину». Пришвин, не читавший романа, отвечал: «Знаю наперед, что немного талантливо, но вихрасто, неврастенчиво. Тему эту я знал, она внутри меня, она не использована в русс[кой] литературе, и появление такой книги есть новое доказательство, что гений наш человеческий не может быть уничтожен, а если он бывает подавлен, то выпрет свое, не считаясь с эпохой». (Н. М. Любимов пропел целый гимн роману, закончив так: «Крестьянская Русь «Чертухинского балакиря» — это Русь сказочников и прибауточников, Русь мечтателей и правдоискателей, отдающих делу время, но не забывающих и отвести час для потехи, Русь — ума палата, Русь — на все руки мастерица, Русь — нижущая слова, что жемчуг, Русь — хохотунья, игрунья, певунья, плясунья, статная, ладная, ненаглядная красавица Русь».)

У Клычкова к тому времени готовится новый роман и новая книга стихов. В апреле 1927 года он подает в Госиздат заявку на собрание сочинений в пяти томах, куда предполагает включить трилогию «Сорочье царство» (другое название трилогии — «Темный корень»): «Чертухинский балакирь», «Князь мира», «Последнее время»; «Щит сердца» — книгу стихов и роман в 14 печатных листов «Проданный грех». Заявка будет отклонена. В 1927 году отношение к «крестьянским писателям» резко изменится: по аналогии с внутриполитическими событиями («начало активизации кулачества») бдительные критики РАППа немедленно различат «откровенно реакционные тенденции в деревенской литературе». Не будем забывать, что с начала 1927 года развернулась и пресловутая борьба с «есенинщиной», отразившаяся на живых друзьях мертвого поэта. В восьмом номере журнала «На литературном посту» появляется большая статья критика И. Машбиц-Верова, посвященная творчеству С. Клычкова и разбору его личности с «классовой» позиции. Заметим попутно, что даже по прошествии длительного времени этот критик не изменил своего отношения к творчеству Клычкова, продолжая называть его «антиреволюционным» (см. «Литературную газету» от 1 сентября 1964 г.).

В 1928—1929 годах журнал «На литературном посту» неоднократно обращается к «крестьянской» поэзии и прозе. Появляются статьи М. Исаковского, М. Беккера, В. Друзина, М. Бедова, И. Машбиц-Верова. В крупных городах проходят дискуссии. Для организации дискуссий на места выезжают рапповцы. В середине мая 1928 года проходит пленум Центрального совета Всероссийского общества крестьянских писателей. Новая платформа, принятая на пленуме, обозначила круг «своих»: «...Крестьянскими нужно считать таких писателей, которые на основе пролетарской идеологии, но при помощи свойственных им крестьянских образов своих художественных произведений организуют чувство и сознание трудовых слоев крестьянства и всех трудящихся в сторону строительства социализма и в конечном счете — в сторону бесклассового коммунистического общества». Естественно, категоричность и узость такой трактовки позволяла выбросить за борт советской литературы многих честных писателей, начиная с С. Есенина.

Сообщая об итогах Всероссийского съезда крестьянских писателей и поэтов, журнал «На подъеме» (1929, № 7) уведомил читателей, что «старые реакционные писатели типа Клычкова и Клюева к крестьянским писателям Советского Союза не имеют никакого отношения». Вячеслав Полонский, выступивший на ноябрьском (1929 г.) пленуме ВОКП, попытался расширить и демократизировать определение «крестьянский писатель».

Охарактеризовав это выступление как «правооппортунистический подход к крестьянской литературе», Осип Бескин отвечал, что в условиях классового общества и обостренной классовой борьбы не может быть единой крестьянской литературы, ее надлежит делить на «бедняцкую, середняцкую и литературу сельской буржуазии». При этом Бескин пометил: «К кулацкой литературе должны быть отнесены в полной мере Клюев, Клычков, в значительной степени Есенин, Орешин, Шишков и др.» Бескин выводит шесть специфических, «характерных черт», присущих кулацкой литературе:

1. «Националистическая окраска... Великодержавный шовинизм облечен в форму лирических ламентаций».
2. Ненависть к городу.
3. Ненависть к железу, машине.
4. Отрицание науки.
5. Изображение «пейзажей церковными религиозными приемами», защита природы от ее преобразователя — человека.
6. Живописание патриархального уклада, выпячивание бесклассового деревенского общества.

Все эти «шесть смертных грехов» были отнесены Бескиным к творчеству Сергея Клычкова.

Последняя книга стихотворений С. Клычкова «В гостях у журавлей» вышла в Москве в 1930 году, когда автор — стараниями О. Бескина — уже носил на шее бирку «бард кулацкой деревни». Неудивительно посему, что в сборнике эпиграмм Сергея Швецова, проиллюстрированном Кукрыниксами («Напостовский свисток», Госиздат, 1932), Клычкову еще раз дали понять, что отношение к нему в РАППе не изменилось. Поэт был изображен в виде злобного, отвратительного гуся, в мятом крестьянском колпаке и традиционно-карикатурной «кулацкой одежке», с крестиком на шее. Эпиграмма гласила:

Не рви волос,
Не бейся лбом о стену
И не гнуси: «О РУСЬ, СВЯТАЯ РУСЬ!»
Мы «журавлям» твоим узнали цену,
КУЛАЦКИЙ ГУСЬ!

В этом же году Николай Клюев пишет стихотворение «Клеветникам искусства» (название не без умысла перекликается с пушкинским — «Клеветникам России»), где яростно обличает «нетопырей» и «гнусавых ворон», пьющих кровь из русского Пегаса, загнанного в каменоломню:

И от тверских дубленых пахот,
С Антютиком лесным под мышкой,*
Клычков размыкал ли излишки

* Леший Антютик — персонаж клычковских романов.

Своих стихов — еловых почек,
И выплакал ли зори-очи
До мертвых костяных прорех
На грай вороний, черный смех?!

Годом раньше, отвечая на анкету журнала «На литературном посту», Клычков признавался, что за последние два года «почти ничего не написал: критика для меня имеет сокрушительное значение». Он верил, что «самым торжественным, самым прекрасным праздником при социализме будет праздник... древонасаждения! Праздник Любви и Труда. Любовь к зверю, птице и... человеку!» Заклинал своих недоброжелателей: «...камушки на берегу моря потому так и круглы, потому так и блещут, что их всегда и немолчно окатывает заботливая морская волна, — человеческое справедливое внимание столь же необходимо писателю, как, положим, и всякому человеку!» В одном из стихотворений, которые теперь отнюдь не напоминали его прежних песен, он позволил себе мрачное пророчество:

Брови черной тучи хмуря,
Ветер бьет, как плеть...
Где же тут в такую бурю
Уцелеть!
Только чудо, только случай
В этот рев и гуд
Над пучиною зыбучей
Сберегут!

Горько усмехнется в другом стихотворении:

За стол без соли сядешь поневоле...
И пусть слова участья дороги,
Но видно, для того у нас мозоли,
Чтобы по ним ходили сапоги!..

Эти стихи — из последнего сборника.

1932 год известен постановлением партии от 23 апреля «О перестройке литературно-художественных организаций», которым ликвидировались РАПП и прочие литературные группировки. Предстояла огромная работа по созданию Союза писателей СССР.

Через три дня после публикации постановления (его называли среди писателей «манифестом 1861 года», «пасхой», «концом рабства» и просто — «Христос воскрес!») Клычков выступил на заседании секции Всероссийского союза писателей: «Я должен извиниться перед собранием, ибо весьма возможно, что задаю вопросы, не идущие к делу и мало ему помогающие, извинить меня нетрудно, ибо на свежий воздух вот этого исторического документа, как я его понимаю, и, по-моему, как должно его понимать, я вылез из чудовищного карантина литературного отщепенца и ощущаю легкое, вполне понятное головокружение. Мне первым долгом хочется в упор спросить т. Гольцева, какие это «лишние элементы» подлежат, по его мнению, изъятию из обращения при организации будущего Союза? Ведь понятие «лишности» можно растянуть, как угодно и куда угодно, все зависит от вкусов и умения толкователя, «лишность» можно довести до границ «лишенчества», тогда мне эта старая, знакомая хорошо история и в сущности, если это так, то для меня лично и для немногих других вместе со мною ничего по существу не меняется: карантин остается!» Второго мая на заседании фракции бюро правления РАППа А. Фадеев так обозначит это выступление: «Возьмите высказывания Клычкова. Он о себе открыто заявил, как о классовом враге». Фадеев пообещал, что «в новом Союзе он (Клычков — В. М.) состоять не будет». 14 мая опять на заседании Всероссийского союза писателей противники окажутся лицом к лицу. «Фадеев большой мастер употреблять страшные слова, — скажет Клычков. — Одно из таких страшных слов, очень любимых, но и очень затасканных — реакция. Мне очень скучно сейчас оправдываться, что я не реакционер, ибо я это делал уже несколько раз и, к сожалению, всегда безрезультатно. На первом заседании, например, я только что позволил себе раскрыть рот и сразу же попал в отчете «Литературной газеты» в реакционеры, хотя я вопреки смыслу всего первого заседания едва ли не в единственном числе по-настоящему приветствовал постановление ЦК. Поэтому сейчас, когда мы снова говорим об этом постановлении, я еще раз говорю, что радуюсь ему именно в силу того обстоятельства, что верю, что в будущем такие страшные слова, которые у нас очень любят и которые сейчас с легким сердцем произносятся людьми, не знающими всей тягости, всего ужаса этих «легких» слов — произноситься не будут». Клычков выразил обеспокоенность, что «новый Союз создается под широким балдахином старого РАППа».

И все же его выступление на первом пленуме Оргкомитета* дышит оптимизмом: «...Мне хочется закончить тем, что радостно то обстоятельство, что я лично, например, имею возможность прямо и открыто заявить, что мне больше с Авербахом драться незачем, и незачем ему доказывать, что я не верблюд. Наступил такой момент в литературе, когда я гарантирован, что всякая подвеска, которая будет у меня болтаться в виде жетона на шее, будет подвешена только в том случае, если к тому даст причины появление какого-нибудь моего художественного произведения». «У меня нет желания лягаться, да я и не умею по-настоящему лягать своих бывших поработителей», — сказал он. Ни слова не сказал поэт и в свою защиту, полагая, видимо, что теперь справедливость восторжествует и без его участия. Однако полагал он так напрасно.

Следом на трибуну взошел рапповский критик И. Макарьев и... после него редкий выступающий ему не «подпел» и не «подсвистел». Особенно издевательским и далеким от литературной полемики было выступление В. Вишневского. В. Я. Кирпотин в заключительном слове отметил: «...Выступление Клычкова находилось на самом правом фланге в наших шестидневных прениях». Его поддержал И. М. Гронский: «...Неудовлетворительным надо признать только одно выступление — выступление тов[арища] Клычкова». Позже, в 50-е годы, Гронский скажет: «Врагом Советской власти он не был. /.../ Впоследствии он был арестован. Как, за что, почему он был арестован — я этого не знаю. Но я добивался реабилитации С. А. Клычкова, и в настоящее время он реабилитирован (увы, не стараниями И. М. Гронского — В. М.)».

По существу, пленум узаконил позорное и оскорбительное прозвище — «кулацкий поэт». Теперь Клычков сделался хрестоматийным «реакционером». В учебнике «Литература XX века» (1934 г., авторы — Л. М. Поляк и Е. Б. Тагер) творчество Клычкова и Клюева разбирается в главе «Кулацкие писатели»; «Клюев и Клычков явились рупором кулацкой идеологии», — вторит автор другого учебника Б. В. Михайловский.

На Клычкова, как на привычное пугало, ссылаются и «братья»-писатели. В пятом (1933 г.) номере «Нового мира» была напечатана первая часть «Соляного бунта», и редакция журнала устроила творческий вечер автора поэмы. Многочисленные упреки Павлу Васильеву в том, что он-де скатился в стан «кулацких поэтов», сыграли свою провокационную роль, и поэт счел нужным публично их опровергнуть, сделав это с юношеской запальчивостью: «Здесь говорили, что Клычков особенно на меня влиял, что я был у Клычкова на поводу, что я овечка. Достаточно сказать, что окраска моего творчества очень отличается от клычковской, а тем более от клюевской». И хоть сказанного в самом деле было достаточно, молодой поэт не удержался от такого заявления: «Я считаю, что у Клычкова только два пути: или к Клюеву, или в революцию... Если ты не выскажешься, если ты не скажешь, что с революцией, если не докажешь, что с революцией, тогда не называй меня своей надеждой, и мы с тобой не пойдем, нам с тобой не по дороге, тогда иди к Клюеву, к его лампадке». Не помогло... Михаил Голодный в «Стихах в честь Павла Васильева» (1934 г.) скажет:

Но бесят тебя
Большевистские речи.
Горька моя песня,
Не под силу дела.
Сосут тебе ноги
Пески Семиречья.
В руках у Клычкова
Твои удила.

Известный пародист А. Архангельский в пародии на того же П. Васильева пишет:

---

* Первый пленум Оргкомитета Союза советских писателей состоялся 29 октября — 3 ноября 1932 г.

Били меня в лоб, в затылок били,
Чисто вспух котелок от щелчков.
Заживет. Меня не погубили
Ни Есенин, ни Клюев, ни Клычков.

Заканчивается пародия так:

Штоба мне в кулаках не оказаться,
Шибко подумашь — прощай, родня!
Штоба не погибнуть в войске казацком —
Надоть слязать с клычковского коня!

Не отстал от собрата по перу и Семен Кирсанов. Его «Легенда о музейной ценности» рассказывает, как случайно в Москве откопали боярина, оживили его (естественно, водкой), после чего боярин закуролесил, а потом заскучал.

Но вскоре великодержавный душок
Забрался в душевную мглу его:
Он создал со скуки литкружок
В жанре Клычкова и Клюева.

Добавим, что последний раз «Легенда» была напечатана в 1976 году (СС, М., Худож. лит., т. 3; редактор тома — Н. Крюков) — знакомьтесь, юноши!.. Впрочем, редактор тома мог заглянуть в последнее издание «Литературной энциклопедии» (М., 1966, т. 3), где коротенькая статья о С. Клычкове смахивает на конспект статьи О. Бескина, написанной тридцать пять лет назад: «В творчестве Клычкова явственно (!! — В. М.) выражены неприятие советской действительности, «бесовской» машинной цивилизации, тяготение к старине, патриархальному мужицкому укладу, мотивы обреченности и пессимизма». И. Эвентов в статье «Поэзия революционного дела» (1956) творчество Клюева и Клычкова заключает в такие рамки: «Возврат к старому носил различный характер у разных поэтов. Иногда он приобретал характер реакционной проповеди, злобных кликушеских причитаний людей, отвергающих революционные перемены». Чего-то ради решил «поссорить» старых друзей К. Зелинский и сделал это не очень удачно. Во вступительной статье к сборнику С. Есенина, изданному в малой серии «Библиотеки поэта» (1953), он пишет: «...Если бы Есенин отразил только одну сторону революционного процесса, а именно — умирание старого мира, то он скатился бы на позиции чисто кулацкого поэта (вот это да! А где же связь?! — В. М.), как это произошло с Клюевым, Клычковым и другими бардами старого мира».

Не меняли своего отношения к «кулацким поэтам» Н. Асеев, В. Саянов и многие другие. А шельмующие, бездоказательные фразы кочевали из словаря в словарь, из справочника в справочник, из учебника в учебник. Творчество С. Клычкова не переосмысливалось (книги не переиздавались), а единожды нацепленный ярлык продолжал исправно «работать»... «Заблуждения похожи на фальшивые монеты, — гласит французская пословица, — изготавливают их мошенники, а пользоваться приходится и честным людям».

Сергей Антонович Клычков дожил до 1937 года — дата его смерти была искажена (вероятно, из деликатности к родным, оставшимся в живых) в «Свидетельстве...», выданном после реабилитации честного имени писателя, и была заменена вместо истинной на более «благополучную»: 21 января 1940 года*. Из черновика письма к Ворошилову, написанного женой С. Клычкова, Варварой Николаевной Горбачевой, становится понятно многое.

«Климентий Ефремович!

Когда всего несколько месяцев тому назад я имела смелость и счастье послать Вам отдельное издание своего романа «Чернышевский» со словами преданн[ости], я не предполагала, что мне придется обратиться к Вам со скорбной и неожиданной просьбо[й]. В ночь на 1 августа писатель Сергей Клычков арестован. Чувствуя к Вам безграничное уважение, он всегда в трудные минуты писал к Вам, хоть послать решился ли [*зачеркнуто*] всего одно письмо, на которое Вы отозвались и помогли ему. Он отец моего ребенка. Простите, если и я пишу к Вам. Прежде всего поверьте мне, если [*зачеркнуто*] я бы не обратилась к Вам, если бы знала за ним вин [*зачеркнуто*] вину. Моим пером водит уверенность, что он не изменил народу, что его купить нельзя, что он органически неспособен к заговорам и страстно любит родину. В творчестве и высказываниях он искренен и правдив, что часто мешало ему в жизни.

Я не знаю, в чем его обвиняют, я могу судит[ь] только по у [*зачеркнуто*] тому, чем интересовались об э[том] при обыске. Взята его поэтическая обработка киргизского эпоса «Манас». Если руко [*зачеркнуто*] она будет [*зачеркнуто*] послужит уликой — то произойдет страшное, трагическое недоразумение. Еще 7 января он писал Иосифу Виссарионовичу об обвинениях, которые свалились на него, как снег на голову, придавив сознан [*зачеркнуто*] невероятной могильной тяжестью.

Оказывается по этим обвинениям, что поэтическая обработка киргизского эпоса — аллегория и пам[ф]лет на современно[сть]. Что Бейджин — Москва, наро [*зачеркнуто*] что стран[а] Кож-Сала — Ко [*зачеркнуто*] — страна Кож и Сала, Монголия. Что солоны (китайцы) народы СССР, потому что им «солоно» (?!) живется. После письма к Сталину поэма вышла в свет и с Клычковым был заключен договор на продолжение (зачем, если работа признана вредной?). Клычков логично понял это как реабилитацию и радостно, гордясь [*зачеркнуто*] мудрым довери [*зачеркнуто*] отдался работе, уже не думая, что в сказочных ситуациях фольклорного материала вновь будут искать аналогии и несуществующ[ие] преступления. Есть же подстрочник, из него взята сюжетная и психологическая канва. Подстрочник он взял в Гослитиздате, причем главу не выбирал, как сказано в предисловии к книге, а получил».

Пишет она и в судебные инстанции: «Я прошу [*сверху зачеркнутое* — «умоляю»] Вас, сообщите мне следующие сведения о судьбе Клычкова Сергея:

1) по какой статье и по каким пунктам статьи осужден он;
2) подавал ли просьбу о пересмотре дела;
3) и не назначено ли дело на пересмотр. Все сведения о нем, какие Вы найдете возможным, [прошу] сообщить.

Кроме этого, очень прошу Вас допустить защитника к ознакомлению [*повторяется*] к ознакомлению с делом Клычкова Сергея и пересмотреть [*зачеркнуто*] дело и назначить это дело НА ПЕРЕСМОТР.

Не зная совершенно его дело [*зачеркнуто*], в чем его обвиняют, я не могу мотивировать свою просьбу о пересмотре [*зачеркнуто*]».

Единственное, что сообщили жене: муж ее, Сергей Антонович Клычков, осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР на 10 лет без права переписки и что суд состоялся 8 октября 1937 года (сообщили так внятно, что Варвара Николаевна не поняла: 8 октября или 8 ноября).

«Мы не сразу узнали, что это означает расстрел, — вспоминала Н. Я. Мандельштам. — ...После смерти Клычкова люди в Москве стали мельче и менее выразительны».

Огромное количество бумаг было взято при обыске и неизвестно: целы ли они? (В. Н. Горбачева вспоминала, что обыск шел с полуночи до девяти утра: «Все это нужно разобрать и прочитать, хотя явно было, ко всему этому бумажному вороху [*приписано сверху*] давно не прикасалась рука». Непонятно, как уцелели два стихотворения, отпечатанные на обрывках стандартного листа бумаги.

Сколько хочешь плачь и сетуй,
Ни звезды нет, ни огня!
Не дождешься до рассвета,
Не увидишь больше дня!
В этом мраке, в этой теми
Страшно выглянуть за дверь:
Там ворочается время,
Как в глухой берлоге зверь!

И еще одно:

Золотое чудо всюду
Сыплет сверху изумруды
На плывущие в века
Сны и облака!

Но земля сошлась, знать, клином
К этим вырубкам, долинам,
Над которыми поник
Журавлиный крик!

Снизу лист о б р е з а н...

* В других источниках даже значилось: (1889—1941) — война все спишет...

ОТ КУЛИКОВА ДО КОСОВА

Двум сражениям суждено было сыграть решающую роль в судьбах славянского мира — Куликовской и Косовской битвам. Два полководца на века стали символами борьбы за независимость своих народов — русский князь Дмитрий и сербский князь Лазарь.

Князь Дмитрий вывел свои войска на Куликово поле 8 сентября 1380 года. Князь Лазарь принял сражение на Косовом поле 15 июня 1389 года. Но еще одна дата сближает для нас имена этих двух князей. Дата смерти Дмитрия Донского, умершего шестьсот лет назад за две недели до Косовской битвы, и дата гибели князя Лазаря, павшего шестьсот лет назад на Косовом поле. Одному было всего лишь тридцать девять лет, другому — под шестьдесят. Но из этих тридцати девяти лет жизни князь Дмитрий двадцать семь — с двенадцати лет — «землю Русскую держал», а шестнадцатилетним начал строительство белокаменного московского Кремля как предвестника грядущей победы на Куликовом поле. За плечами князя Лазаря тоже были десятилетия борьбы за объединение сербских земель, а в 1386 году он выиграл битву у Плочника, которая предшествовала Косовской битве точно так же, как победа на реке Воже в 1378 году — Куликовской битве.

«...Никому зла не причинял, ничего силой не отнимал, не досаждал, не укорял, не бесчинствовал, но всех любил и в чести держал, и веселился с вами, с вами же и горе переносил», — скажет князь Дмитрий в свой смертный час княгине, сыновьям и боярам. А «месяца мая в двенадцатый день» (3 июня по новому стилю) Москва прощалась с героем Куликова поля. В последний путь его провожали боевые соратники Дмитрий Боброк, Тимофей Вельяминов, Иван Квашня, Федор Кобылин. Провожали, как свидетельствует современник, «черноризцы и весь народ от мала до велика, и не было никого, кто бы не плакал, и было не слышно пения в громком плаче».

Среди провожавших находился (это тоже отмечено современником-летописцем) «Сергий-игумен, преподобный старец». Сергий Радонежский, крестивший детей Дмитрия Донского, благословивший его перед Куликовской битвой.

Кто знает, быть может, среди черноризцев, провожавших «собирателя Русской земли», был и Андрей Рублев, уже постигший к тому времени в одной из московских иконописных дружин все тайны «святого ремесла». Именно на эти 1380—1390-е годы приходится пора тридцатилетия Андрея Рублева, считавшаяся на Руси порой зрелости. Как, вероятно, был вместе с Сергием еще один инок Троицкого монастыря Епифаний.

Все они — великий полководец Древней Руси Дмитрий Донской и великий подвижник духа Сергий Радонежский, великий иконописец Андрей Рублев и великий писатель Епифаний Премудрый — современники и сподвижники. Не смогла бы разоренная, растерзанная иноземным иноязычным игом Русь выйти на Куликово поле, если бы эта победа не вызрела в душах людей, если бы не произошло духовное возрождение Руси, если бы рядом с Дмитрием Донским не было Сергия Радонежского, Андрея Рублева и Епифания Премудрого.

Каждый из них — это разные грани все той же единой средневековой Руси, ее внутренней и внешней мощи. Андрей Рублев выразил те же самые идеалы, ради которых двести тысяч ратников вышли «за други своя» на Куликово поле. Вышли с твердой уверенностью, что им смерть в бою не писана, что в бою за Родину обретают бессмертие.

Ранним утром 8 сентября 1380 года на Куликово поле вышли не просто ратники, но и ратаи, оратаи — землепашцы. А ратаев еще никогда и никому не удавалось победить.

Князь Лазарь стал главным героем сербского народного эпоса, юнацких песен, посвященных Косовской битве. Князь Дмитрий — главным героем «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище», двух выдающихся памятников литературы Древней Руси. Дмитрию Донскому и Куликову полю посвящены стихи К. Рылеева, Н. Языкова, И. Бунина, А. Блока, Н. Клюева, А. Ахматовой, наших современников В. Кочеткова, С. Куняева, Ю. Кузнецова. Несколько изданий выдержали исторические романы о Дмитрии Донском С. Бородина и В. Возовикова. В 1980 году, к 600-летию Куликовской битвы, в серии «ЖЗЛ» вышло биографическое повествование «Дмитрий Донской» Юрия Лощица, переизданное в этом году в «Роман-газете» (№ 9—10). Одним из ярких явлений современного изобразительного искусства стал триптих «Куликово поле» Юрия Ракши, который мы и представляем читателям «Слова».

Виктор КАЛУГИН

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА



ИРИНА РАКША

ЮРИНО ВОСХОЖДЕНИЕ

Я только что вернулась из командировки, с Алтая, где была в моем родном «Урожайном» и рядом, в заснеженных шукшинских Сростках, по ту сторону Катуни. Вернулась вечером, замерзшая, усталая. Только опустила чемодан на пол, как раздался междугородный звонок. Телефонистка сообщила: на линии Симферополь, Бахчисарай, Крымская обсерватория. Я даже не успела удивиться (ведь знакомых там не было), как услышала мягкий женский голос: «Хотим обрадовать вас, Ирина Евгеньевна. И поздравить. Наши ученые открыли еще одну малую планету. Она расположена на орбите между Марсом и Юпитером и уже утверждена и нанесена на карту звездного неба в США, в Международном планетарном центре...» Женщина на мгновенье умолкает и с удовольствием, радостно и отчетливо произносит: «Отныне эта неотъемлемая частица Солнечной системы будет именоваться «Юрий Ракша», в честь выдающихся успехов Юрия Михайловича в изобразительном искусстве, — она опять замолчала; я чувствовала, что она улыбается. — Так что теперь над землей среди планет «Шукшин», «Высоцкий», «Ахматова» светит еще одна звезда... — и уже тише добавила: — Мы здесь его очень и очень любим. Каждая публикация о нем, каждый альбом его для нас радость... Мы были на всех его шести выставках, которые вы проводили в Москве... Спасибо вам...» Я не в силах говорить, не в силах сказать, что при жизни он не имел ни одной своей выставки; что не имел мастерской и лучшие его вещи 60—70-х годов писались в подвале на улице Короленко, 8, где после каждого дождя по полу плавала обувь и за окном мы видели только проходящие ноги; что всю жизнь жили на стипендию и тяжкие побочные заработки, с трудом сводя концы с концами, воспитывая дочь, которая родилась в наши студенческие годы; что, когда Юра умер, у «Мосфильма», где он снял пятнадцать фильмов, и у Союза художников, членом которого он был много лет, не нашлось денег на оградку его могилы на Ваганькове; что министерство не успело при жизни оформить ему звание заслуженного художника, а Комитет по премиям не успел дать премию РСФСР, на которую его выставили 5 организаций... Все, чего мы достигли в этой жизни, мы достигли не благодаря, а вопреки... И были при этом романтичны, светлы и все-таки веровали, как все наше поколение шестидесятников!.. И вот — звезда «Юрий Ракша!..» Непостижимо!..

Я молчу, слыша этот волшебно-добрый голос из Крымской обсерватории, который звучит для меня, как с другой планеты. Я собираюсь с духом и произношу непослушными губами:

— Скажите, а кто первооткрыватель планеты?..

— Простите, не представилась. Это я. Старший научный сотрудник Людмила Ивановна Черных... А почетное свидетельство Академии наук СССР мы вручим вам при встрече... В газеты и на радио уже сообщили, так что, думаем, информация на днях появится, ждите... И до свидания... Раздались гудки.

Я сидела, ошеломленная, не имея сил радоваться, в тишине пустой квартиры. И со стен, с многочисленных Юриных полотен, смотрели на меня с соучастием его герои «Добрый зверь и добрый человек», «Ты и я», «В. Шукшин», «Моя Ирина», «Продолжение». Вокруг стояла звенящая ночная тишина. Огромный дом спал. Не раздеваясь, я вышла на балкон. И над заснеженной январской Москвой 1989 года на меня опрокинулось темное звездное небо. Вернее, это я словно ступила, словно вошла в него. Мириады звезд и созвездий клубились, мерцали в морозной выси, и я с пронзительной болью и счастьем подумала, что где-то там, среди них, в иных мирах существует и, может быть, смотрит на нас «Юрий Ракша»...

А еще — он хорошо пел и любил петь для меня старинный

русский романс «Гори, гори, моя звезда...» Многие друзья вспоминают об этом... Помню, как десять лет назад (неужели уже десять?!) летом он стоял здесь на ветру, держась рукой вот за эти перила, и говорил мне с мягкой великодушной улыбкой, глядя на эти вот городские дали. Только было вечернее заходящее солнце и зелень: «Любимый дом, любимая женщина, любимое дело... Наверно, это и есть счастье...» Пальцы его красивых спокойных рук были в свежей краске. Отложив кисть, он только что отошел от мольберта. Он был худ, одухотворен и потому прекрасен... Он работал ежедневно до изнурения, до обмороков. От укола до укола. Он торопился, он должен был успеть написать, как сам говорил, главную картину своей жизни — триптих «Поле Куликово», к которой шел всю жизнь. А тяжкая болезнь все наступала. И мы боролись с ней, как могли. Из последних сил, сбиваясь с ног, проводя страшные тяжкие курсы лечений, поддерживая друг друга и словом, и делом. И, конечно, скрывая друг от друга понимание так быстро надвигающейся неизбежности, неотвратимости предстоящего. Это была ложь двух любящих и понимающих друг друга с полувзгляда, проживших вместе двадцатилетие людей. Ложь во спасение. 1980 год был последним годом его сорокадвухлетней жизни.

...В ноябре 1979 года (уже после гибели В. Чухнова и Ларисы Шепитько, с которыми он снимал как художник-постановщик «Восхождение»), когда он, немного оправившись от похорон друзей, вдохновенно приступил к работе над эскизами к «Полю», в мастерской раздался телефонный звонок. Я взяла трубку. Участковый врач нашей поликлиники, находящейся рядом с домом, узнав меня, сказала: «Вы можете зайти ко мне сейчас на минутку? Только не говорите об этом мужу». Я несколько удивилась: «Хорошо. Зайду». В кухне на плите варился ужин. Юра в глубине зала (я видела его в открытую дверь) на белых ватманских полотнах, прикрепленных на стену, разрабатывал эскизы. Уже вырисовывался образ князя Дмитрия и Бренка, что стоял с ним рядом и должен был, надев княжий наряд, умереть за Донского. Уже были привезены с «Мосфильма» кое-какие костюмы, материалы. Уже были разложены на полу и прибиты по стенам портреты нашего Васи, Василия Шукшина, которые Юра рисовал еще в семидесятые с натуры. (На триптихе Василий Макарович уже после своей смерти, под кистью Юры, сыграет еще одну, наверно, свою последнюю роль — образ Бренка на Поле Куликовом). Уже прорисовались и были готовы взглянуть на мир мудрые глаза Преподобного Сергия Радонежского, монаха Пересвета, голубоглазого мальчика — Андрея Рублева... А тут раздался этот звонок... Как с того света... Прихватив сумку, якобы для свежего хлеба, я быстро спустилась во двор и вскоре вошла в кабинет заведующей отделением. За окном был серый осенний вечер, и на столе врача горела лампа. В кругу света в руках женщины в белом голубел маленький листок. «Это анализ крови, — услышала я знакомый, почти бесстрастный голос. — К сожалению, я абсолютно уверена, что это белокровие, то есть лейкоз». Я села. Машинально спросила: «А что это значит?» Услышала медицински-беспощадное: «Это значит, что у него рак крови. И при этой форме жить ему осталось месяц, от силы — полтора... Вы жена, и я не могу не сказать вам этого. Так что мужайтесь»... Выйдя от врача на крыльцо, я подняла взгляд на наш дом, где на последнем этаже мой единственно родной человек писал задуманное им полотно. Перевела взгляд на небо и облетевшие ветви деревьев, на прохожих. И увидела все это черно-белым. Вернее, серым. В сером, как гризаль, тоне, цвет, краски исчезли. Наверное, это объяснимо. При сильном шоке что-то в глазах меняется, и цвет исчезает. Вспомнила Шолохова, смерть Аксиньи, черное солнце... Но это потом, а тогда прошлая моя прочная и, как вдруг показалось, безоблачная, прекрасная жизнь откололась и стала отплывать от меня, как льдина, а я оказалась в черной полынье настоящего. С каждым биением сердца, помимо всех лихорадочных, билась одна, как колокол, всеподавляющая мысль: «Остался месяц, месяц, от силы — полтора...» И дальше — «А ведь он только начал... А нужен год, как минимум год... Что делать? Что делать? Куда кидаться?.. К кому?..»

А пока надо было найти в себе силы и вернуться домой, где варился ужин, и, глядя ему в глаза, как прежде, начинать действовать сию же минуту. Надо начать готовить его к мысли, что он болен какой-то нейтральной болезнью крови и нужно срочно лечиться... Но делать все это осторожно, без испуга, словно бы между прочим... Надо срочно искать врачей... клинику... лекарства... Врач сказала: «У нас таких лекарств нет, дефицит». Надо искать все, все возможные пути к невозможной победе... Надо вырвать у смерти этот год, во что бы то ни стало...

И этот год ему был дарован судьбой и врачами. Он боролся со смертью стоически, мужественно, стараясь скрыть муки. Работал до изнеможения. Он торопился, он держался за кисть, как за спасательный круг. Однажды сказал: «У КАЖДОГО ИЗ НАС ДОЛЖНО БЫТЬ В ЖИЗНИ СВОЕ ПОЛЕ КУЛИКОВО».

В этот последний год жизни (о котором мне следует, хотя очень больно, еще писать и писать) успел очень многое. Он дописал ряд ранее начатых картин. Написал ряд статей. (Юра был одарен и литературно.) Стал делать многочисленные дневниковые записи, правда, нехотя, из-за природной скромности, даже застенчивости. Мы много и обо всем говорили, я стала просить его записывать, как бы для меня, ту или иную высказанную им мысль, подсовывала блокноты. Он писал своим красивым ясным почерком. В середине лета, когда он понял, что болезнь роковая, понял неизбежность конца, — стал писать сам... Стал даже наговаривать кое-что на магнитофонную пленку, собрал в отдельный ящик всю нашу сохранившуюся за многие годы переписку, в которой рассыпано так много его потаенных размышлений о бытие и искусстве.

В августе триптих день ото дня шел к завершению... А жизнь художника таяла, как шагреневая кожа. Мы — врачи и родные — держали его, как могли. В эти месяцы хотелось его как-то радовать. Мной срочно были собраны документы для представления его к званию заслуженного художника РСФСР. Другие его сверстники давно получили. А он не рвался. Но министерство тянуло с подписью бумаг. Он был представлен за фильм «Восхождение», вместе с оператором и режиссером, на Государственную премию, но тоже не получил ее. Премию дали только двум, погибшим ранее... Вот этот факт почему-то особенно ранил его. Ведь он столько сил отдал «Восхождению», буквально прорисовал этот фильм покадрово, еще до съемок, сделал экспликацию, эскизы, работал на площадке весь тот год... Но все же, все же... Его держало «Поле»... «Как жаль, что всесильный дух наш, — говорил он, — зависим от бренного тела. Но даже в пределах тела мы можем успеть очень многое». И он успел.

В день его смерти, 1 сентября 1980 года, его последняя, главная картина «Поле Куликово», с еще не просохшими свежими красками поплыла над городом, как гордый символ победы Жизни. На веревках полотно бережно передавали из рук в руки все ниже с этажа на этаж (ведь она не могла уместиться в лифте), а мокрую снять с подрамников мы ее не могли). А внизу картину уже ждали, чтобы отвезти на выставку «600 лет победы на Куликовом Поле» в Третьяковскую галерею. Но Юра этого уже не узнал, его не стало. И он не мог знать, не мог и предполагать, что на небе, как и у его безвременно ушедших друзей, будет своя звезда.

РАКША Ирина Евгеньевна родилась в Москве. В 1954 году вместе с отцом, агрономом, уезжает с поездом первоцелинников на Алтай. Там же оканчивает десятилетку. Работает почтальоном, учетчиком, разнорабочей на Красноярской железной дороге. В сибирских газетах появляются ее первые стихи, рассказы, очерки. По возвращении в Москву поступает в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Печатается в журналах «Смена», «Юность», «Молодая гвардия» и др.

В 1962 году И. Ракша поступает на сценарный факультет ВГИКа. В 1965—1969 годах в издательстве «Советская Россия» выходят книги ее рассказов «Встречайте проездом», «Катилось колечко». По окончании ВГИКа работает сценаристом на Центральном телевидении. По ее сценариям на киностудиях страны сняты художественные фильмы «Бабье лето», «Арбузный рейс», «Веришь, не веришь» и др. С 1970 года Ирина Ракша — член Союза писателей СССР. Ряд ее повестей и рассказов переведен на языки народов СССР и зарубежных стран. Весной этого года она удостоена премии СП СССР за книги «Сибирские рассказы» и «Скатилось колечко».

ЮРИЙ РАКША

МОЕ ПОЛЕ КУЛИКОВО

Я проснулся от крика ранней птицы и не мог вспомнить, где я. Стекла машины запотели, ничего нельзя было разобрать. Протер их ладонью — снова белая пелена. Да, это туман. Видны только травы, высокие, влажные, подступившие к самому стеклу. Они так близко, что можно разглядеть жучка, ползущего по листу.

Я на Куликовом поле. Заехал сюда вчера уже в сумерках, в травы на край колхозного поля, чтобы встретить этот рассвет, это утро. Спасибо птице, — проснулся как раз вовремя. Я так спешил сюда к этому дню, так хотел встретить это утро 8 сентября, утро битвы именно здесь, на месте этой битвы — и вот оно наступило. Конечно, давно паханы-перепаханы эти места, но хоть травы-то, травы, оставшиеся в межах, может быть, тех же корней. Конечно, нет уже тех дубрав и колков, в которых таился до времени засадный полк серпуховского князя Боброка. Но остались те плавные горизонты, которые оглядывал когда-то князь Дмитрий с товарищами. Осталась та славная политая кровью и вечная земля.

Несколько раз пересекал я вчера Дон, местами узкий, как стол. И Дон, и Непрядва, реки эти были полноводнее тогда, 600 лет назад. Недаром ополчане строили мощную переправу через Дон для пеших и конных своих дружин. Да, обмелело все с тех пор, но русла, русла-то рек прежние, не изменились. А уж небо надо мною и этот утренний, быстро тающий туман совсем те же, как описаны в летописях, в Задонщине, без году 600 лет назад, в день и час предстоящей битвы.

Рисовать не хотелось. Хотелось смотреть, дышать этим воздухом, вспоминать прочитанное. Уже несколько лет я живу с этим материалом. Мне предложено написать картину на тему «Куликовская битва». Я привык искать и находить свои темы и в сегодняшнем дне, и в памяти моего детства, а последняя моя картина называлась даже «Разговор о будущем». И вдруг такое предложение. Конечно, оно польстило бы каждому художнику, но как подойти к этой теме? В сознании возникают знакомые образы Васнецова, Нестерова, Фаворского, Бубнова, да и сколько еще художников бралось за это.

Но вот и меня привела судьба сюда, на поле Куликово. По сей день находят тут железные наконечники стрел и копий, прямо в пахотном слое, хотя дорогое металлическое оружие тогда не бросали, собирали и уносили с собой после битвы. И вот, находясь здесь, да еще ранним утром, один, глядя на купол неба, на широкий размах горизонта, ты начинаешь по-новому проникаться этим событием, его памятью.

Правда, когда попадаешь собственно к мемориалу «Куликово поле» на Красный холм, где стоял когда-то шатер Мамая, ощущения твои начинают комкаться и воображение тормозится открывшейся нескладной картиной. Все разрыто, вскопано, делают подъезды, ведут какие-то коммуникации, на площади перед Храмом Сергия Радонежского сооружено кафе, выкрашенное голубой резкой краской, тут же неказистый домик смотрителей. А самый холм засадили чуждыми природе геометрическими посадками деревьев. Конечно, к юбилею все это обретет видимость порядка, откроется музей в храме, построенном по проекту Щусева в 1918 году. Это была его дипломная работа. Постройкой храма была отдана дань настоятелю Троицкого монастыря, затерянного в лесах под Москвой, и выдающемуся деятелю своего времени, человеку государственного ума — Сергию Радонежскому, радевшему за великую и объединенную под началом Москвы Русь, Русь, которая должна собрать свои силы и сбросить иго басурманское. Это он благословил Дмитрия на битву, предсказав ему несметные жертвы и победу великую, это он дал ему двух своих послушников Ослябю и Пересвета, которому суждено будет выйти на поединок с Челубеем.

Долгое время храм был действующим, но война сделала свое дело. Теперь храм реставрируют, хотя в пригожем убранстве его кружевных карнизов и в попытке соединить мотивы древнерусского храма и крепостных башен есть что-то неорганичное. И главное, жаль, что вся эта благодать — посадки, культурные и общепитовские точки и сам храм заслоняют поставленный еще в прошлом веке строгий и торжественный обелиск с изображением воинской доблести и победы, увенчанный золоченым куполом и крестом, символом победившей христианской веры. То-то было просторно глазу, когда стоял обелиск один на этом возвышенном месте, стоял, как перст памяти, и виден был километров на двадцать. Ну, а теперь почти от самой Тулы поставлены указатели к этому месту — не заблудишься.

Однако у меня был свой путь к Куликову полю, ведь Дмитрий шел со своими дружинами через Коломну, потом по рязанской земле, и вышел к Дону. В Рязань он не заходил, не хотел Олега, рязанского князя, тревожить — пусть сам решает, с кем ему быть, с Русью или Мамаем, а на земле рязанской не велел своим воинам трогать ни былинки, ни зернышка...

А начал я свой путь с Московского Кремля — сколько раз приходил на эти святые места... Когда случилось киевскому князю Юрию Долгорукому облюбовать место для крепости у слияния рек Москвы, Неглинки и Яузы и тем заложить здесь новый город — не знал он еще, что так будет положено начало новой большой Руси, Руси Московской. Сколько раз будет гореть город Москва, будет разорен и разграблен и будет вновь и вновь возрождаться из пепла, чтобы стать потом великим городом, славной нашей столицею. И Дмитрий, князь Московский, сделает для этого так много в своей жизни! Но как охватить это событие?.. Как подойти к нему из наших восьмидесятых годов двадцатого века? Момент самой битвы — это скорее удел кинематографа, он скрыл бы за внешним действием глаза героев, характеры, и никакой масштабностью тут не удивишь. Масштабность и значение этого события в другом — в его народном характере, в силе объединенной Руси, в становлении русской государственности.

Еще в начале прошлого века в книгах о Дмитрии его называли «первоначальником русской славы». А народ навсегда связал его имя с победой на Куликовом поле, назвав его Донским. Действительно, по значению для русской истории в один ряд с Куликовской битвой можно поставить, пожалуй, только Отечественную войну 1812 года, Великую Октябрьскую социалистическую революцию и Великую Отечественную войну 1941—1945 годов.

В судьбе же Дмитрия величие Куликовской битвы несколько заслонило другие события и победы в жизни князя. А ведь это он впервые заменил деревянные стены Московского Кремля на высокие, каменные. Это имело и стратегическое, и символическое значение для Москвы, для Руси. Если бы Дмитрий сделал в своей жизни только это, то уже остался бы в истории Родины. Но сколько еще было сделано им!

...Шли и шли к белокаменной Москве серпуховские, боровские, новгородские, белозерские князья с дружинами, дивились высоким стенам, возведенным Дмитрием, понимали и принимали силу Москвы. Открывали им угловые башни, входили ратники на Соборную площадь, располагались в ожидании выхода. Кто под обозными телегами по-крестьянски, кто у храмов на паперти, кто по сеновалам. А князья — в боярских хоромах — в ожидании Дмитрия вкушали московской снеди.

А Дмитрий уже спешил в Москву от Сергия Радонежского, давшего ему свое благословение на битву и на победу. Еще виделись мирные картины сельской нивы, заливных лугов

вдоль рек. Для Дмитрия это было и укреплением духа, и прощанием с Родиной, это был, быть может, последний поклон ей.

И мне, художнику, нельзя пройти сегодня мимо этого события, — мимо благословения на битву, это должно войти в мой замысел, стать его частью.

А Москва? Выходили ополченцы к Москве-реке в заветный час, где на воде мирно покачивались суда купцов, стояли баньки по отлогому берегу, темнели мостки, где обычно бабы полоскали белье. И в который раз провожали здесь воинов жены и сестры. Кто в слезах, а кто уже выплакал все. Тут и сама Евдокия, жена Дмитрия, с малыми детьми у подола, и опять она на сносях. Сколько еще на Руси будут провожать жены мужей и братьев своих! Сколько их еще не вернется с поля боя!

Вот так в воображении постепенно рождалась и другая часть моей картины. Теперь я знал — это будет триптих. Форма триптиха позволит мне показать события в развитии, во времени, я смогу охватить главные решающие моменты этой народной драмы. Боковые части триптиха ясны — «Благословение Дмитрия на битву» («Прощание с Родиной») и «Проводы ополчения» («Плач жен»). Для меня всегда очень важно название картины, ведь в нем заключается суть вещи. Когда у меня есть название — это значит, что я готов, что я уже до конца знаю, чего хочу.

А центр? Тут труднее остановить свой выбор на чем-то одном. Узловых моментов много. Тут и совет перед битвой, когда решили переходить Дон, чтобы там, в Задонщине, или одержать победу, или встретить страшную смерть — ведь отступать будет некуда. И тревожная ночь, последняя перед решающим днем, — люди жгли костры, никто не спал, надевали, по старинному обычаю, чистое белье на последний бой, проверяли оружие. Где-то стучали по наковальне, — правили копья. С шумом пролетали в темном небе вспугнутые утки, юркие кулики, ржали стреноженные кони.

От костра к костру ходили старцы с иконами, верша свое благословение на ратный подвиг. Битва была в день рождества Богородицы, известна даже сохранившаяся икона Богоматери (Донской), которая, по преданию, была с Дмитрием на поле. Шли в бой с верою, и эта вера помогала — это была вера в самих себя, в свой народ, в праведность своего дела.

А может быть, для центра триптиха мне выбрать момент, когда Боброк «слушает землю»? Отъехали Дмитрий и князь серпуховской Боброк, опытный полководец, первый советник Дмитрия в ратных делах, подальше в поле, спешились, остался Дмитрий с конями под кроной большого дерева, а Боброк слушал землю, и услышал он гул приближающегося многотысячного войска, услышал он плач и стоны, и стенания гибнущих — услышал он приближение рокового часа.

Мамай уже несколько дней стоял у Красного холма — ждал князя Рязанского да литовского князя Ягайло. Да что-то не спешили они, а если и подошли бы, им еще реки надо было преодолеть, — переправы были разобраны по решению Дмитрия.

И вот наутро надел Дмитрий платье простого воина, не хотел он на битву со стороны глядеть, как Мамай. Хотел вместе со всеми биться в пешем строю. Пеший строй впереди, и пусть все думают, что Дмитрий среди них, где-то рядом. За пешим строем еще два эшелона конных с флангами и засадным полком Боброка, затаившимся до времени в дубраве.

Позиция выбрана была так, что фланги были неуязвимы, их нельзя было обойти — мешали реки Непрядва и Дон, ну а строить ряды в несколько эшелонов учились у опытной в военных делах Орды.

И я выбираю момент, когда Дмитрий со своими товарищами стоят, освещенные первыми лучами солнца, и смотрят навстречу ему, туда, где стоят войска Мамая. Еще туманы стелются в низинах, еще полна росы высокая осенняя трава, а дружины уже выстроились в боевые порядки, и только потерянный жеребенок в предощущении страшного мечется между ними. Вдали за спиною воинов блестит Дон, а за Доном святая родина — Русь, которую надо отстоять. Я объединю все части триптиха одним горизонтом, и пусть пейзаж сольется в одно целое, — станет темой Родины. Я высвечу глаза и лица героев, и зритель увидит их в момент собирания духа, в решительный час предстояния перед битвой. Я так и назову центральную часть триптиха «Предстояние».

Оглядываюсь на свои предыдущие картины и нахожу, что в них, только на другом материале, я стремился к раскрытию в героях именно состояния определенного духовного предстояния. Это было и в «Разговоре о будущем», и в «Молодых зодчих», и в «Современниках». Я стремился выбрать момент, не связанный с сиюминутным действием, но хотел рассмотреть героев в момент раздумья, принятия решения, а это всегда связано с напряженным внутренним состоянием человека.

Беспримерный Александр Иванов в его «Явлении Христа народу» нашел феномен решения полотна в том, что самого явления как бы еще нет, Христос хоть и присутствует в картине, но фигура его мала, она лишь обозначена, названа, а вместо «Явления» в картине мы обнаруживаем скорее состояние того же — «Предстояния», позволяющее художнику проследить состояние каждого из героев. Чтобы рассмотреть их лица, мы оказываемся на таком расстоянии от картины, что не охватываем ее краев, и тогда мы вместе с героями тоже ощущаем это извечное ивановское «Предстояние». Предстояние, ожидание — в самих этих понятиях заложены категории времени. Вообще для художника, ограниченного в картине двухмерной плоскостью и единовременностью восприятия, характерно стремление вырваться из этих рамок и создать не только пространственный образ, но и эффект течения времени. И вот, как только художник вовлекает нас в рассматривание картины — последовательно, так сразу возникает ощущение временной протяженности, развития в картине. Так, в самом построении картины, в том числе в ее драматическом ходе, заложены возможности развития во времени.

Тем более возрастают эти возможности в форме триптиха. У меня был уже опыт работы в триптихе. Он назывался «Кино» и связан с моим последним фильмом «Восхождение», по повести Василя Быкова «Сотников». Темой моей картины стал сам творческий процесс создания фильма — застольная работа («Поиск»), — съемочная площадка («Работа») и в центре — «Премьера». Меня привлек духовный подъем творца, его вдохновение, трудный путь от замысла к его претворению. В центральной части — «Премьере» — тоже по-своему «предстояние» перед зрителем.

В триптихе есть свои законы, которые для меня теперь не просто известны, а выстраданы и прожиты — симметрии, соразмерности, цветовой переклички, линейного продолжения или разграничения и т. д. Мне хотелось бы сравнить возможности триптиха с искусством кино. Действительно, в триптихе возникает последовательность восприятия, разновременность, внутреннее развитие — как в кинематографе. Но, конечно, эта форма восходит еще к древнерусской иконописи с ее житиями и окнами. Использовали форму триптиха и художники Возрождения, и русские художники XIX века — Нестеров, Билибин и другие.

Но в каждой работе есть и свои особенности. Хочу добиться того «триединства», которое воспринималось бы целиком с «Предстоянием» во главе, и в то же время, чтобы боковые части жили своей внутренней драматургией вокруг Сергия и Евдокии. В костюмах мне важна и конкретность, и мера, — не уводить это в заманчивую сферу костюмированной этнографии. В образах героев хочу избежать их трактовки как былинных богатырей, не хочу и иконописных ликов с ничего не выражающими глазами.

Смотрю вокруг, ища своих героев, и все больше вижу — это они, живые люди, вчерашние участники битвы. В самом деле — всего несколько поколений назад это было, — и насколько много изменилось все в мире, настолько мало изменились сами люди, их существо. И все же, как, проникнув в их характеры, исполниться их духом, не растерять его, прочувствовать каждого героя?

Мне, сделавшему немало фильмов, помогает тут опыт работы в кино. Однако только в живописи художник един во всех лицах. Сначала (если сравнивать с кинематографом) он драматург, ведь надо сочинить свою картину; потом он режиссер — надо до точности решить ее мизансцену, затем художник должен почувствовать себя актером — надо проиграть, прожить каждого героя. На этот раз мне пришлось проигрывать моих героев, лежа на больничной койке. Неожиданно на 2 месяца я оказался оторванным от всего, и передо мною была только пустая стена палаты, и я мысленно рисовал, разводил, расставлял там свои персонажи. Меня навестил в больнице мой друг и тезка Юрий Михайлович Лощиц, писатель, автор книги о Дмитрии Донском, человек, живущий

русской историей, страстный ее знаток и радетель. Он начитал мне на магнитофон летописные тексты и тех событиях по-старославянски. И вот вновь и вновь я слушал эти записи, и населял стены своей палаты моими живыми героями.

Когда же я смогу приступить к работе? Все, что я знаю и умею, что я чувствую, все я должен воплотить в этой картине. И тут мало одного кинематографического опыта, здесь нужна вся моя прошлая жизнь, вся жизнь...

Быть может, именно для этого я приехал пятнадцатилетним парнем, стриженным наголо, в Москву из провинции — поступать в художественную школу. Быть может, для этого учился в институте кинематографии. ВГИК давал знания материальной культуры, архитектуры, истории мирового искусства и то «необщее выражение», которое отличает его выпускников.

«Вам надо писать», — сказал мне на защите диплома мой педагог Юрий Иванович Пименов. И вот параллельно с работой в кино я уже больше десяти лет работаю как профессиональный живописец. Мои первые картины принесли мне веру в себя, признание, и это, быть может, все для того, чтобы я пришел к последней своей работе «Поле Куликово».

«Моя мама», «Современник», «Кино» и другие мои картины раньше меня побывали во Франции, Англии, Японии, в странах народной демократии. И, может быть, для того, чтобы увидеть свое «Поле Куликово», я любовался Сикстинской Капеллой и Тадж-Махалом, Никой Самофракийской и Ботичелли в Уфицци, фресками Дионисия в Ферапонтове.

И не для того ли после ранней смерти моей мамы, пришедшей в мирные дни как страшное эхо Отечественной войны, пережил я решительный час осознания самого себя, когда я понял — что я исповедую, кому назначаю свое творчество.

Вот и эти строки, это обращение мое к будущему зрителю — это мое собирание сил. Мне нужны в этой работе единомышленники. Стоя перед картиной, я чувствую за собой зрителя, а отходя от картины, я смотрю на свою картину вместе с ним, со стороны. Случается, иногда и не во всякой картине некий момент Истины, когда ты видишь, — что поймал, удалось, выразил. Это короткое и бесконечно дорогое счастье художника. Ты идешь к нему долго, но чаще всего оно случается вдруг, а понимаешь это уже потом, и вот в эти моменты, действительно, чувствуешь своего зрителя.

Я заканчиваю в эти дни центральную часть триптиха. Когда выйдет эта статья, работа будет готова полностью. Хотел бы я сегодня оказаться в том времени. Но тогда, к сожалению, я уже расстанусь со своими героями. Они отойдут от меня и заживут своей собственной жизнью. А пока я с ними. На стене моей мастерской эскизы всех трех частей. Я люблю делать их сразу в размер, делаю в тоне на ватмане и всегда сперва от себя, как представляю. Уже потом ищу самих героев, недостающие детали костюма, неясные мне положения фигур. По старой памяти, я взял на «Мосфильме» игровые костюмы тех лет, еще давние, со времен съемок «Александра Невского», «Ильи Муромца». Буквально на глазах меняются мои друзья, знакомые и просто приведенные мною люди с улицы, когда я надеваю на них шлемы и кольчуги. И сразу отходят они в ту эпоху. И еще раз убеждаешься — люди были такие, как и сегодня, именно такие. Но такое перевоплощение случается не всегда, поэтому очень важно рисовать героя, персонажа сразу в костюме. И какая радость, когда видишь — нашел, угадал, это — в картину.

Так день за днем оживает мое полотно. Заселяется. Дышит. Искрится. Живет по своим законам, картина уже сама ведет меня. Она держит меня и не отпускает, и теперь я уже ее пленник, и так до конца, пока не увезут из мастерской. А пока работаешь — проходишь много витков качества, чтобы вывести работу на нужную орбиту, добиться задуманного. Сперва начинаешь быстро, бойко, радостно, «раскрываешь» холст, а «середина» работы бывает тяжелой, тягучей. Иногда ощущаешь боль в руках и ногах. Я люблю детали в картине, фактуру, материальность, и надо, чтобы не было случайного, надо, чтобы все было на своем месте. Основное время уходит именно на это. И очень важно в конце не растерять, а преумножить первоначальную эмоцию, свести мысли и чувства все воедино, заставить звучать во имя главного. А что же главное? Ради чего я взялся за эту работу, и чем вижу я ее смысл?

Битва на поле Куликовом, ставшая днем рождения большой Руси Московской, имеет непреходящее значение в веках. Это наше начало, наши истоки, наша гордость. И в трудные для Родины времена, в час испытаний всегда будет светить над ней гордая слава поля Куликова. «И вечный бой! Покой нам только снится...» Эти вещие строки А. Блока («На поле Куликовом») стали так созвучны моим мыслям. Уже потом, стоя у картины, я услышал по радио песню, в которой солдат второй мировой войны, русский солдат спрашивает, где же оно, поле Куликово, и автор, как бы отвечает ему, — «оно там, где ты стоишь», именно там — твое поле Куликово. Это была новая песня Тихона Хренникова, а вот слов автора я не запомнил, а прекрасные удивительные слова.

К своему зрителю, современнику и соотечественнику я бы хотел обратиться этой картиной именно с такими словами. Вот почему эта работа для меня очень современна, важна, необходима. Это «мое поле Куликово», мой передний край.

Публикация Ирины РАКШИ

РАКША Юрий Михайлович родился в 1937 году, в Уфе, в семье рабочих. В 1954 году приехал в Москву и поступил в среднюю художественную школу при Институте им. В. Сурикова, которую окончил с серебряной медалью в 1957 году. В том же году поступает на художественный факультет ВГИКа, в мастерскую Юрия Пименова.
С 1962 года начинает принимать участие в выставках как художник кино, а с 1968 года — как живописец.
В 1963—1978 годах работает на «Мосфильме» художником-постановщиком. «Время, вперед!», «Дерсу Узала» (премия «Оскар» в 1976 г. как главному художнику-постановщику), «Восхождение» — только некоторые из его фильмов. Они многократно отмечены всесоюзными и международными премиями.
В 1969 году принят в члены Союза кинематографистов, а в 1970 году — в члены Союза художников СССР.
Удостоен премии «Биеннале-72» в Париже за картину «Моя мама» («Комсомолки 30-х годов»), а за картину «Современники» — премии Ленинского комсомола (1972 г.).
Скончался 1 сентября 1980 года в Москве.

ЛИТЕРАТУРА

Ракша Ю. Эпоха глазами художника // Искусство кино. — 1980. — № 1
Ракша Ю. Диалог о главном // Москва. — 1980. — № 11
Ракша Ю. Мы строим БАМ // Сов. литература. — 1980. — № 3
Ракша Ю. О картине // Творчество. — 1981. — № 1
Ракша Ю. Из записных книжек // Смена. — 1983. — № 8
Юрий Ракша. Живопись. Графика (Альбом). М.: Сов. художник. — 1983
Юрий Ракша. Живопись. Графика. Кино (Альбом). М.: Гознак. — 1986
Эпоха глазами художника // Правда. — 1970. — 15 января
Попова Э. Картина рассказывает // Огонек. — 1970. — № 14
Ольшевский В. На стратегический простор // Сов. культура. — 1970. — 27 мая
Васильева Е. О нас с вами, о родной земле // Сов. культура. — 1971. — 30 сентября
Салахов Т. Преемственность поколений // Правда. — 1978. — 29 ноября
Романенко А. «Восхождение» // Правда. — 1979. — 6 сентября
Дмитриева Н. «Предстояние» // Лит. Россия. — 1980. — 6 июня
Иванов Н. Свершение надежд // Огонек. — 1980. — № 27
Стаднюк И. Во власти поля Куликова // Сов. культура. — 1980. — 5 августа
Репин Л. Вертикаль Юрия Ракши // Комс. правда. — 1980. — 21 ноября
Харьков А. Мир и взгляд художника // Смена. — 1981. — № 19
Ильин В. Юрий Ракша // Сов. Союз. — 1981. — № 1
Петров В. Художник и гражданин // Юность. — 1981. — № 8
Сурганов В. Гори, звезда // Дружба народов. — 1982. — № 1
Тарасова Е. Светлые образы // Работница. — 1982. — № 3
Дангулов С. Юрий Ракша. — В кн.: Художники. — М.: Сов. писатель. — 1987
Левин Е. Обязан перед собой и людьми // Иск-во кино. — 1988. — № 1
Васильев Ю. Имя на звездной карте // Сов. культура. — 1989. — 19 января

ИЗ ДНЕВНИКОВ ЮРИЯ РАКШИ

27 февраля 1980 г.

Заканчиваю эскиз «Куликова». Чувствую, что в руках у меня жар-птица. Многоплановое произведение. Народная драма. Как симфоническая картина, она должна звучать своими возможностями и нужными средствами, как аккордами — то цветовыми, то ритмическими, то тональными. Цвет — густой. Он «варится и бродит» прямо на холсте, под кистью, выражая тревогу и трагедию, победу и высокий накал духа. Он густой, как мед, сочный, как отражение в воде. Чистый на свету и призрачный в тени. Тревога и праздник — все в нем...

13 марта 1980 г.

Я встречаю мой новый день ожиданием труда. Все, что делаю и делается вокруг — фокусирую туда, в картину, где найдет желанный выход «я», моя мечта, мой особый диалог со всем вокруг и с самим собой... Привез подрамники, резал холст, натягивал. Три холста заняли всю большую стену. Привыкаю к их размеру, будто не сам пришел к нему. Радостно пахнет льном и смолой. Забил сотни гвоздей... Время летит, как одно мгновение. Завтра начну грунтовать. Пальцы гудят от молотка и гвоздей.







29 июля 1980 г.

Все в картине линейно сходится к глазам Дмитрия: по вертикалям, диагоналям, горизонталям. Его рука к Бренко (жест любви и прощания, оберегающий и укрепляющий) — решающая линия. Она — и к глазам... Все стоят шатром, и Дмитрий здесь самый высокий. Наше войско — не боевой порядок, а клин... И этот клин идет из глубины и снизу вверх, от воина с секирой — к Спасу. И еще: голова Дмитрия заключена в круг конем и знаменем. Все герои так повернуты к Дмитрию, что помогают всем перспективным сходам, ведущим к нему. Диагональ плеч ратника — к Дмитрию. Повороты всех голов тоже работают на это. Мальчик и весь его корпус — к лицу Дмитрия. Этому же помогают даже неровности почвы. Они вторят шатровой расположенности героев в пространстве картины.

16 августа 1980 г.

Этот мой триптих — не просто извлечение из прошлого. Напротив. Это — мое сегодняшнее обращение к ним, тем, которые пали за нас. О том, что мы живы, что мы есть, что мы сильны, что мы едины и миролюбивы, что мы многому научились. И они тогда не зря пали. Дух наш не оскудел, мы и сейчас можем собраться.


ОПТИНА ПУСТЫНЬ



Приметой новой духовной атмосферы, в которой живет сейчас наша страна, явилась передача Советским правительством Русской православной церкви в ноябре 1987 года (по просьбе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена) Козельской Введенской Оптиной Пустыни.

В октябре прошлого года, по инициативе Всероссийского фонда культуры и Союза архитекторов РСФСР, прошли историко-литературные вечера «Оптина Пустынь и ее культурное значение». В Центральном Доме архитекторов выступали ученые, богословы, писатели — все, кого заботит духовное возрождение Отечества.

Оптина Пустынь — это памятник высочайшей духовности нашего народа. Не случаен интерес к этой древней монашеской обители в нашей стране и за рубежом. Он обязан подвижнической деятельности оптинских старцев, среди которых наиболее известны Леонид, Макарий и Амвросий. Их мудрость, милосердие, высокая нравственность привлекали в Оптину тысячи людей. Бывали здесь и великие наши соотечественники: Гоголь, Достоевский, Лев Толстой. Не раз наезжал писатель и философ Иван Киреевский.

В 1923 году монастырь был закрыт. На его территории обосновались различные учреждения. Разрушены были 55-метровая надвратная колокольня, часть стен и башен, все надгробные часовни и памятники. Слава богу, сохранились, хотя и не в лучшем виде, три храма.

Местными энтузиастами в последнее время уже начаты были реставрационные работы. После передачи Оптиной Пустыни церкви восстановлением обители занялось Управление по реставрации Московской Патриархии. Главный реставратор древнего монастыря Игорь Маковецкий считает, что все основные работы в Оптиной будут завершены к 1993 году. Неподалеку, в Козельске, планируется построить гостиницу на 209 мест.

Сегодняшний день Оптиной Пустыни запечатлен фотокорреспондентом Евгением Шелешневым.



Прообраз старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского — оптинский старец Амвросий.









Джотто. Рождество Христово. Фрагмент фрески.

МИФЫ НАРОДОВ МИРА

ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА*

ГЛАВА II

Эта веселая и величественная в одно и то же время природа была единственною воспитательницею Иисуса. Он учился читать и писать, без сомнения, по восточному методу, заключавшемуся в том, что в руки ребенка клали книгу, которую он твердил в такт со своими товарищами до тех пор, пока не выучивал ее наизусть. Школьным учителем в небольших иудейских городах был гассан, или чтец в синагогах. Иисус почти не посещал более знатных школ книжников (последних, быть может, и не было в Назарете) и не имел ни одного из титулов, дающих в глазах простого народа права на ученость. Однако было бы большой ошибкою воображать, что Иисус был тем, кого мы называем «невеждой»! Школьное воспитание проводит у нас глубокое различие в отношении личной ценности между теми, кто получит его, и теми, кто его лишен. Этого не было на Востоке и вообще в доброе старое время. Состояние грубости, в котором остается у нас вследствие нашей изолированной и слишком индивидуалистической жизни тот, кто не был в школе, неизвестно в тех обществах, где моральная культура и особенно общий дух времени передаются путем непрерывных сношений между собою. Араб, у которого не было никакого учителя, тем не менее часто окружен большим уважением: ведь его палатка представляет как бы постоянно открытую академию, где общение благовоспитанных людей создает умственное и даже литературное движение. Деликатность манер и тонкий ум на Востоке совершенно не зависят от того, что мы называем воспитанием. Даже напротив, люди школы слывут педантами и невоспитанными. При таком социальном состоянии невежество, осуждающее у нас человека на низшее положение, является условием великих дел и большой оригинальности.

Невероятно, чтобы Иисус знал греческий язык. Последний был мало распространен в Иудее вне правящих классов и вне городов, населенных, как Цезарея, язычниками. Собственным отечественным языком Иисуса был смешанный с еврейским сирийский диалект, на котором говорили тогда в Палестине. Тем более он не имел никакого знакомства с греческой культурой. Эта культура была изгнана палестинскими книжниками, подвергавшими одному и тому же проклятию того, «кто разводит свиней и кто обучает своего сына греческой науке»! Во всяком случае, она не проникла в маленькие города, вроде Назарета. Даже в Иерусалиме греческий язык изучался весьма мало; греческие науки считались опасными и даже рабскими; их считали хорошими разве только для женщин в качестве украшения. Лишь изучение Закона слыло делом просвещенным и достойным серьезного человека. Ученый раввин, спрошенный относительно времени, в которое приличествовало преподавать детям «греческую мудрость», отвечал: «В час, который есть ни день, ни ночь, ибо написано в Законе: «Ты должен изучать его и день и ночь».

Итак, ни прямо, ни косвенно до Иисуса не доходил ни один элемент языческого учения. Он не знал ничего вне иудейства; его ум сохранил ту откровенную наивность, которую ослабляет обширная и разносторонняя образованность. Даже в лоне иудейства он остался незнаком со многими трудами, часто соответствовавшими его взглядам. С одной стороны, ханжеская жизнь ессеев и терапевтов[1], а с другой — прекрасные опыты религиозной философии, сделанные иудейской александрийской школой, остроумным истолкователем которой являлся его современник Филон, были ему неизвестны. Сходство, которое часто находят между ним и Филоном в прекрасных заповедях любви к Богу, милосердия, покоя в Боге, создающих как бы эхо между евангелием и писаниями славного александрийского мыслителя, является следствием общих тенденций, которые потребности времени внушали всем возвышенным умам.

К счастью для себя, Иисус не знал чудовищной схоластики, свившей себе гнездо в Иерусалиме и долженствовавшей вскоре создать Талмуд. Если некоторые фарисеи и занесли уже ее в Галилею, то он не посещал их, и, когда впоследствии он соприкоснулся с этой глупой казуистикой, она внушила ему лишь отвращение. Однако можно предположить, что основные принципы Гиллеля были ему известны. Гиллель за 50 лет до Иисуса произносил афоризмы, имевшие много сходства с изречениями последнего. По своей терпеливо переносимой бедности, мягкости своего характера, оппозиции, выказываемой ханжам и попам, Гиллель был истинным учителем Иисуса, если позволительно говорить об учителе, когда дело идет о такой высокой оригинальности. Чтение книг Ветхого завета произвело на него гораздо более впечатления. Канон святых книг складывался из 2-х главных частей: Закона, т. е. пятикнижия, и пророков, — тех самых, какими мы владеем и теперь. Неопределенный метод аллегорического толкования применялся ко всем этим книгам и стремился извлечь из них все, что отвечало потребностям времени. Но истинная поэзия Библии, ускользавшая от иерусалимских книжников, открылась вполне его чудному гению. Закон не представлял, по-видимому, для него особенной привлекательности; он думал, что может создать лучшее. Но религиозная поэзия псалмов находилась в удивительной гармонии с его лирической душою. Они оставались всю жизнь Иисуса его пищей и опорой. Пророки, особенно Исаия и его продолжатель времен пленения, со своими блестящими грезами о будущем, со своим

* Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.).

Продолжение. Начало в № 8

пылким красноречием и своими филиппиками, перемешанными с очаровательными картинами, были, вероятно, его учителями. Он, несомненно, читал некоторые апокрифические произведения, т. е. те сравнительно новые писания, чьи авторы для приобретения авторитета, которым пользовались только очень старые писания, скрывались под именами пророков и патриархов. Одна из этих книг — книга Даниила — особенно его поразила. *Написанная одним экзальтированным иудеем времен Антиоха Епифана и покрытая именем древнего мудреца*, она представляла из себя резюме воззрений последних времен. Ее автор, истинный творец философии истории, осмелился в первый раз видеть в движении мира и в непрерывной смене империй только ряд событий, подчиненных судьбам еврейского народа. Иисус рано проникся этими высокими надеждами. Быть может, он также читал книги Еноха, почитавшиеся тогда наравне со святыми книгами, и другие писания того же характера, поддерживавшие очень сильное движение в народной фантазии. Пришествие Мессии с его славой и его ужасами, народы, обрушивающиеся один на другого, разрушение неба и земли были пищей, близкой его воображению, а так как эти революции считались настолько близкими, что масса людей старалась даже вычислить время их, то сверхъестественный строй, куда переносят нас такие видения, сразу показался ему совершенно натуральным и простым.

Что Иисус не имел никакого знакомства с общим состоянием мира, это вытекает из каждой черты его наиболее достоверных речей. Земля все еще кажется ему разделенной на воюющие между собой царства: он, по-видимому, не знал о «римском мире» и о новом положении общества, которое освящал его век. Он не имел никакого точного представления о римском могуществе; до него дошло одно имя — «Цезарь». Иисус видел, что в Галилее или в окрестностях строят Тивериаду, Юлиаду, Диоцезарею, Цезарею — торжественные произведения Иродов, старавшихся этими великолепными сооружениями доказать свое удивление перед римской цивилизацией и преданность членам фамилии Августа, имена которой по капризу судьбы служат теперь, в страшном искажении, названиями жалких бедуинских деревушек. Он видел, вероятно, Себаст — произведение Ирода Великого — нарядный город, своими развалинами заставляющий думать, что он привезен сюда совершенно готовым, как машина, которую надо было только поставить на место. Эта кичливая архитектура, перевезенная в Иудею, сотни колонн, все одного и того же диаметра, орнаменты какой-нибудь незамысловатой «улицы Риволи» и были тем, что Иисус называл «царствами мира и всей их славой». Но эта заказная роскошь, это казенное и официальное искусство не нравились ему. То, что он любил, были галилейские деревни, беспорядочное *смешение хижин, гумен, тисков*[1], *высеченных в скале, колодцев, могил, фиговых и оливковых деревьев*. Иисус оставался всегда близок к природе. Двор царей казался ему местом, где люди имеют прекрасные платья[2]. Очаровательные невозможности, наполняющие его притчи, когда он выводит на сцену царей и властителей, доказывают, что Иисус никогда не понимал аристократическое общество иначе, как молодой крестьянин, видящий мир сквозь призму своей наивности.

Еще менее был он знаком с новой идеей, созданной греческой наукой и служащей основанием для всей философии, — идеей, смело подтвержденной новейшей наукой: именно с исключением сверхъестественных сил, которым наивная вера древних времен приписывала управление вселенной. В данном случае, Иисус ничем не отличался от своих соотечественников. Чудесное не было для него чем-то особенным, это было нормальное состояние. Понятие о сверхъестественном со всеми его невозможностями появляется только в тот день, когда рождается экспериментальная наука о природе. Человек, чуждый всякой идее естественного, думающий, что молитвою он изменяет ход облаков, останавливает болезнь и даже смерть, не находит ничего экстраординарного в чуде: ведь весь ход вещей для него есть результат свободной воли Божества. Это умственное состояние всегда было состоянием Иисуса. Но в его великой душе такая вера давала результаты, совершенно противоположные тем, к которым приходила чернь. Последнюю к вере в частные действия Бога приводили легкомыслие и обман шарлатанов. У Иисуса же она зависела от глубокой идеи о близких отношениях человека к Богу и от преувеличенной веры в могущество человека. Эти прекраснейшие заблуждения стали основанием его силы: ведь если они и должны были когда-либо уличить его в погрешности в глазах физика или химика, то в его время они давали ему такую силу, какой не обладал никто ни до, ни после него.

Его особенный характер объявился рано. Легенде нравится показывать его восстающим еще в детстве против родительского авторитета и уходящим с обычных путей для того, чтобы следовать своему призванию[3]. Во всяком случае верно, что родственные отношения немного значили в его глазах. По-видимому, Иисус не любил свое семейство[4] и временами был даже жесток к нему[5]! Иисус, как все люди, занятые исключительно *одной идеей, дошел до того, что перестал принимать во внимание узы крови. Люди такого характера признают* единственно только узы идеи. «Вот мать моя и братья мои, — говорит он, простирая руки к своим ученикам, — кто исполняет волю Отца моего, тот мой брат и моя сестра». Простые люди не понимали его; так, раз одна женщина, проходя близ него, как говорят, воскликнула: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, которые ты сосал!» — «Более блажен тот, — ответил Иисус, — кто слушает слово божие и исполняет его».

ГЛАВА III

Строй понятий, среди которых развивался Иисус

Как охладевшая земля *не позволяет более понимать явления первичного творения, ибо проникавший ее* огонь погас, так и исторические объяснения всегда бывают несколько недостаточны, когда дело идет о приложении наших осторожных приемов к переворотам творческих эпох, решивших судьбу человечества. Иудейский народ имел особое преимущество со времени вавилонского пленения до средних веков — всегда находиться *в очень напряженном состоянии. Вот почему в течение этого долгого периода хранители национального* духа пишут, по-видимому, под действием интенсивной лихорадки, которая постоянно ставит их выше и ниже здравого рассудка и редко — на его средний путь. Никогда еще человек не брался с более отчаянным и готовым на крайности мужеством за проблему своей будущности и своей судьбы, не отделяя судьбы человечества от судьбы своего маленького племени; иудейские мыслители первые позаботились об общей теории, касающейся развития нашего рода. Греция, всегда заключенная сама в себе и всецело поглощенная ссорами своих маленьких городов, владела замечательными историками, но до римской эпохи напрасно стали бы мы искать у нее общей системы философии истории, обнимающей все человечество. Напротив, иудей, благодаря какому-то пророческому чувству, заставил историю войти в религию. Быть может, он немного обязан этим духом Персии. Персия с древних времен понимала мировую историю, как ряд переворотов, из которых каждым управляет пророк. Каждый пророк царствует тысячу лет, и из этих, следующих одна за другой, эпох слагается нить

[1] Орудие, которым в Палестине выдавливают из винограда сок.
[2] Матф., XI, 8 — Перев.
[3] Лука, II, 42 псл. Перев.
[4] Матф. XIII, 57; Марк. VI, 4; Иоанн., VII, 3 псл.
[5] Матф. XII, 48; Марк, III, 33; III Лука, VIII, 21; Иоанн, II, псл. 4. — Перев.

событий, приготовляющих царство Ормузда. В конце времен, когда круг революций будет пройден, наступит, наконец, рай. Люди тогда будут жить счастливо; земля будет походить на равнину; будет только один язык, один закон, одна власть для всех людей. Но этому пришествию будут предшествовать ужасные несчастия. Дасак (персидский сатана) разорвет связывающие его оковы и упадет на землю. Два пророка придут утешать людей и приготовлять великое пришествие.

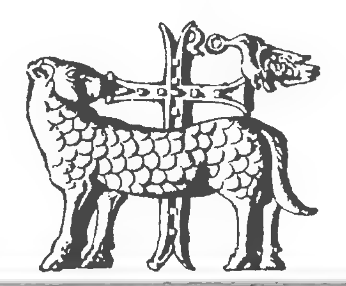
Эти идеи обошли мир и проникли в Рим, где они вдохновили цикл пророческих поэм, основными идеями которых было деление истории человечества на периоды, непрерывная смена богов, соответствующая этим периодам, полное обновление и наступление в конце золотого века. Книга Даниила, книга Еноха, некоторые части сивилловых книг являются иудейским выражением той же самой теории. Конечно, эти мысли не были мыслями всех. Они были приняты сначала только некоторыми лицами с живым воображением и внесены в чужестранные учения. Ограниченный и сухой автор книги Есфири никогда не думал об оставшемся времени существования мира иначе, как только для того, чтобы ругать его и желать ему зла. Разочарованный эпикуреец, написавший Экклезиаст, так мало думает о будущем, что находит даже бесполезным работать для своих детей; в глазах этого холодного эгоиста последнее слово мудрости — это поместить свое добро на пожизненные проценты. Но великие дела в народе творятся обыкновенно меньшинством. Иудейский народ со своими огромными недостатками: суровостью, эгоизмом, глумливостью, жестокостью, узкостью, хитростью, софистикой, — является однако творцом прекраснейшего энтузиастического бескорыстного движения, о котором только знает история. Оппозиция всегда создает славу страны. В известном смысле, величайшие люди нации — это те, которых она убивает. Сократ создал славу Афин, которые не сочли возможным жить с ним вместе. Спиноза — величайший из новейших иудеев, а синагога с позором исключила его. Иисус был славою израильского народа, который распял его на кресте.

Грандиозная мечта преследовала от века иудейский народ и беспрестанно обновляла его в его дряхлости. Иудея, чуждая иностранной цивилизации, сосредоточила на своем национальном будущем всю свою силу любви и желания. Она верила, что имеет божественные обещания о безграничном будущем, а так как горькая действительность, предоставлявшая с 9-го века до нашей эры все более и более власть в мире грубой силы, жестоко разрушала эти стремления, то Иудея бросилась в невозможнейшие комбинации идей и испробовала самые необыкновенные революции в их области. До пленения, когда все земное будущее народа рушилось, благодаря отделению Северных колен, грезили о восстановлении дома Давида, воссоединении двух народных фракций и торжестве теократии и культа Иеговы над языческими культами. В эпоху пленения один, полный гармонии, поэт увидел блеск будущего Иерусалима, данниками которого были народы и отдаленные острова, в таких восхитительных красках, что говорили, будто он был проникнут лучами взглядов Иисуса за шесть столетий до последнего. Победа Кира, казалось, осуществила на некоторое время все то, на что так уповали. Важные ученики Авесты и почитатели Иеговы считали друг друга братьями. Персия дошла до некоторого рода монотеизма. Израиль отдохнул при Ахеменидах, а при Ксерксе (Ассир) заставил бояться себя самих иранцев. Но победоносное и часто жестокое шествие греческой и римской цивилизации в Азию снова бросило его в грезы. Более чем когда-либо он призывал Мессию, как судию и мстителя народам. Ему нужно было полное обновление, революция, охватывающая земной шар до его корней — и потрясающая до основания, чтобы удовлетворить огромную жажду мести, которую возбуждали у него чувство своего превосходства и вид своих унижений.

Иисус, как только начал мыслить, сразу попал в жгучую атмосферу, которую создали в Палестине только что изложенные нами идеи. Эти идеи не преподавались ни в какой школе; но они носились в воздухе, и Иисус рано проникся ими. Наши колебания, наши сомнения никогда не овладевали им. На той вершине назаретской горы, где ни один современный человек не может сидеть без чувства беспокойства за свою участь — чувства, может быть, и неосновательного, — Иисус сидел 20 раз без малейшего колебания. Свободный от эгоизма, источника наших печалей, он думал только о своем деле, о своем племени и о человечестве. Эти горы, это море, это лазурное небо и высокие равнины на горизонте были для него не меланхолическим видением души, спрашивающей природу о своей судьбе, но известным символом, прозрачною тенью невидимого мира и нового неба.

Иисус не придавал большого значения политическим событиям своего времени, да, вероятно, он был и мало знаком с ними. Династия Иродов жила в столь отличном от его мире, что Иисус, несомненно, знал только об ее имени. Ирод Великий умер к тому году, когда родился Иисус, оставив нетленные воспоминания в виде памятников, долженствовавших заставить самое злонамеренное потомство присоединить его имя к имени Соломона; но вместе с этим Ирод оставил неоконченное дело, которое нельзя было продолжать. Честолюбивый язычник, заблудившийся в лабиринте религиозных споров, — этот лукавый идумеянин пользовался среди пылких фанатиков успехом, который дают чуждые нравственности хладнокровие и рассудительность. Но его мысль о земном израильском царстве, если бы она даже и не была анахронизмом при том состоянии мира, когда она появилась у него, потерпела бы крушение, как и подобный же, созданный Соломоном, проект, благодаря трудностям, идущим от самого характера нации. Его три сына были только римскими наместниками, подобно раджи в Индии под владычеством англичан. Антипатр, или Антипа, тетрарх Галилеи и Переи, чьим подданным был Иисус, представлял из себя ленивого и ничтожного государя, наперсника и льстеца Тиверия; он очень часто заблуждался благодаря дурному влиянию его второй жены Иродиады. Филипп, тетрарх Голавитиды и Батанеи, по землям которого часто путешествовал Иисус, был гораздо лучше. Что касается Архелая, иерусалимского этнарха, то Иисус не мог знать его. Ему было около 16 лет, когда этот слабый и бесхарактерный, иногда жестокий человек был низложен Августом. Таким образом, Иерусалимом был потерян последний остаток автономии. Иудея, соединенная с Самарией и Идумеей, составляла как бы приложение к сирийской провинции, где сенатор Публий Сульпиций Квириний, очень известная консульская персона, был императорским легатом. Ряд подчиненных в важных вопросах императорскому легату Сирии римских прокураторов: Копоний, Марк Амбивий, Анний Руф, Валерий Грат и, наконец (в 26-м году нашей эры), Понтий Пилат, следовали там один за другим, постоянно занятые тушением вулкана, который грозил извержением под их ногами.

Продолжение следует



ЮРИЙ МАКСИМОВ



ПРИКОЛ-ЗВЕЗДА

Долин спрятал письмо в карман, поднял голову. Взгляд его остановился на единственном настенном украшении комнаты, увеличенной копии обложки герценовского журнала «Полярная звезда», подарке знакомого художника. Долину она нравилась. Что-то таинственное чудилось ему в античных профилях казнённых декабристов, что-то чарующее в самом названии журнала. Петербург — «Северное сияние» — «Полярная звезда»... Хотя видно ли из Ленинграда это сияние? Как и подавляющее число людей, Долин очень редко смотрел на ночное небо, но хорошо помнил одно далёкое детское впечатление, когда дед показывал ему, малышу, на светлую звёздочку и говорил: «Видишь большой ковш на небе? Проведи от края ковша прямую линию, чтобы пять краёв ковша на ней поместилось, в эту звезду, и упрёшься. Вон она! Это Прикол-звезда, внучек. Все звёзды вокруг неё крутятся, только одна она на месте стоит. И ежели все люди пойдут к ней, к звезде этой, то все они в одном месте встретятся». «Как пойдут, по небу?» «Нет, по земле пойдут, что уж по небу!»

— Да, коммунизм — это и есть моя Прикол-звезда, — думал Долин. — Это честь, пот, кровь, жизнь моя. Вся история-предыстория вокруг него вертится и к нему стремится, что бы там вороньё ни каркало. И вольётся неизбежно в него, как вода в воронку.

Одно раздражало Долина. Кто-то, а кто, он и сам не знал, сделал под силуэтами декабристов жирную неряшливую надпись: «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа» и поставил в конце огромный восклицательный знак. «Всё правильно, — думал он, — но зачем так-то вот картину портить?»

— Лиза! — неожиданно для себя позвал Долин.

— Да, Коля.

Она вышла из-за занавески, застыла. Глаза спокойные и невидящие, будто пелена перед ними. А он-то пошутить вздумал:

— Ты знаешь правила мусорного ящика?

Не удивилась даже.

— Нет, не знаю.

— А вот послушай. Иду я как-то летом в редакцию, рано иду, рассвело только. Вдруг где-то рядом совсем вроде кто зачмокал, всхрапнул, да сладко так! Остановился, оглядываюсь — никого. Вообще никого, ни души, и тихо-тихо. Думаю: не мог же я ослышаться. А в трёх шагах от меня мусорные ящики стояли, может, видела такие — МКХ на них написано. Подкрадываюсь к одному ящику, вижу: крышка чуть сдвинута. Заглядываю. В ящике ребятишки спят. Сосчитал — шестеро. В другой заглядываю: опять ребятишки и опять шестеро. В третий — то же самое. В четвёртый, он последний был, опять шесть. А у последнего ящика крышку чуть задел, скрипнула она, один пацан и проснулся. Увидел меня и пальцы в рот тянет — полундру засвистать. Я тоже палец к губам — тихо, мол, а сам шепчу ему: я не из милиции, шепчу, только спрошу тебя о чём-то и уйду. «Ну, чего тебе?» — отвечает. «Скажи, чего у вас в каждом ящике ровно по шесть человек, а?» Заулыбался. Сам в лохмотьях неописуемых, лицо чёрное, как у негра, и зубы как у негра — белые-белые. «А у нас не трамвай, — отвечает, причём гордо так, — у нас на каждый ящик полагается по шесть человек, и лишний нипочём не полезет, — чуть помолчал, вихры свои покрутил и добавил важно. — Потому как у нас правила!»

— Правила.., — повторила Лиза, и лицо у неё изменилось, просветлело немного, — вихрастый, говоришь?

— Вихрастый.., — Долин засуетился. — Да ты садись, Лиза.

Прошла по комнате, села прямо.

— Жалко их, Коля, они-то уж ни в чём не виноваты.

Вытерла платочком глаза, пригорюнилась. Потом вдруг на декабристов рукой показала.

— Коля, для чего совершаются революции?



СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Окончание. Начало в № 8

— Как для чего? — Долин даже растерялся. — Для счастья, для справедливости, для жизни будущей светлой... Я так думаю.

Лиза голову опустила, потеребила платочек.

— А счастье-то оно какое: разное или одно на всех?

— Счастье-то? — Долин задумался. — На всех-то его не хватит, но для большинства должно хватить. А как же иначе?

Лиза заволновалась, побледнела опять.

— Понимаешь, Коля, я много об этом думала... И надумала...

— Что, Лиза?

— То, что в нашей революции как бы две революции случилось. Одна народная, а другая... Не знаю... Не народная, в общем...

— Как это?

— Не понимаешь?

Она замкнулась, как прежде, поднялась, опираясь рукой о стол.

— Извини, Коля, я спать хочу.

Пошла к себе. У занавески обернулась.

— Давно хотела тебе сказать. Я, конечно, знала, что к тебе жить иду. Семён Лукич обмолвился — я сразу и подумала — ты. К другому бы не пошла, лучше бы на улице сдохла.

— Лиза! — Долин улыбнулся глупо и радостно.

— Ты меня неправильно понял, Коля. К другому, значит, к незнакомому. Спокойной ночи.

Долин взял со стола папиросы, потушил лампу, пошёл к Яше.

— Спокойной ночи, Лиза!

Сил сказать хватило.

22 января, День памяти В. И. Ленина и жертв Кровавого воскресенья, был днем нерабочим. Старики Шубины ушли в церковь, Надежда Гавриловна Пронькина, уверенная, что ее сын, благодаря Лизе, не останется без присмотра, еще с прошлого вечера пропадала по делам женского движения, остальные же — Яша Лунц, Долин, Лиза и племянник Шубиных Володя собрались в комнате Шубиных на чаепитие. На том, чтобы чаёвничать именно у Шубиных, настояла Лиза, поскольку Володя, Владимир Андреевич Ермилов, был еще слаб, стоя и даже сидя, испытывал головокружение, и она не хотела ни оставлять его одного, ни подвергать риску, поднимая с постели. Еще два дня назад ему стало лучше, он даже поднимался и долго возился со стареньким охрипшим пианино, починяя и настраивая его, из-за чего, может, и ослаб снова. Одетый в старую бархатную куртку Афанасия Павловича, он полулежал на подушке, укрыв ноги пледом, и угощался с придвинутой к кровати табуретки.

Центральным событием скромного застолья должно было стать чтение Яшей своего очерка, посвященного родному местечку. Очерк этот, уже благосклонно рассмотренный в редакции крупной газеты и готовящийся к публикации в ее ближайших номерах, явился следствием прошлогодней Яшиной поездки на Киевщину, откуда он привез много дневниковых записей, служивших все последнее время источником его вдохновения.

Когда, умиротворенные горячим напитком и нэпманскими конфетами, купленными с гонорара Долиным, все демонстративно отодвинули от себя чашки, Яша понял, что пришло его время.

— Я буду стоя, — сказал он, поднимаясь, близоруко поднося к глазам исписанные листки и застенчиво улыбаясь. — Здравствуйте, уважаемые читатели!

— Здравствуйте, — ответил Ермилов.

Яша опять улыбнулся и продолжал:

— Меня зовут... Впрочем, неважно, как меня зовут, важно то, что я родом из местечка Хабно. Что? Не изволили слыхать? Верно!

Хабно на карте генеральной
Кружком означен не всегда.

Так, кажется, говаривал некий поэт Лермонтов? А вот, само о себе, устами местной стенгазеты, местечко говорит:

Хабно за Сахалин считали
На Киевщине губземли.

Не в рифму, правда, и непонятно, но безусловно здорово. Теперь вот что. Или вы знаете быт еврейского местечка до революции, или вы его больше никогда не узнаете. И действительно: разве мы можем здесь бегло восстановить быт вековой нищеты, возведенной в принцип? Не можем. Страсти копеечной конкуренции, гордость пятачковых побед, изнурение непроизводительным трудом, мелочная торговля, шинкарство, ростовщичество, патриархальность для себя и обман, извините, для других и все это в обстановке бесправия, антисемитизма, глумления со стороны нееврейского населения и преследований со стороны местных властей. Каково? Да, едва ли кто жил в таком непоправимом несчастии, как еврейское местечко.

Но вот пришла революция!..

Шурка Пронькин, выставленный своевременно за дверь, но, видимо, возбужденный громким Яшиным голосом, снова пролез в комнату.

— Дядь Коль, а Тлоцкий богатыль?

Ермилов засмеялся.

— Богатырь, — ответил Долин.

— С тебя лостом?

— Марш к себе, ты мешаешь!

Шурка чмокнул измазанными конфетой губами.

— Не-е, он больсе тебя на тли головы!

Яша дождался, пока Шурка, награжденный за храбрость конфетой, наконец, удалился.

— И вот пришла революция! Съездили бы вы, уважаемые читатели, со мной, в мое родное местечко, и вы убедились бы, что вопреки распространенному обывательскому мнению, еврейство за революцию платит дороже, а получает от нее меньше других. Оно не столько создает революцию, сколько претерпевает от нее. Да, да! Для черты еврейской оседлости годы гражданской войны — это прежде всего годы погромов. Хотелось бы скорей миновать эти ужасные страницы, эти расправы, эту месть неизвестно за что. Тяжело! Делается прежде всего омерзительно за человеческую породу. Но миновать этого нельзя. Надо ведь рассказать и совершенно неожиданную вещь: перед лицом погромного наводнения еврейская масса, вопреки старым обычаям и традициям, выставила команды, которые быстренько научились разговаривать с бандитами на их же языке. Еврейская самооборона сделалась страшилищем бандитов.

Долину было не по себе. Он уже давно заметил, что Ермилов, бледный, худой, но помолодевший после того, как сбрил бороду, почти не отрываясь, откровенно, смотрел на Лизу. Она, правда, не обращала внимания, или это Долину только так казалось, сидела спокойно и безразлично, подперев щеку рукой. Долину было стыдно за поднимавшееся в нем чувство неприязни к больному, он даже повернулся на стуле так, чтобы видеть только Яшу, но оказалось, что спиной можно тоже все видеть. А Яша воодушевлялся все больше и больше:

— Да, да, минуем! Возьмем день идеального советского спокойствия, день мира и благоденствия, день, когда в еврейском местечке сидят идеальные администраторы и управляют без малейших злоупотреблений, на точном основании законов. Идет советизация и появляются «Рабкооп», «Селькооп», «Кустпромкредит» и всякие другие сокращенные, сжатые, сконденсированные, нервные термины. Это, может, и хорошо, но это и неумолимое и неотвратимое бедствие над головой еврейской местечковой массы, что занималась торговлей, комиссионерством, маклерством и коробейничеством. Как конкурировать с организацией? Чем заниматься? Что предпринять? Как жить? Пробуют, простите за слово, «трестироваться». Кто с кем? Это по еврейской пословице: «Двое нищих пустились в пляс». Тресты лопаются один за другим под бременем налогов и штрафов...

Яша жадно и быстро глотнул остывшего чаю и продолжал звонко и ликующе:

— В большом огне сгорела и религия: даже старые евреи едят свиное сало. Но самое главное — это то, что еврейская масса с замечательным энтузиазмом бросается на земледелие. Сначала крестьяне относились к нам плохо, — рассказывали мне земляки. — Они не верили, что мы всерьез беремся за землепашество. Но чем дальше, тем отношения улучшаются.

Да! Вы ни за что не узнали бы евреев в этих двух крестьянах, которые пашут поле. В домотканых холщовых портах и рубахах, босые, они так ловко ходят за плугом, как если бы отцы и деды их были земледельцами!

Яша в изнеможении опустился на стул.

— Все... Подпись — Фигаро...

Долин и Ермилов громко захлопали.

— Та-ак.., — нарочито весело протянул Николай, — приступим к обсуждению... Каково мнение почтенной публики?

— Я в этом ничего не понимаю, — отказалась Лиза.

Она подошла к кровати племянника и стала молча прибирать на заставленной посудой табуретке.

— Спасибо, Лиза...

Николай заметил, как, сказав это, Ермилов чуть повернулся и, наклонившись, коснулся губами Лизиной руки. Потом откинулся на подушку, трудно вздохнул.

— Ну, что ж..., — ответил он, наблюдая за ползающей на потолке мухой, — я считаю, что у автора большое будущее.

— Так... — Николай почувствовал, как какая-то тупая игла больно кольнула его снизу в сердце, — так...

Лиза, ничем не обнаруживая своего отношения к тому, что произошло, спокойно собрала посуду и со стола и вышла на кухню.

— Действительно..., — с огромным усилием Долин взял себя в руки, — ты прибавляешь, Яша, хорошо прибавляешь! Это уже профессионально!

Яша благодарно посмотрел на него.

— Спасибо, Николай Иванович, — и к Ермилову повернулся. — И вам спасибо, товарищ Ермилов.

— Правда, Яша, и недостатки есть, — продолжал Долин, — собственно, один недостаток. Ты вот все время повторяешь: но минуем все это, но не будем об этом, а сам тем не менее только об этом и говоришь.

— Учту, Николай Иванович.

— Хотя... — Долин пожал плечами, — может, это и не недостаток вовсе. Может, это стиль такой, а? Почему бы и нет?

— Точненько, Николай Иванович. Я не знаю, как он ко мне пришел, этот стиль, но раз уж пришел, то пусть и останется, — Яша развеселился. — Говорят же, что найти свой стиль — самое трудное. Да? А он сам ко мне ножками топ-топ!..

Так они и беседовали, пока не вернулись Шубины. Яша сразу поспешил откланяться, шепнув на прощанье Долину, что дядя Абрам выздоравливает, передает ему привет, и убежал на праздничную лекцию товарища Деборина. А вот Мария Александровна повела себя как-то странно. Она принялась обнимать Лизу, приговаривая при этом, что Лизочка просто красавица, что ей замуж уже пора, что не может того быть, чтобы у такой красавицы да женихов не водилось и своими старушечьими глазками почему-то стреляла в «двоюродного братца». А Лиза? Долин глазам своим не верил: раскраснелась вся, обмякла, слушает ее — хоть бы хны!

— Это моя супруга венчание увидела, — объяснял Афанасий Павлович. — Растрогалась, плакса моя.

— Ну и растрогалась, — Мария Александровна подмигнула Лизе. — Так как же, соседонька?

Ермилов, демонстративно читавший газету, вдруг то ли засмеялся, то ли всхлипнул.

— Вы только послушайте, что здесь написано, послушайте. Вот: «Областной комиссией по реализации госфондов взят на учет в бывшем Зимнем дворце так называемый большой императорский сервиз. Сервиз этот, известный под названием «лондонского», состоит из 900 предметов и сделан целиком из хрусталя. Сервиз — редкой художественной работы. В мирное время стоимость его оценивалась в 100 000 рублей. Большая часть предметов, — он опять всхлипнул, — пьяного назначения: бокалы, рюмки, огромные сосуды для крюшона и др. Самые маленькие рюмки оценены в 25 рублей за штуку. Уже есть первый претендент на сервиз — Наркоминдел. На днях судьба сервиза будет решена».

Он отбросил газету.

— Как вам это, Лиза? Как вам? — и вдруг запел:

Наш Лизочек так уж мал, так уж мал,
Что из крыльев комаришки
Сшил себе он две манишки
И в крахмал, и в крахмал...

— Не надо вам, Владимир Андреевич, — Лиза подошла к нему, дотронулась рукой до лба. — Пожалуйста — опять температура поднялась. Вам покой нужен.

— Нет, я здоров, — он повернулся к Долину. — А скажите, Николай Иванович, это правда, что когда вы, то есть мы, — поправился он, — отправляли за границу бриллианты, то счет вели не каратами, а папиросными коробками «Ира»?

— Я ничего об этом не знаю, — помолчав, ответил Долин.

— Да? Замечательный мы народ. Мы одновременно все-все знаем и никто ничего не знает. Впрочем, это уже было. В Древней Греции. Сократ. Так, кажется?

— Кажется, так, — согласился Долин.

— А я, между прочим, очень стихи люблю. Любил, то есть... — Ермилов небрежно махнул рукой. — Люблю, любил, какая разница. Хотите, почитаю? Сейчас... Вот:

Совершают они, засучив рукава,
Пресловутое общее дело —
Потрошат чье-то мертвое тело...

— Не надо, Володенька, — всполошилась Мария Александровна, — ну, что ты в самом деле...

Ермилов придурковато, неприятно скривился.

— А это не я. Это не я сочинил, — скороговоркой зашептал он, — это все граф Алексей Константинович Толстой. Давно покойник, между прочим. Граф и, сами понимаете, покойник...

Афанасий Павлович взял Долина под руку, вывел взволнованно в коридор.

— Вы не обращайте внимания, Николай Иванович, а? Он, Владимир Андреевич, нездоров. Понимаете?

— Успокойтесь, Афанасий Павлович...

Долин неспешно одевался.

— Вы куда? — растерянно спросил старик.

— Прогуляюсь... — он внимательно посмотрел на Афанасия Павловича. — А вы о чем?

Старик покраснел.

— Простите меня...

Там, на дворе, уже темнел зимний день. По булыжной мостовой Плющихи громыхал ломовой транспорт. Суетились прохожие. Долин поднял воротник пальто, сунул руки в карманы и пошел. По этой дороге он мог бы идти и с закрытыми глазами. Вот слепая стена небольшой фабрики и на ней — омытая дождями и снегом надпись масляной краской «Ленин. 1924 год». Вот клуб. Долин заглянул туда — опять люди, опять собрание. Через закрытую дверь до него донесся уже знакомый голос. Выступал Семашко.

— ...С одной стороны, конечно, правы те товарищи, которые категорически утверждают, что спиртные напитки, в каком бы виде они не были, в Советской России быть не должны. Верно, и я того же мнения! Но, как мера борьбы с еще большим злом, самогоноварением, это несомненно приемлемо. Повторяю, выпуск водки — есть определенное отступление перед нашей культурной и бытовой отсталостью. Но сделано это с тем, чтобы через некоторое время вывесить всесоюзный аншлаг: продажа водки запрещена!

Раздались аплодисменты. Долин вышел. На углу следующей улицы афиши кинотеатра извещали, что идут фильмы «Конец Колчака» и «Врангелиада». А вот и гостеприимные двери роскошного нэпманского ресторана «Эльдорадо». Неподалеку от них — нищие и проститутки. Долин побывал в нем однажды. Он знал, что там, за зашторенными белым шелком окнами, сияют сотни огней, слепят глаза белоснежные скатерти, неслышно скользят вымуштрованные кельнеры, искрятся в бокалах шипучие вина. Он знал, что нэпманский ужин закончится далеко за полночь и только утром начнутся ресторанные будни: за конторками согнутся бухгалтера, счетоводы и кассиры, торопясь закончить двойные записи в книгах, чтобы стать лицом к фининспекторам.

— Мужчина, вам, кажется, грустно?

Перед Долиным остановилась еще даже не девушка, а девочка с детским накрашенным лицом и с папиросой во рту.

— Нет, мне весело.

Мимо прошли двое военных.

— А все-таки гадость, этот НЭП, — услышал Долин.

Из ресторана послышалась музыка. Долин отвернулся от девушки и пошел дальше.

— Гадость? Что гадость? — размышлял он. — А то гадость, что люди переменились. Или нет? Нет — просто пришли другие. Именно! Где-то скрывались до поры, до времени, а теперь вылезли. Какой-то особенный тип — человек подлый. Лицемер, паразит и завоеватель. Идет, ползет он по земле, и все липнет к его грязным рукам, все подчиняется его настырности, хамству и безразличию к чужому горю. Сплетни, сводничество, наветы — его каждодневная практика, воздух, которым он дышит, вода, которую он пьет. И при всем при этом, он всегда прогрессист и свободолюбец. Попробуй его тронь! Такой вой подымется, что чертям тошно станет. И ведь поверят ему, поддержат. Кто с выгодой для себя поддакнет, по мерзости своей, кто искренне заблажит, потому как с изнанки его не знает, кто так... за компанию...

Долин вдруг остановился, как вкопанный. Из малоприметной полуподвальной пивной доносился знакомый разухабистый голос:

Ой, болит мое сердечко,
Под грудями чтой-то жгет.
Меня, члена профсоюза,
Томский замуж не берет.

Долин готов был поклясться, что это опять тот же дед.

— Наваждение какое-то, мистика, — бормотал Долин, протискиваясь в узкую дверь, — черт знает что!

В нос ему ударил кислый, пропахший потом воздух. Он оглядел маленькое, набитое людьми помещение. Точно! У противоположной стены, прижав к груди кружку пива, стоял его знакомец. Долин только головой покачал.

— Еще раз увижу — действительно познакомлюсь, — решил он.

В этот самый момент дед поднял на него глаза и радостно оскалился.

— Ко мне товарищ пришел, — громко объяснил он своему соседу, саданув его локтем и показывая на Долина.

Николай захохотал и так, хохоча, вышел на улицу и растянулся на спине, на припорошенном снегом льду. И увидел звезды... Раз-два-три-четыре-пять... Он встал, отряхнулся, поднял голову. Пять краев ковша... Вот она!

Прикол-звезда светила ему спокойным голубоватым светом, она стояла над Москвой, над Плющихой, над самым его домом. «Да, там мой дом, — радостно понял Долин, — там Афанасий Павлович, Мария Александровна, там их племянник Володя... Там Лиза». И на какое-то, пусть короткое, время ему стало удивительно хорошо. Хорошо и...тревожно...

6

А жизнь шла своим чередом. Люди спорили о том, почему еще наблюдаются очереди, начали шумную кампанию «за здоровый продукт», объявили борьбу с хищениями на железных дорогах. В музее Сухаревой башни открыли выставку «Старая и новая Москва», в старой и новой Москве обследовали быт безнадзорных ребят, живших в семье, но не имеющих родительского присмотра. Строили и разрушали, соединялись и разъединялись, расчищали арену для новых битв во имя светлого будущего. Опустевшие монастыри, большей частью отдаленные, заселяли неблагонадежными и нищими, чтобы не мешали они, не путались под ногами у здоровых элементов. Многое завязалось в те двадцатые годы, так завязалось, что и до сих пор никак не развяжется.

И было утро и был вечер 24 января 1926 года.

Утром Долина вызвал к себе Задоров, молча протянул ему исписанный чуть не каракулями мятый лист бумаги и, не приглашая садиться, приказал:

— Читай!

Николай стал читать:

«Уважаемые товарищи начальники!

Я, безвестный советский работник физического и умственного труда, считаю своим беспартийным долгом сообщить, что газетный репортер Долин, числящийся по документам большевиком и бывшим красноармейцем, на самом деле является подпольным развратником, облившим своим половым семенем мораль и нравственность нашего молодого государства. Во-первых, он постоянно и единолично сожительствует с гражданкой Лизаветой Томилиной, которую выдает за свою двоюродную сестру и которая, по имеющимся слухам, есть заблудшая жена такого же общественного служащего, как и я. Во-вторых, он частенько посещает один веселенький домик на Арбате, где устраиваются самые, что ни на есть, оргии и вакханалии. За справедливость и точность вышеназванных фактов ручаюсь всем своим имуществом, а также честным именем, коего не могу назвать, остерегаясь черной мести этого преступника перед моральным советским законом».

— Что скажешь? — спросил Задоров, когда Николай спокойно положил бумажку на стол.

— О чем?

Задоров хотел было возмутиться, почему и набрал в грудь воздуху, но сдержался.

— Пойми, голова твоя садовая. Я-то этому ни на грош не верю, а если б и поверил, то не огорчился. Не огорчился бы за Лизу. Понял? Но письмо это, прежде чем ко мне попало, знаешь, сколько народу видело? Смотри, как написал, сукин сын: «Товарищам начальникам!» А у нас, что ни вошь, то начальник. И даже этот, как его, тот, что то ли у нас, то ли в милиции работает, ты знаешь, что-то себе в блокнот переписывал...

— Все равно плевать...

— А, понимаю! За это не судят, да? Оно, конечно, так, только знаешь: судят не судят, а рассудят.

Долин неожиданно сник.

— Скажите, Семен Лукич, это правда, что Елизавета Сергеевна замужем?

Задоров внимательно посмотрел на него.

— Вряд ли. Она девка честная, почти, извини, конечно, ненормальная. Когда жизнь свою сказывала, то ни о каком муже... Кстати, ты не догадываешься, кто бы это состряпать мог?

— Абсолютно.

— В редакции говорил чего?

— Никогда и ничего. Да и говорить мне нечего.

— Ну, сволочь, только попадись он мне в руки...

Долин потеребил шапку.

— Я пойду, Семен Лукич?

— Да ты не волнуйся. Комнату для Лизки я уже раздобыл, так что со дня на день съедет, — он усмехнулся. — А что это за домик такой?

Долин сказал.

— Так, так... Говоришь, сын Сергеева туда ходит? Это хорошо, старик еще в силе. А мой балбес от первого брака там не появлялся?

— Не знаю, я только раз там был.

— *Ладно. Все в порядке. Пусть детишки побесятся...*

— Так я пойду?

— Иди, иди. И поосторожней будь. Мы ведь не Коллонтай, — он подмигнул Долину. — Что позволено Юпитеру... — и рассмеялся хрипло, невесело.

Происшедшее показалось Долину настолько диким, настолько лишенным здравого смысла, что он даже не дал себе труда поразмышлять о нем и к вечеру, после суматошных редакционных будней, оно уже выскочило у него из головы. Домой он вернулся в хорошем настроении и с хорошим аппетитом, держа под мышкой завернутую в бумагу колбасу и собираясь устроить с Лизой роскошный ужин. Но, к его огорчению, Лиза, встретив его с радостной улыбкой, показала на кастрюльку с вареной картошкой, от ужина отказалась.

— Я пойду послушаю, Коля, Владимира Андреевича, — сказала она и, видя, что Долин не понимает, пояснила. — Он все же починил пианино.

— Надо же...

— Да! — подтвердила она восхищенно, не уловив Долинской горькой иронии и уж совсем как кисейная барынька добавила, — Боже, как он играет!

Долин остался наедине со своей колбасой и картошкой и впервые за то время, что у него жила Лиза, задымил в комнате папиросой.

Так уж случилось, что он никогда в жизни не слышал живой музыки, кроме духового оркестра, и когда Ермилов заиграл, он поначалу даже не понял, что произошло. Первым порывом его было пройти в комнату к Шубиным и разоблачить обман, потому что не могло быть такого, чтобы из соединения никчемного, по мнению Долина, годившегося разве что на дрова деревянного ящика и обыкновенного, хоть и образованного, человека Ермилова могло родиться то чудо, которое он слышал.

Ермилов играл полонез Огинского. Звуки возникали из небытия так легко и свободно, так необходимо естественно, как будто бы тот, кто записал их на бумаге первым, вовсе не *сочинил* их сам, а тоже где-то *услышал*, услышал *там*, где нет ни конца, ни начала, ни рождения, ни смерти. По крайней мере, Долину думалось что-то в этом роде, он даже на цыпочках вышел в коридор и с некоторым стыдом подкрался к двери, за которой звучала музыка. И в этот момент в квартиру постучали...

Их было четверо. Двое помоложе остались у двери, а двое постарше, в длинных шинелях, прошли по коридору и уже без стука открыли дверь в комнату Шубиных. Музыка смолкла. Один из них, с большими усами, вежливо поздоровался, протянул Афанасию Павловичу документ и, когда тот, мельком взглянув, растерянно кивнул головой, сказал:

— А теперь предъявите ваши документы, — и, обернувшись на Марию Александровну, добавил: — Вы, мадам, прошу не беспокоиться.

Все это время его товарищ, не вынимая рук из карманов, неотрывно глядел на все еще сидящего к ним спиной Ермилова.

— Сейчас, минутку, — Афанасий Павлович засуетился. — Вот, пожалуйста...

Ермилов медленно поднялся, снял со спинки кровати новые байковые портянки, стал наматывать. Мария Александровна прикрыла рот рукой и присела на краешек стула.

— Володенька, ты что?

— Где-то моя кофта была, тетушка...

Одевшись, он неуверенно переступил с ноги на ногу.

— Я готов.

— Оружие? — не повышая голоса, спросил усатый.

— Под матрацем...

Товарищ усатого не спеша подошел к кровати, достал револьвер.

— Это все?

— Да.

— Тогда пальто, шапку, что там у вас...

Ермилов вышел в коридор, шагнул мимо закаменевших соседей к вешалке.

— Он болен... — сказала в пустоту Мария Александровна.

Усатый с сочувствием взглянул на нее.

— Ничего, у нас тепло, доедем на машине, а там, если надо, и врача пригласим.

Когда за ними закрылась дверь, Шурик дернул Проньку за рукав.

— Мам, Тлоцкий хлаблый?

— Храбрый.

— Хлаблющий?

— Отстань.

Афанасий Павлович вдруг кинулся к жене.

— Маша, Машенька!

Мария Александровна упала на пианино, потом под него, на педали, и поэтому резкий нелепый звук долго висел в воздухе...

...Они сидели рядом, Долин и Лиза. Лиза вернулась от Шубиных только в полночь.

— Ну, как она? — спросил Долин.

— Сейчас лучше, спит, — немного помолчала и прошептала. — Я боюсь.

Только сейчас Долин заметил, как почернело ее лицо. Он легонько обнял ее за плечи, привлек к себе.

— Ну, что ты...

— Не трогай меня! — как хлыстом ударила — зло, резко.

Долин отшатнулся даже.

— Извини...

Она смотрела на него, прищурив глаза, и губы ее дрожали.

— Скажи, Долин, может быть, ты любишь меня?

Ему стало муторно.

— До сих пор любишь? — повторила она. — Молчишь? Это хорошо, что молчишь, потому как не надо меня любить. Я пустая, Николай, пустая, как кукла.

— Я не понимаю, Лиза.

Она все смотрела на него, не отрываясь, в глаза.

— Я не могу стать матерью, не могу родить ребенка. Хочешь знать, как это случилось?

— Успокойся, Лиза...

— Нет — послушай. Я тогда явку держала под Харьковом, и у меня прятался один. Да ты знаешь его, — она назвала довольно известную в Москве фамилию. — Однажды, вечером уже, мы с ним чай пили. Окна в комнате темным занавешены, лампа и та под абажурчиком, тишина... И вдруг стук в дверь, — Лиза вздрогнула.

— Прикладами стучат, ломятся, — будто не слыша, продолжала она ровным монотонным голосом. — А у меня на чердаке все приготовлено было — углубление такое, досками покрытое. Посмотришь, не зная, ничего не заметишь. Но пока он крался туда, пока я со стола лишнее убрала, дверь уже вышибать стали. Подбежала. «Кто там?» — кричу. «Открывай, стерва. Ты кого там прячешь?» «Я мылась», — кричу, — сейчас открою». Само собой вырвалось, некогда думать было. Потом бегом в комнату, таз на лавку, в него воды плеснула, платье скинула, в рубашке осталась, волосы в воду окунула, платком большим плечи и грудь обвернула, открыла... Их было пятеро. Бандиты, — Лиза запнулась и побелела. — Они изнасиловали меня впятером. Первый, что насиловал, гадина с жабьей мордой, орал радостно: «Девка попалась!» И они все гоготали... Лучше бы я умерла, Долин. Я и сейчас об этом жалею, что не умерла тогда. Выжила, однако... Не знаю, сколько времени в бреду пролежала, только помню, очнулась оттого, что кто-то тряс меня за плечо. «Товарищ Лиза! Товарищ Лиза!» Это был он, подпольщик мой. А я на потолок смотрю, на дырочку маленькую, специально проделанную, чтобы тот, кто прятался, все видеть и слышать мог, а он все твердил: «Товарищ Лиза! Мужайтесь, товарищ Лиза!» Я, помню, пить попросила, вкус той воды помню и голос его: «Мне уходить надо. Я не имею права рисковать, это очень важно. Мужайтесь, товарищ Лиза. Мы за вас отомстим». И ушел...

Николай сидел, сжав до онемения кулаки, твердил про себя: «Только бы выдержала она, только бы сейчас она выдержала... Только бы сейчас...»

— Долго я болела... Да, только выздоравливать стала, почувствовала, что ребенок во мне зародился. Приснился он мне, помню... с жабьим лицом... Тогда и вытравила его с ненавистью. Так вытравила, что теперь калекой живу, — она скривилась, — Не надо! Не надо, тебе говорят! Не надо...

Долин стоял перед ней на коленях, целовал ей ладони, говорил бессвязно:

— Все будет хорошо... Все будет хорошо, Лиза... Если захочешь, малыша возьмем... Хотя бы того, вихрастого... Помнишь, у нас правила...

В глазах у Лизы, замутненных, страшных, как будто искра сверкнула. Переспросила:

— Вихрастого, да?..

В эту ночь Долин совсем не спал, а Лиза бредила во сне, вскрикивала. Долин время от времени подходил к занавеске, отодвигал ее слегка, прислушивался и почему-то повторял про себя бесконечно: «Только бы утро поскорей пришло... Утро вечера мудренее...»

7

К концу января шумиха вокруг оппозиции усилилась. Говорили и писали кто во что горазд: дескать, в оппозиции одни бывшие меньшевики и эсеры, дескать, бундовцы в ней всю воду мутят, те, кто подурней, даже о скрытых монархистах шептались. Короче, была у рядовых советских граждан каша в голове. Объявился на паперти храма Христа Спасителя юродивый, второй Василий Блаженный — тоже Василием звали. Шумел, пророчествовал: «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростию... Сыновьям готовьте заклание за беззаконие отцов их!..» Дошумелся — пропал бесследно... Царство ему небесное!

Афанасий Павлович Шубин в ту ночь тоже не спал. Сидел при свече на кухне и пил водку. А когда Долин вышел на кухню покурить, то старик такого ему наговорил!

— Гражданская война, милостивый государь Николай Иванович, самая страшная, самая богопротивная война, какую только можно себе представить. И восторги по поводу всяческих побед в ней аморальны. Да, да — аморальны! И вы не спешите возражать, что вам, сильному, слабого не выслушать? Чем это вам грозит? Я, к примеру, всего раз был на этом... на поле брани, трупы закапывал. Так одна парочка у меня до сих пор перед глазами стоит. Оба бородатые, русые, лица чистые и глаза голубые — открытые. Лежат себе, можно сказать, обнявшись, потому как закололи друг друга. Один другому штыком в горло, а тот ему в живот. Восторг! Гром победы раздавайся, веселися, храбрый росс! Вы только подумайте, Николай Иванович, какой это жуткий психический сдвиг в голове народной. Ну, вспомним, с кем там Россия воевала, как государственность обрела. Ну, со шведами — Петр Великий. Ну, с пруссаками — Суворов Александр Васильевич, ну, с Наполеоном невежливо обошлись за то, что он нас в самое сердце ранил. Да с турками, конечно, с ними регулярно отношения выясняли. А тут вдруг оказалось, что пуле-то все равно, в кого попадать. Оказалось, что и друг в друга стрелять можно. Да еще как! За все те два века и десятой доли той крови не пролилось, что за каких-то три года мы сами из себя выпустили. Но и это еще не все. Скажите мне, образованный человек, какая война знала такое бесчеловечное отношение к населению, к пленным, к заложникам. Сколько их, без вины расстрелянных, зарезанных да повешенных, сколько их, изнасилованных, умерших от болезней и голода, сколько, наконец, изгнанных и обесчещенных соотечественников наших? Власти теперешние после войны итоги подводили, все больше экономические, убытки на счетах подсчитывали. А для главного на их счетах костяшек не хватило.

Для жизни человеческой, для души ее. Что для вас чья-то жизнь! Десятки, сотни, тысячи жизней! Ничего. У вас на все про все одна поговорка: лес рубят — щепки летят. И вы эти щепки-жизни в костер, в костер! Авось да разгорится пожар мировой революции. Только наверху у вас никто в эту мировую революцию уже не верит. Да, да! Речи говорят, дискуссии проводят, а в глубине души не верят и друг другу в этом не признаются. К слову сказать, есть ли у них душа-то? Оттого и психуют, оппозиции устраивают, может, кто даже о бегстве помышляет. Для чего же, спросите, им этот костер нужен? Отвечу: его просто-напросто потушить-то уже нельзя. Поздно. Так и будет он теперь гореть, то ослабевая, то усиливаясь, потому что слишком много этих вот щепок накидали вы в него с самого начала. Глядишь, и верхам вашим скоро начнет пятки лизать. А может, уже лижет?..

Много всякой всячины наговорил в ту ночь Долину Афанасий Павлович и, может, не простил бы ему этого Долин, если бы не лежащая в бреду Лиза. Он молча, с суровым лицом, слушал старика и суеверно думал: «Черт с ними, со всеми. Лишь бы с ней ничего не случилось...» А когда старик выдохся, спросил каменным голосом:

— А что, племянник ваш, уж не тушить ли этот пожар приехал?

Старик еще стопку выпил и совсем скрючился.

— Неудачник он, Николай Иванович, зазнайка и неврастеник. На родину, можно сказать, на брюхе приполз. А здесь слово «родина» и не употребляется уже. Но приполз ведь, а ему опять не повезло. Бог мой! Еще бы недельку! Мы-то как договорились: выздоровеет и пойдет с повинной. Больному-то, решили, опасно — тюрьма, следствие, не выдержит. А нас-то и опередили... Теперь и явки с повинной нет...

Глаза Афанасия Павловича все мутнели, становились сонливее, голову он подпирал руками, но она все равно клонилась к столу все ниже и ниже. Когда же, положив щеку на стол, он покойно заснул, Долин чертыхнулся, взвалил его, как мешок, на плечо и отнес в комнату. Тихо все проделал — боялся, проснется Мария Александровна...

В ту ночь кухня оказалась местом исповедальным. Следующим исповедался Яша. Он проснулся по нужде и, увидев на кухне свет, заглянул туда.

— Ты что, Николай Иванович, водку пьешь?

— Нет, это Афанасий Павлович развлекался.

— А-а... — протянул Яша, — понятно... Неприятности-то у него, конечно, будут...

— Они у него уже есть.

Яша в одном исподнем сел перед Долиным, тоже закурил.

— Николай Иванович, поклянись, что никому не скажешь?

— Давай, говори...

— Нет, ты поклянись!

— Ну, клянусь...

Яша подвинулся к нему поближе и сказал шепотом:

— Я в ГПУ ухожу. Только до поры до времени об этом ни гу-гу.

— Ну да?

Яша прикрыл глаза.

— А как же учеба, поэзия?

— Все будет, Николай Иванович, все будет.

Долин почесал в затылке.

— Ты учти, Яша, эта служба серьезная...

— Я знаю, — согласился Яша, — но еще тверже я знаю, что мое место там.

— Хорошо, коли так... — Долин потрепал его по плечу.

Они помолчали.

— Николай Иванович, а я, выходит, прав оказался!

— Ты о чем?

— Племянник-то Шубиных, а?

Долин помрачнел.

— Черт его знает... Всякое может быть... Посмотрим...

Яша снисходительно улыбнулся.

— Что уж там смотреть, — и неожиданно признался. — Мне бы твою фигуру, Николай Иванович!

— И что бы?

— Ого-го! — сказал Яша...

Когда он ушел спать, почти непьющий Долин взял, да и выпил полный стакан водки, оставшейся от Афанасия Павловича. Муторно ему было, подумал, что легче станет. А, выпив, начал опять «раздваиваться». И представилась ему Москва через пятнадцать обещанных до коммунизма лет, Москва января 41-го года. Прямые заснеженные улицы в гирляндах огней, нарядные люди в необыкновенных одеждах, в которых никакой мороз не страшен... Неизвестно откуда доносящаяся музыка — куда ни пойди — музыка... Увидел он и самого себя в круглой большой комнате на мягком диване, а рядом жену свою, Елизавету Сергеевну Долину. Комната вся в цветах и фотографиях трудовых строек. И вот открываются двери и заходят в комнату, держась за руки, двое: их сын Иван Николаевич Долин, высокий, широкоплечий и вихрастый, и девушка — писаная красавица. И говорит Иван Николаевич: «Батюшка и матушка, это невеста моя, Настенька. Благословите нас по-атеистически!..»

Неизвестно, сколько бы еще «раздваивался» Долин и куда бы завели его мечтания, но их прервала Надежда Пронькина. Она тоже вышла по нужде и тоже заглянула на огонек.

— Коль, ты чего? — спросила она хрипло.

— Ничего, — встрепенулся Долин.

— Водку пьешь?

— Пью.

— Ну и как?

— Нормально.

Она запахнула халат, присела рядом, потом потянулась и почесала круглое мощное колено.

— Коль, значит, мы контру у себя приютили?

Долин внезапно разозлился.

— Ты мне не про контру, ты мне про анонимку расскажи!

Пронькина аж рот открыла.

— Какую анонимку?

— А вот такую!

По мере его рассказа недоумение Пронькиной сменилось сначала пониманием, а затем и уверенностью.

— Это Танька, сучка арбатская, — сказала она твердо. — Ух, и возненавидела же она тебя!

— За что?

Пронькина усмехнулась.

— За то, что ты такой есть...

— То есть?

— Тебе, Долин, этого не понять, — она опять усмехнулась и, подумав, добавила. — Потому что ты дурак.

Долин вздохнул.

— Я тебе, Надежда, язык-то укорочу, — сказал он равнодушно.

Пронькина воодушевилась.

— Укороти, Коленька, укороти, — она взяла его за руку. — Хоть сейчас укороти. Пойдем ко мне — там и укоротишь...

Долин выдернул руку.

— Что? Не пойдешь? — она засмеялась. — Лизку любишь?

Долин молчал.

— Знаю: любишь!

Она встала, потянулась опять, зевнула... Потом вдруг закрыла ладонями лицо.

— Если б ты знал, Долин, как мне всё надоело. Всё и все. Но и тебе, Долин, счастья не будет. Поверь моему цыганскому сердцу, — и пошла к себе.

— Ворона драная, — в сердцах подумал Долин, — еще накаркает...

Он уже не представлял своего счастья без счастья Лизы. Только потому и боялся...

8

Так же, как неисповедимы пути Господни, неисповедимо женское сердце. Казалось бы, чего такого сказал Долин? Усыновим, мол, вихрастого. А Лиза переменилась к нему, что и не узнать: как подсолнух за солнцем, за ним головой крутить стала, в глаза ему заглядывать, Коленькой звать, а однажды, когда он на работу ушел, посидела за столом с улыбкой таинственной и лукавой, подумала о чем-то своем, потом собралась и впервые за все те дни на улицу вышла, в баню...

— Ну-с, молодцы-храбрецы, давненько мы с вами не виделись, — Задоров обвел присутствующих веселым взглядом. — Ты как, Костенька, выздоровел?

— Здоров, Семен Лукич, — ответил Сазонов.

— Это хорошо... Надеюсь, больше никто Льва Толстого с товарищем Львом Троцким не перепутал?

— Не-ет, Семен Лукич, — ответили хором.

— Тогда начнем, пожалуй... Главное на сегодняшний мо-

мент — это правильно осветить политику партии по отношению к деревне. Особенно я попрошу зарубить это себе на носу тем товарищам, которые все больше об ограблении булочных да нэпманских кабаках пишут. Пора, товарищи, с этим кончать. Как сказал товарищ Сталин на активе Московской организации? — он приблизил к глазам брошюру: «На одной лишь трескотне о мировой политике, о Чемберлене и Макдональде теперь далеко не уедешь. Руководить может только тот, кто понимает толк в хозяйстве, кто умеет дать мужику полезные советы по части хозяйственного развития, кто умеет придти на помощь мужику в деле хозяйственного строительства. Изучать хозяйство, сомкнуться с хозяйством, войти во все дела хозяйственного строительства — такова теперь задача коммунистов». Вот так товарищ Сталин провел линию нашей партии. А у нас что получается? В свое время к товарищу Ленину крестьяне за советом приходили, спрашивали: «У меня, мол, одна лошадь и две коровы, а у него одна корова и две лошади. Кто же, товарищ Ленин, из нас середняк?» Вот и мы с вами, как эти же крестьяне. Сами запутались и читателей путаться заставляем. Конечно, у нас по вопросу о деревне разногласия есть, и немалые. Например, товарищу Ларину вынь да положь обострение классовой борьбы в деревне. А ежели этого обострения нет, то давай, стало быть, его искусственно создадим. Мол, все равно кулака скоро экспроприировать будем. Но ему почти все наши товарищи отворот дали: и Сталин, и Бухарин, и Рыков, и Калинин. Вот о чем писать нужно, а не о Макдональде. Только грамотно писать, культурно, вежливо, всякие там вопли-сопли оставить. И главное — разъяснять людям разницу между кулаком и старательным хозяином, — Семен Лукич усмехнулся. — А то так и меня в кулаки запишут. За мной здесь, в Москве, тоже три лошади числятся. На балансе, так сказать.

— Смех в зале, Семен Лукич, — сказал Сан Саныч и захлопал в ладоши.

— Какие вопросы? — спросил Семен Лукич.

Все загудели.

Долин сидел у самой двери и безотчетно нервничал. Ему казалось несносным, что он сидит сейчас здесь, а не там, где он действительно нужен — с Лизой. Необъяснимая тревога за нее то затихала в его душе, то вдруг вздымалась волной, захлестывающей его всего. Большие напольные часы уже два раза отбили по часу, а конца совещанию еще не было видно.

— Семен Лукич! Вы, вот, говорите, что теперь все о деревне надо, а к нам это... заметочка из Ленинграда пришла. О литературе... Может ее того... по боку?

— Что за заметочка?

— Да там среди писателей есть дряхлеющие стволы некогда больших деревьев, есть крепкие одиночные сосны, достигшие зрелости, а есть буйные всходы и побеги молодняка...

— Чего, чего?

— Ну, там Федор Сологуб литературно дряхлеет.

— Слушай...

— Зато рождённая в грозе и в буре молодежь...

— Ты замолчишь или нет?

— Я молчу, Семен Лукич.

Задоров поймал сочувственный взгляд Шацкого.

— С кем приходиться работать!

Шацкий усмехнулся.

— Печатай, ради бога, печатай... Культурную жизнь забывать не следует. Вот, например, скоро пьеса пойдет. Политическая. «Любовник первой революции» называется. Это о Керенском. Говорят, артист, ну... — Задоров щелкнул пальцами, — как его?..

— Михаил Чехов, — подсказал кто-то.

— Во-во! Михаил Чехов его играть будет. Там всех вывели: и Милюкова, и Корнилова, и Краснова, всю шваль в общем. Я обязательно пойду. Посмотрю, чего они там... Честно говоря, давненько в театре не был.

— Семен Лукич! — это поднялся выздоровевший комендант партклуба Абрам Койфман, любивший присутствовать на совещаниях, в чем ему никогда не отказывали.

— Что, Абрам Давидович?

— Тут мне сказывали, что Еврейский объединенный комитет помощи в Нью-Йорке хочет реализовать путем займа миллион долларов. Это для оказания немедленной помощи евреям в Европе. А половина этой суммы предназначена для еврейской колонизации СССР. Они сами так объявили. Я думаю, это надо пропечатать, чтобы евреи-колонисты знали, что о них заботятся.

— Обязательно! — Семен Лукич прихлопнул свой желтый портфель. — К нам многие едут: журналисты, врачи, учителя. Едут, чтобы нам помочь. Бездельники через океан не поплывут. Мы им и сами помогаем, как можем, но у нас средств мало. Так что это, действительно, очень кстати. Товарищ Шацкий, возьмите на заметку!

— Будет сделано, Семен Лукич.

Абрам Давидович, удовлетворенный, сел.

— Кстати, об учителях, Семен Лукич, — сказал Сан Саныч. — С мест много писем приходит о незаконных увольнениях учителей и даже об издевательствах над ними, главным образом, со стороны сельсоветов и наробразов. Мне кажется, надо развернуть кампанию в защиту учителей.

— Идеи-то у тебя хорошие, Сан Саныч, но только не тяни ты ради Христа! Не ленись. Вот, в прошлый раз ты божился рубрику «Советы врача» ввести, а сам так на одной заметке и застрял.

— Ну и память у вас, Семен Лукич! — восхищенно сказал Сан Саныч...

Долин давно уже ничего не слушал. Он бы и ушел, нашел бы причину, но знал, что у Задорова есть опять к нему разговор. Когда они, наконец, уединились, Семен Лукич протянул ему папиросы и устало сказал:

— Кури. Разговор может долгим получиться.

Только сейчас Долин заметил, чего стоили этому железному человеку его улыбки и шуточки. Лицо Задорова осунулось, глубокие морщины на лбу стали еще резче и на виске задвигался, запульсировал тоненький голубой червячок.

— Николай, Лиза-то, оказывается, в бегах!

— В каких еще бегах?

— В обыкновенных — от правосудия скрывается...

— Что?

Задоров даже отшатнулся от Долина со страхом.

— Ты чего? Ты не горячись! Ты чего вскочил?

Николай сел, дрожащей рукой распахнул ворот рубашки.

— Выслушай сначала. У меня в соответствующем месте свои люди есть. Сообщили. То, что она у тебя, им уже известно. Я, правда, попросил ее пока не брать — мне время нужно кое-что обдумать. Может, выручу дуру... Они пообещали. Знают, что никуда она от них не денется...

— Да что вы говорите такое! — шепотом выдавил из себя Долин. — Вы что, ненормальный?

Задоров опять отшатнулся, вздохнул глубоко.

— Не перебивай. Она сюда из Ельца сбежала. Там где-то церковь закрыли, а поп-контра начал на паперти проповедовать, все кары небесные на власть нашу насылать. Ну... Чекисты попа за шкирку, потащили куда надо, чтобы народ не баламутил. Тот орет, упирается — ему и врезали по святым местам. Да... А попу девятый десяток шел, так он на паперти и концы отдал. Что тут началось! И больше всех, как мне точно сказали, Лизка-дура орала. Бандиты, — орала, — хуже бандитов, мразь, — орала. А потом такое по политике брякнула... Короче, волнения были, и Лизку той же ночью взяли, во время припадка. Как сбежала она — и сами толком не поняли. От Соловков сбежала, Николай.

Долин встал и быстро пошел к выходу.

— Ты куда?

Он не отвечал.

— Ничего ей не говори! Слышишь?..

Долин спешил к одному милицейскому начальнику, с которым познакомился, когда писал репортаж о нашумевшем уголовном деле. Начальник остался очень доволен долинской публикацией, познакомился с ним и, как сам утверждал, полюбил. Принял он Николая без проволочек, а выслушав, сказал:

— Дело ясное, что дело темное. Но ты не волнуйся. Правосудие восторжествует. Я сейчас на денек-другой в Загорск смотаюсь, там, строго между нами, один бандит окопался, а вернусь — займусь твоей знакомой. Ты мне веришь? — и протянул Николаю руку...

Вернулся Долин домой поздно. Усталый, но успокоенный. Лиза сидела на его кровати и пыталась привести в порядок



Рисунок АРТЕМИЯ ИГНАТЬЕВА

непокорные после бани волосы.

— Коленька, я так ждала тебя!

Она подогрела ему ужин и, пока он ел, все смотрела на него откровенно, любовалась. Потом скрылась за занавеской, пошуршала там, как мышь, и затихла. Счастливый Долин потушил лампу, разделся и тут же заснул. А вот почему проснулся скоро, и сам не знал. Сначала лежал с закрытыми глазами, ощущая какое-то нетерпение, потом открыл их. Перед ним в белесоватой от луны комнате стояла Лиза, белая, как снег.

— Лиза... — еще полусонно сказал Долин.

Она наклонилась к его лицу.

— Я замерзла, Коленька.

Она откинула осторожно одеяло, легла, прижалась к нему, провела ладонью по его лицу.

— Коленька, ты полежи тихо, совсем немного, вот так... — Она помолчала и с печалью добавила:

— Ты знаешь, я еще не совсем здорова. У меня этот... — она нахмурилась, вспоминая, — реакционный депрессивный синдром. Мне один старичок-врач сказал. Но я выздоровлю.

— Конечно, — он прижал ее к себе, подумал. — За что же ей одной столько горя?

Про разговор с Задоровым и с милицейским начальником он ей ничего не сказал. Боялся за нее. Она об этом своем деле тоже не вспомнила, уснула на его плече, и, может, впервые за много дней дыхание ее было тихим и спокойным...

9

К концу месяца чуть-чуть потеплело. С неба посыпался мелкий колючий снег, покрыл мостовые толстым сверкающим на солнце слоем. Ветерок наметал сугробы в самых неподходящих местах, и уже ранехонько вышли дворники, заскребли большими лопатами под московскими окнами. Полдня провозился Долин в редакции, потом, что редко бывало, освободился рано, еще только смеркаться стало, и домой пошел. Снег все падал и падал. Засыпал трамвайные пути, на их расчистку мобилизовали даже служащих. Единственный общественный транспорт в городе еле двигался, так что Долин пешком шел. Почти у самого своего дома он увидел толпу народа и грузовичок. В кузов грузовичка четверо человек втаскивали носилки. Долин и внимания не обратил на это — дело было обычное, заметил только, что тело человека на носилках было укрыто черной материей. Он вошел в подъезд, поднялся по лестнице. На площадке перед открытой дверью его квартиры стояли люди. Сердце Долина дрогнуло, потом замерло на мгновение, будто пропало совсем, и вдруг забилось бешено и страшно. Кто-то загородил ему дорогу — он оттолкнул. Оттолкнул сильно и зло. Вошел, озираясь. Первое, что он почувствовал — холод, подумал: почему здесь так холодно? И увидел сломанную дверь своей комнаты, а за ней открытое настежь окно.

— Лиза... где?

Глаза его остановились на оцепеневшем Афанасии Павловиче. Тот как-то странно ойкнул, согнулся пополам и тоненько протяжно завыл.

— У-у-у... — подхватил его вой Долин, рванулся назад, выбежал на улицу и увидел далеко впереди сворачивающий в переулок грузовик.

— Я, грю, она беглая была, — услышал он молоденький басистый голос, — ну, нас с Петькой и послали. Чего зачем? Взять, грю, послали.

Милиционер, высокий, тонкий, с розовыми щеками и редким пушком под носом, растолковывал толпе происшествие.

— Ну, зашли мы... Вы, спрашиваю, Лизавета Томилина? Я — отвечает. Тогда собирайтесь, грю. Зачем? — спрашивает. Затем, грю, что больно прыткая вы. Чего? — грит. Из тюрьмы, грю, меньше бегать надо, вот чего. Ага, грит, теперь поняла. А глазищи-то у нее забегали, забегали, страшные стали и пена на губы — брызг. Ей бо, пена! Только, грит, обождите немного, мне белье сменить надо. Ну, думаю, куда она денется. Переодевайтесь, грю, коли надо. Она дверь прикрыла — мы с Петькой ждем. Ну, ждем мы... Вдруг слышу: хрясь, хрясь! И, вроде, холодом пахнуло. Я за дверь — заперта. Шалишь! — кричу. И сапогом по ней, сапогом. Она и того... Вижу, пустая комната, и окно открыто, и рама качается. Ну, я в окно... Глянул, а она там... внизу...

— У-у-у... — опять завыл Долин, ринулся, сминая толпу, ударил, обезумев, в розовое изумленное лицо, почувствовав, как что-то податливо хлюпнуло под его кулаком, и сам же в снег повалился. И не помнил потом, как вязали ему руки, как вели куда-то в пустоту, в мрак...

10

Пролетел тот январь и сгинул. В самый его последний день вывесили на Плющихе на слепой стене дома огромный в три этажа рекламный плакат: «Страхование лиц, оказавших услуги революции». Неизвестно теперь, воспользовались ли заслуженные люди этим новшеством или нет. Да и что теперь известно? Как бы то ни было, передал январь свою эстафету февралю, и история понеслась дальше...

Спустя месяц или немногим более, в преддверии праздника Дня свержения самодержавия, Долин сидел в своей комнате и писал письмо Остроухову. За время ареста Долина и нахождения его под следствием ничего здесь не изменилось, разве что не стало занавески перед чуланчиком, перед «санаторией». Как потом понял Долин, ей-то и накрыли Лизу, когда увозили ее от него навсегда.

«...Теперь, Серега, дело закрыли на основании моей невменяемости в тот момент. Вряд ли бы все кончилось для меня удачно, если бы не Яша Лунц и его влиятельный родственник. Помогли. Впрочем, еще недавно я жалел только об одном, о том, что меня не пристрелили. Теперь это прошло. Милиционер, которому я сломал нос, вышел из больницы почти такой же, как был, и обиды на меня не держит. Говорит, что прошел первое боевое крещение. У Задорова были неприятности, но он уже выкрутился. Что же касается Шубиных, то их дела плохи, вернее, дела их племянника. В благие его намерения в ГПУ не верят...

С работы, Серега, я ушел. Может быть, временно, еще сам не знаю. Еду селькором на родину, на Орловщину. Так что будем мы с тобой еще ближе друг к другу. Надо ведь, наконец, и свидеться...

Лиза... Оказывается, она заранее написала мне письмо и прятала его в тумбочке. Начинается оно словами «если со мной что-нибудь случится...» И, если я еще жив душой, Серега, то только благодаря ему. Она попросила меня в письме найти того черненького пацана, которого мы решили усыновить, и позаботиться о нем. Буду искать. Если не найду, то все равно усыновлю такого же. Она сказала мне однажды, что если каждый из нас усыновит хоть одного ребенка, то на нашей земле не останется сирот. И это, в конечном счете, самое главное, ради чего стоит жить...»

В первых теплых апрельских сумерках Долин шел по Плющихе и вел за руку маленького мальчика в новеньком сером пальтишке.

— Доброго здоровьичка! — услышал он вдруг. — С сынком гуляете?

Перед ним стоял дед-частушечник, на удивление трезвый и оттого даже благообразный.

— И вам того же, — ответил Долин. — Да... с сыном.

— Это хорошо! — дед глубоко вздохнул во всю свою старческую грудь. — Зимой-то ведь люто было...

— Да, люто...

Они попрощались. Долин еще долго оглядывался на старика, пока тот не свернул в проулок, потом как будто о чем-то вспомнил и взглянул на небо. Звезды уже зажглись.

— Смотри, сынок... Во-он большой ковш на небе. Отсчитай-ка пять краев ковша: раз-два-три-четыре-пять. Видишь звездочку? Это Прикол-звезда, сынок. Все остальные звезды вокруг нее крутятся, она одна твердо стоит. И если пойдут к ней люди, то все обязательно в одном месте встретятся!

— Так это ж Полярная — там север ледовитый, — сын оказался не так прост. — Замерзнут же?

Долин покачал головой.

— Это у нас здесь север ледовитый, а там, — он показал на небо, — нет никакого севера. И надо чаще смотреть на небо и никогда, слышишь, никогда, как бы ни было холодно, не отказываться от своей мечты! — он взял мальчика на руки. — Ну, что, понял, практичное дитя разрухи?

— Понял!

— Так пойдем к ней?

— Как пойдем? По небу?

Долин улыбнулся.

— Ну уж, по небу! Так пойдем — по земле...

РАССКАЗ-БЫЛЬ

СЕРГЕЙ ВОРОНИН

В СТАРОМ ВАГОНЕ

Фото НИКОЛАЯ КОЧНЕВА



ВОРОНИН Сергей Алексеевич родился в 1913 году в городе Любиме Ярославской области. В ранние годы вместе с отцом — уполномоченным Петрокоммуны по Кустанайской области — много ездил по Сибири. Учился в ленинградском Горном институте, а затем были годы изыскательных работ на маршруте нынешнего БАМа, но не по своей воле. Первый рассказ Сергея Воронина был опубликован в 1943 году в пермском альманахе «Прикамье», а через пять лет вышла первая книга «Встречи». Полная его библиография сегодня насчитывает более восьмидесяти книг, включая трехтомное собрание сочинений, вышедшее в 1983 году.
Наибольшую известность Сергей Воронин получил как мастер короткого рассказа. Воронинский рассказ — это уже стилевое понятие, существующее в современной советской прозе. Из рассказов в основном состоит и книга «Родительский дом», за которую в 1976 году писатель был удостоен Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького.

В Тихорецкой я пересел на местный поезд Сальск — Краснодар. Это был такой же поезд, который запомнился мне с детства, — с фонарями, тускло светящим свечным огарком, со сплошными верхними нарами, на которых вповалку лежат мужики и бабы, со скрипом качающихся стен, с духотой, перебранкой, множеством узлов, мешков. Вот на такой поезд я и попал. Пришел он в Тихорецкую вечером. Толпа хлынула к вагонам, каждый порывался вперед, чтобы захватить свободное место. В полумраке не так-то легко разобрать, где оно, это свободное место, но нашлось и для меня, и вот я сижу на краю нижней лавки, ем из кулька виноград, а поезд, скрипя и покачиваясь, постукивая на стыках, уже идет к Краснодару.

Постепенно глаза привыкают, и я вижу стоящего рядом со мной человека. Он невысок, наголо острижен, но с бородой, хотя и без усов. На нем пиджак, брюки напливом приспущены на голенища сапог,— одно время шпана носила так фасонисто свои штаны,— ему лет шестьдесят. В руках у него фуражка, у ног самодельный фанерный чемодан.

Я потеснился и выгадал ему закраек скамьи. Он как-то быстро и охотно присел, улыбнулся и затих.

Хотя Тихорецкая и стоит на главном пути к югу, и народ, живущий там, избалован постоянным денежным пассажиром, едущим из центра на отдых, но в том году уродилось винограда столько, что купить килограммов пять ничего не стоило. У меня и было в кульке пять килограммов, и я угостил своего соседа. Он не стал отказываться, быстро взял гроздь, положил ее в ладонь левой руки и начал по ягодке отщипывать и класть в рот, время от времени посверкивая плотными, удивительно сохранившимися для его возраста, белыми зубами.

В дороге люди могут разговориться незаметно: кто-то что-то спросил, другой ответил, и завяжется беседа. С чего-то начался и у нас разговор, и вскоре мой сосед, невесело и не к месту посмеиваясь, уже рассказывал о себе. Двадцать пять лет отбухал он в лагерях, в заключении.

— За коллективизацию посадили. Конечно, тогда я был несознательный, если б теперь коснулось, так сразу бы вступил...— сказал он и коротко, не к месту, хохотнул.

В 1928 году жил он в Саратове, портняжил. Была у него семья: жена, два сына и две дочери. Тогда ему было сорок лет. И хотя он работал усердно, все же прокормить такую семью было нелегко, да и портняжка-то он был не такой уж мастеровитый. И все чаще стал подумывать: а не уехать ли в деревню, на родину? А тут как раз и подвезло: получили от жениной крестной письмо; писала она, что больна, звала к себе в деревню, обещала отдать дом, корову, огород, если они будут за ней присматривать,— больная она, а умру, так и похороните. И поехали. Чего желать лучшего — он будет портняжить, жена по хозяйству, полегче жить станет.

И верно, легче стало. Прожили с год, к тому времени крестная умерла — все кашляла,— похоронили честь честью, и стали жить вновь. Вот тут-то как раз и подоспела коллективизация, стали всех втягивать в колхоз. А он не пошел.

Чего ему делать там, портному-то? Но с этим не посчитались, подвели под раскулачивание, корову отняли, лошадь тоже, дом, самого засудили на три года, а семью на выселку.

До Хабаровска ехали вместе, в одном вагоне, под охраной, с такими же бедолагами, как и он. В Хабаровске семью оставили, а его с другими повезли дальше на Тахтамыгду. С тех пор никаких вестей о семье он не получал. Поработалось в лагере всяко — и лес валил, и шурфы копал, бараки строил. Три года так-то. Ждет, вызвать должны. Не зовут. Тогда напомнил начальнику. «Когда надо, выпустим»,— сказал тот. С тех пор перестал считать дни, но все же надеялся: а может вызовут. Но тут как раз подоспел Беломорканал.

Старик, посмеиваясь, покрутил головой.

— Много полегло нашего брата на том канале. Не зазря его «белым морем» назвали. По пояс работали в воде, копали его, а на берегу, чтоб веселее нам было, духовой оркестр марши играл, и старинные и наши. С темна до темна. Кои в воде и доходили. Так вот поишачил до зимы, но тут ноги отказали. Повезло мне, посадили рванье чинить. Пригодилось мое портняжье рукомесло.

Потом он был на Вторых путях Бамлага, строил железную дорогу от Тайшета до города Свободного. Но свободы и там не получил: многих освобождали, а про него словно забыли. После Бама на Сахалин кинули, потом на Север — там годов шесть пробыл. В лесу работал. Война уже шла вовсю. С Севера на Колыму поперли.

— Там и застрял. Совсем уж доходить стал, спасибо, в инвалидную команду определили. Ноги отказывают, а руки ничего, иголку еще чувствуют. Опять пригодилось мое рукомесло: шью френчи, бриджи начальству, глядишь, кто и шматок сала подбросит. В тепле сижу, сытый, из лоскутков кепку, который готовится на «волю», соображу, опять же доход. Костюм себе справил...

Он окинул взглядом свой пиджак, брюки, и мы все посмотрели на его брюки и пиджак. Ничего особенного никто в его костюме не усмотрел, обыкновенный дешевый хлопчатобумажный костюм. Но, видно, для него он не был обыкновенным, скорее необыкновенным, потому что старик так улыбнулся, как может улыбаться только человек, у которого что-то есть такое, чего не может быть у других.

— В аккурат к этому времени, как справил костюм, будто сердце чувствовало, вызвали меня на пересылку. Не хотелось ехать. Зачем, думаю, прижился я тут, и ногам стало полегче — обутка сухая, у печки сижу. Ну, а что будешь делать, надо так надо, поехал. И тут нате, в Москву, говорят, вызывают. И дают мне новый картуз...

— Это зачем же? — спросил кто-то из темного угла.

— А не знаю, может, чтобы поприглядистей был. Да не одного такого-то, как я, направляют, а еще шестнадцать человек и всем тоже картузы новые дали.

— Чудно.

— Еще как чудно-то. Разговорились, оказалось, эти шестнадцать тоже по двадцать пять лет отбухали, и все за коллективизацию... Конечно, тогда я несознательный был, если б теперь, так сразу бы вступил,— старик как бы осуждающе посмеялся над собой, помолчал.

— Приехали в Москву, поместили нас всех в гостинице. Киевская называется. На двух каждых по комнате. Хорошие комнаты, чистые. Сказали, что есть мы можем все, что пожелаем, в ресторане кормили, можем и выпить, только чтоб не чрезмерно. Ну, я-то всегда был непьющим, так что мне это ни к чему, а другие и водочки, и красненького попробовали. И еще дозволяли ходить бесплатно в театры или в кино, и в музеи. Ну, до театров я не любитель, а в музеи ходил. Интересно... Прожили мы так две недели. И вот говорят нам, чтоб побрились мы, привели себя как подобает. К Ворошилову пойдем на прием.

— К самому Ворошилову? — спросила пожилая тетка, сидевшая со мной рядом.

— К самому,— ответил старик и блеснул плотными, особенно белыми в полумраке зубами.— Повезли нас на автобусе по городу. Приехали. А уж он нас ждет. Начал принимать, дошел и до меня черед. Вошел к нему, сажает он меня в кресло и сам садится и говорит чего-то, а до меня не доходит, чего он мне говорит, я полагал его совсем другим, а он старенький, ну совсем старичок. И когда ж, думаю, он успел так сноситься?

— Да,— говорит он мне,— произошло с вами большое недоразумение, давно вас надо было освободить, но теперь уже этого не поправишь. Пригласили же мы вас в Москву, чтобы семью вашу разыскать и об этом вам сообщить. Но и тут,— говорит,— не можем вас порадовать. Младшая дочь ваша и жена умерли вскоре, как приехали в Хабаровск.

— И жена? — спросил я. Мне как-то не поверилось, что моя Настасья могла умереть, не дождавшись меня.

— Да,— говорит Ворошилов,— и жена. Этому прошло уже больше двадцати лет. Сыновья ваши погибли на войне, защищая родину. Старшая дочь ваша попала в плен, погибла в немецком лагере.

— Здорово, язви тебя! — выругался кто-то в темном углу.— Никого и не осталось?

— Никого... Он говорит мне, а я не могу уложить в голове, что он про моих ребят толкует, малые они у меня в глазах-то стоят, самому старшему пятнадцать было, как меня от них отлучили, потому я хоть и слушаю его, а к сердцу не принимаю, будто он о ком другом говорит.— Тут опять старик покрутил головой и засмеялся.— Только уж потом, в гостинице, дошло до меня, что один я уцелел изо всей нашей семьи. Тут мне тяжело стало, даже не знаю, как спокойствие сохранил, все думаю о них, думаю, а их-то давно уж и нет. Даже задыхаться стал, воздуху не хватало мне. Но это потом, а в ту минуту до меня как-то не доходило, и больше интересовало то, что со мной Ворошилов говорит.

— Как же вы думаете дальше жить, где? — спрашивает он меня.

— А в деревне, где же,— говорю.— Может там дом сохранился. Если надо, в колхозе буду работать. Тогда-то не понимал, конечно...

— Нет,— говорит он мне,— я вам там жить не советую. Вспоминать будете про все, тяжело вам будет. Поезжайте вы,— говорит, — на Кубань. Богатейший там край, люди будут новые, дела новые.

— Как скажете,— говорю ему,— только вот денег на дорогу нет.— А про себя подумал: «В свою-то деревню все бы лучше. Может кто и помнит меня, опять же места родные». Но ничего не сказал.

— Деньги,— говорит,— дадим. А там на месте вам и работу определят и жилье. Поезжайте.

И вот еду.

— А как же ты зубы сохранил? — неожиданно раздалось из темного угла.

— А чего их хранить, они костные у меня. Дед умирал, у него все были целы до единого, а ему за сто перевалило,— охотно ответил старик и засмеялся как-то стеснительно и несмешно.

— Что ж, так один и будешь жить или женишься? — спросил опять тот же из темного угла,— зачем, наверно, и сам не знал, просто так спросил, из любопытства.

— А чего ж, женюсь,— ответил старик, если попадет самостоятельная.

— Да куда тебе, ты уже старый,— грубовато сказала пожилая тетка, сидевшая со мной рядом.— Тебе на бахчи сторожем, вот и вся твоя жизнь теперь.

— Это почему же? — вдруг встрепенулся старик.— Как же это вся моя жизнь? — и удивленно и несогласно спросил он, и на этот раз уже не засмеялся своим неумелым, несмешным смехом. И тут я вдруг понял, скорее не разумом, а сердцем, что этот человек все эти долгие двадцать пять лет, что просидел в лагерях, не жил, а находился в ожидании жизни. На том, сороковом году, когда его арестовали, для него все и остановилось, и вот теперь, получив свободу, он, словно и не было тех двадцати пяти лет, продолжает ТОТ счет, не сознавая того, что теперь ему уже шестьдесят пять, что он старик, что жизнь прожита.

Видно, это почувствовали и другие, потому что в вагоне наступила тишина. И долго никто ни о чем не мог говорить.

А поезд шел, скрипели, качались старые вагоны. За окнами было уже совсем темно, как это бывает обычно по вечерам на юге, и, наверно, поэтому свечные огарки в фонарях стали светить ярче, освещая даже самые темные углы.

Было это в 1955 году.

1962 г.



ОЛЕГ МИХАЙЛОВ

ЗНАКОМЦЫ ДАВНИЕ...

Фото НИКОЛАЯ КУЛЕБЯКИНА



МИХАЙЛОВ Олег Николаевич родился в 1932 году в Москве. Учился в Суворовском военном училище и специальной школе Военно-Воздушных сил. Закончил филологический факультет Московского университета и защитил кандидатскую диссертацию по творчеству И. А. Бунина. Член Союза писателей. Печатается с 1954 года. Автор многих книг как литературно-критического характера («Верность. Родина и литература», «Страницы советской прозы», «Страницы русского реализма», «Мироздание по Леониду Леонову» и др.), так и историко-романтического («Суворов», «Кутузов», «Державин», «Генерал Ермолов»). Особенное внимание уделяет русской литературе XX века (книги о И. А. Бунине, А. И. Куприне, статьи о И. С. Шмелеве, Б. К. Зайцеве, А. Т. Аверченко, Н. А. Тэффи, В. В. Набокове, Д. С. Мережковском, Е. И. Замятине, Ф. К. Сологубе и др.). Как «чистый» прозаик выразил себя в романе «Час разлуки» и ряде рассказов.
Живет в Москве.

Какое счастье, какое удовольствие писать и говорить об этих двух творцах русской литературы, которые стремительно возвращаются к нам из далекого зарубежного изгнания...

Да, имена Ивана Шмелева и Бориса Зайцева вновь наполняются для нас светом, духом, художественной плотью...

Но все же, кто они, какова их судьба?! Не боясь повториться, хочу о том и о другом поведать читателям «Слова», о их писаниях и нелегких скитаниях на чужбине, прежде, чем вы насладитесь истинно русским речением, которым оба писателя владели в совершенстве. Это были близкие, родственные души.

Представьте себе карту старой Москвы.

Особое своеобразие городу придает Москва-река. Она подходит с запада и в самой Москве делает два извива, переменяя в трех местах нагорную сторону на низины. С поворотом течения от Воробьевых (теперь Ленинских) гор к северу высокий берег правой стороны, понижаясь у Крымского брода (ныне Крымского моста), постепенно переходит на левую сторону, открывая на правой, напротив Кремля, широкую луговую низину Замоскворечья.

Здесь, в Кадашевской слободе (когда-то населенной кадашами, т. е. бочарами), 21 сентября (3 октября) 1873 года родился Шмелев.

Москвич, выходец из торгово-промысловой среды, он великолепно знал этот город и любил его — нежно, преданно, страстно. Именно самые ранние детские впечатления навсегда заронили в его душу и мартовскую капель, и вербную неделю, и «стояние» в церкви, и путешествие старой Москвой: «Дорога течет, едем как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы-доски. Дворники в пиджаках, тукают о лед ломами. Скидывают с крыш снег. Ползут сияющие возки со льдом. Тихая Якиманка снежком белеет... Весь Кремль золотисто-розовый, над снежной Москвой-рекой. Что во мне так бьется, наплывает в глаза туманом? Это — мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы... Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, сани, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой, над темными садами, — солнечный туманец тонкий, в нем колокольни-тени, с крестами в искрах — милое мое Замоскворечье» («Лето Господне»).

Москва жила для Шмелева живой и первородной жизнью, которая и посейчас напоминает о себе в названиях улиц и улочек, площадей и площадок, проездов, набережных, тупиков, сокрывших

под асфальтом большие и малые поля, полянки, вполья, пески, грязи и глинища, мхи, дебри или дерби, кулижки, то есть болотные места и сами болота, кочки, лужники, вражки-овраги, ендовы-рвы, могилицы, а также боры и великое множество садов и прудов. И ближе всего Шмелеву оставалась Москва в том треугольнике, который образуется изгибом Москвы-реки с водоотводным каналом и с юго-востока ограничен Крымским валом и Валовой улицей: Замоскворечье, где проживало купечество, мещанство и множество фабричного и заводского народа. Самые поэтичные книги — «Родное» (1931), «Богомолье» (1931—1948) и «Лето Господне» (1933—1948) — о Москве, о Замоскворечье.

Много лет знавший Шмелева писатель Борис Зайцев сообщал автору этих строк (в письме от 7 июля 1959 года):

«Писатель сильного темперамента, страстный, бурный, очень одаренный и подземно, навсегда связанный с Россией, в частности, с Москвой, а в Москве особенно — с Замоскворечьем. Он замоскворецким человеком остался и в Париже, ни с какого конца Запада принять не мог. Думаю, как и у Бунина, у меня, наиболее зрелые его произведения написаны здесь. Лично я считаю лучшими его книгами «Лето Господне» и «Богомолье» — в них наиболее полно выразилась его стихия».

Отъезд Шмелева в 1922 году в эмиграцию не был, однако, следствием только идеологических разногласий с новой властью. О том, что он уезжать не собирался, свидетельствует уже тот факт, что в 1920 году Шмелев покупает в Алуште дом с клочком земли. Одно трагическое обстоятельство все перевернуло.

Сказать, что он любил своего единственного сына Сергея — значит сказать очень мало. Прямо-таки с материнской нежностью относился он к нему, а когда сын-офицер оказался на германской, в легкомортирном артиллерийском дивизионе, — он считал дни, писал нежные, истинно материнские письма. «Ну, дорогой мой, кровный мой, мальчик мой. Крепко и сладко целую твои глаза и всего тебя...»; «Проводили тебя (после короткой побывки — О. М.) — снова из меня душу вынули». Когда многопудовые германские «чемоданы» обрушивались на русские окопы, тревожился, сделал ли его «растрепка», «ласточка» прививку и кутает ли он шею шарфом. Он стремился привить сыну свою любовь к народу:

«Думаю, что много хорошего и даже чудесного сумеешь увидеть в русском человеке и полюбить его, видавшего так мало счастливой доли. Закрой глаза на его отрицательное (в ком его нет?), сумей извинить его, зная историю и теснины жизни. Сумей оценить положительное»[1].

В 1920 году офицер добровольческой армии Сергей Шмелев, не пожелавший уехать с врангелевцами на чужбину, был взят в Феодосии из лазарета и без суда расстрелян. И не один он. Как рассказывал 10 мая 1921 года Буниным И. Эренбург, «офицеры остались после Врангеля в Крыму главным образом потому, что сочувствовали большевикам, и Бела Кун расстрелял их только по недоразумению. Среди них погиб и сын Шмелева...»[2].

Страдания отца описанию не поддаются. В ответ на присланное Буниным приглашение выехать за границу, «на работу литературную», тот отвечает письмом, «которое (по свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной) трудно читать без слез»[3]. В 1922 году Шмелев выезжает сперва в Берлин, а потом в Париж.

Поддавшись безмерному горю утраты, он переносит чувства осиротевшего отца на свои общественные взгляды и создает тенденциозные рассказы-памфлеты и памфлеты-повести — «Каменный век» (1924), «На пеньках» (1925), «Про одну старуху» (1925). Непримиримость свою сохранил и в годы второй мировой войны, унизившись до участия в пронацистских газетах.

Однако творчество Шмелева в последние три десятилетия не может быть сведено к его узкополитическим взглядам.

Из Франции, чужой и «роскошной» страны, с необыкновенной остротой и отчетливостью видится Шмелеву старая Россия. Из потаенных закромов памяти пришли впечатления детства, составившие книги «Родное», «Богомолье», «Лето Господне», совершенно удивительные по поэтичности, изобразительности языка. Вослед Островскому и Лескову описывает Шмелев уже канувшую в прошлое патриархальную жизнь, славит русского человека, с его душевной широтой, ядреным говорком, грубоватым простонародным узором расцвечивая «преданья старины глубокой» («Небывалый обед»), обнаруживая «почвенный» гуманизм, по-новому освещая давнюю свою тему «маленького человека» («Наполеон», «Обед для «разных»).

Если говорить о «чистой» изобразительности, то она только растет у него от книги к книге, являя нам примеры яркой метафоричности («звезды усатые, огромные, лежат на елках»; «промерзшие углы мерцали серебряным глазетом»). Но прежде всего изобразительность эта служит воспеванию национальной архаики («Тугое серебро, как бархат звонкий. И все запело, тысяча церквей»; «Не Пасха — перезвону нет; а стелет звоном, кроет серебром, — как пенье без конца-начала, гул и гуд»). Надо сказать, что православие это не просто церковноуставное, а простонародное, сросшееся с другими, чисто языческими чертами. Праздники, обряды, тысячи бытовых мелочей отошедшей жизни возвращает нам в «Лете Господнем» Шмелев, поднимаясь как художник до высот словесного хорала, славящего Замоскворечье, Москву, Русь...

Сам Шмелев мечтал вернуться в Россию, хотя бы посмертно. Племянница его, собирательница русского фольклора Ю. А. Кутырина, писала автору этих строк 9 сентября 1959 года из Парижа: «Важный для меня вопрос, как помочь мне — душеприказчице (по воле завещания Ивана Сергеевича, моего незабвенного дяди Вани) выполнить его волю: перевезти его прах и его жены в Москву, для упокоения рядом с могилой отца его в Донском монастыре...»

Последние годы своей жизни Шмелев проводит в одиночестве, потеряв жену, испытывая тяжелые физические страдания. 24 июня 1950 года, уже тяжело больной, он отправляется в обитель Покрова Божьей Матери, основанную в Бюси-ан-От, в 140 километрах от Парижа. В тот же день сердечный припадок обрывает его жизнь.

Сейчас в Россию, на Родину возвращаются шмелевские книги. И среди них — яркая и заповедная: «Лето Господне», недавно вышедшая в издательстве «Советская Россия». Отрывок из нее — «Яблочный спас», несомненно, воскресит в вашей памяти пережитые счастливые дни.

Борис Зайцев был во всех отношениях «последним» в русском зарубежье. Он умер в 1972 году в Париже, не дожив двух недель до того, как ему должен был исполниться девяносто один год; долгое время состоял председателем парижского союза русских писателей и журналистов; пережил едва ли не всю «старую» эмиграцию.

В богатой русской литературе нашего века Зайцев оставил свой, заметный след, создал художественную прозу, преимущественно лирическую, без желчи, живую и теплую.

Детские годы писателя связаны с калужской землей. Он родился в 1881 году в Орле в дворянской семье и годовалым ребенком был перевезен в село Усты Жиздринского уезда Калужской губернии. Затем — гимназия и реальное училище в Калуге, тихом губернском городе на высоком, живописном берегу любимой Оки. «Прорезает Ока чуть не всю среднюю Россию — на ней расположен Орел Тургенева, Лескова, Бунина, Леонида Андреева», — говорил в последнем в своей жизни интервью слависту, ныне профессору Сорбонны Ренэ Герра Б. Зайцев, упоминая и любимых своих земляков и писателей. «Тосканией нашей российской» именовал он тульско-орловско-калужский край.

Еще в гимназии, в 1897 году, Зайцев прочел сборник рассказов Чехова «Хмурые люди». Как вспоминал он, «этот писатель покорил. Тургенев — великое прошлое, этот живой, свой, такой близкий по духу». Именно Чехову в Ялту с замиранием сердца послал юный студент одну из первых своих рукописей. Сохранилась чеховская телеграмма Зайцеву о его повести «Неинтересная история»: «Холодно, сухо, длинно, не молодо, хотя талантливо». Зная суровость, даже «свирепость-беспощадность» нелицеприятных чеховских оценок, эту воспринимаешь как добрый аванс молодому литератору.

В амальгаме живых, первородных впечатлений Центральной России, книжных философских влияний, воздействия раз-

---

[1] Письмо от 29 января 1917 года. — Отдел рукописей ГБЛ.

[2] Устами Буниных... — Т. 2. — С. 37.

[3] Там же. — С. 99.

народных — подчас взаимоисключающих — новых веяний в литературе и складывались первые вещи Зайцева: «В дороге», «Волки», «Мгла», «Священник Кронид», «Деревня», «Миф» и т. д. Первая книжка рассказов, вышедшая в 1906 года, подвела некоторые итоги и вызвала одобрительный отзыв А. Блока в его известной статье «О реалистах»: «Есть среди «реалистов» молодой писатель, который намеками, еще отдаленными пока, являет живую, весеннюю землю, играющую кровь и летучий воздух. Это — Борис Зайцев».

Пантеистическое начало в ранних зайцевских произведениях сильно заметно: от него чувство слиянности с природой, ощущение единого, живого и восходящего к космосу мира, где все взаимосвязано — люди, волки, поля, небо. Отсюда и некая «безличность» зайцевской прозы, о которой писал в своей характерной, заостренной, даже утрированной манере Корней Чуковский: «Грибы и телята, и люди, и страусы, и собаки, и яблоки, и рыбы, и медведи, — все сливается для Зайцева в одно безликое, безглазое, «сплошное» животное, облепившее землю, текучее, плодоносящее, неоскудевающее чревом, без слов, без мыслей — прекрасное, упоительное именно своей «сплошностью», «безглазостью», «безмыслием». В то же время зайцевский пантеизм, его «язычество», в котором Чуковский находил нечто уитменовское, рубенсовскую «животную» веру, воплощен с помощью нежных словесных красок, импрессионистического письма, подсвеченного мягким авторским лиризмом.

Оригинальность, самобытность первых произведений Зайцева широко открывает ему двери самых разных изданий — газет «Утро России» и «Речь», журналов «Правда», «Новый путь», «Вопросы жизни», «Золотое руно», «Перевал»...

Движенье писателя в 1900-е годы можно определить как путь от модернизма к реализму, от пантеизма — к идеализму, к простой и традиционной русской духовности, от Леонида Андреева и Федора Сологуба — к Жуковскому и Тургеневу, к Сергию Радонежскому, от «языческих» метафор — к спокойной уравновешенности и прозрачности слога.

Если говорить о дореволюционном творчестве Зайцева в целом, то итоговой по отношению к нему можно считать повесть «Голубая звезда» с ее центральным героем, бескорыстным и чистым мечтателем Христофоровым. Дух и искания интеллигенции русской накануне великих социальных потрясений выражены в ней в слове прозрачном, создающем особенное, «зайцевское» настроение.

Здесь, очевидно, и проявляется тайна его художественного дарования, магия его воздействия на читателя. То, о чем позднее сказал поэт и критик Г. Адамович: «Он не резонерствует, он крайне редко заставляет своих героев рассуждать, высказывать отвлеченные мысли. Бунин тоже этого не любил, а Зайцев любит еще меньше. Но в искусстве создавать то, что прежде было принято называть «настроением», у Зайцева едва ли найдутся соперники. Он обладает какой-то гипнотической силой внушения, и как бы порой ни хотелось сопротивляться этому чуть-чуть прохладному благодушию, этой нежности и печали, в конце концов, закрывая книгу, чувствуешь, что зайцевская тончайшая паутинка тебя опутала. Зайцев на все глядит по-своему, обо всем по-своему рассказывает и, хотим мы того или не хотим, этим «своим» он наделяет и читателя».

События двух революций и гражданской войны явились тем потрясением, которое окончательно изменило и духовный, и художественный облик Зайцева. Он пережил немало (в февральско-мартовские дни семнадцатого года в Петрограде был убит толпой его племянник, выпускник Павловского юнкерского училища: сам Зайцев перенес лишения, голод, а затем и арест, как и другие члены Всероссийского комитета помощи голодающим). В 1922 году вместе с издателем З. И. Гржебиным он выехал в Берлин, за границу. Как оказалось, навсегда.

Пережитое, страдания и потрясения вызвали в Зайцеве религиозный подъем; с этой поры, можно сказать, он жил и писал при свете Евангелия. Это отразилось даже на стиле, который сделался строже и проще, многое «чисто» художественное, «эстетическое» ушло — открылось новое. Но о чем бы ни писал — о Москве революционной или о великом живописце Возрождения, — тональность была как бы единая: спокойная, почти летописная.

Если говорить о позиции писателя, на расколовшийся, на отторгнутый от него мир взирающего, то это будет, говоря зайцевскими же словами, «и осуждение, и покаяние», «признание вины». Взгляд религиозный, хоть и «в миру» высказанный, кротость в соединении с твердостью взгляда. Это характерно и для первой крупной вещи, написанной в эмиграции, — романа «Золотой узор», и для небольшой работы «Преподобный Сергий Радонежский».

Читая жизнеописание знаменитого русского святого четырнадцатого века, отмечаешь одну особенность в его облике, Зайцеву, видимо, очень близкую. Это скромность подвижничества. «В этом отношении, как и в других, — говорит Зайцев, — жизнь Сергия дает образ постепенного, ясного, внутренне здорового движения. Это непрерывное, недраматическое восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг почувствовавшего себя Павлом, — не его путь».

Одним из главных художественных памятников России отошедшей, самым обширным из писаний Зайцева является его автобиографическая тетралогия — «Путешествие Глеба» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950), «Древо жизни» (1954). Вместе с другими крупными писателями русского зарубежья, именно вдалеке от Родины обратившимися к впечатлениям детства, отрочества, молодости, создает он «историю своей жизни», «наполовину автобиографию». В списке этом выделяется, конечно, «Жизнь Арсеньева» Бунина, хотя и прочие книги отмечены блеском поэзии, сладким и горьким сном прошлого. Именно «издалека» Россия виделась значительнее, крупнее.

Главная мысль тетралогии (впрочем, как и всего позднего творчества Зайцева), может быть определена его словами, высказанными в одном из очерков о любимой (можно сказать, второй после России духовной родины) Италии: «Времени нет. Пока жив человек... Бывшее полвека столь же живо, а то и живее вчерашнего...» И в другом месте: «Все достойное живет в вечности этой».

Заключительные страницы последней, четвертой книги — «Древо жизни» — навеяны путешествием Зайцева с женой в июле — сентябре 1935 года в «русскую Финляндию» — новая вспышка ностальгической тоски по Родине и признание в сыновней любви к ней. Сохранились письма той поры другу и любимому художнику — Бунину, где темы эти проходят лейтмотивом.

Именно неотступная мысль о России подвигает Зайцева к созданию серии беллетризованных биографий — В. А. Жуковского (1951), И. С. Тургенева (1932), А. П. Чехова (1954). Необычен, оригинален самый жанр, избранный Зайцевым. Это очень «личные» книги.

Любовь к человеку, к великой цивилизации и великой культуре, которая, по мысли Данте, движет Солнце и другие звезды, двигала и пером Зайцева. Этот замечательный писатель был в высшей степени наделен даром предугадывать будущее. Быть может, оттого, что трезво и спокойно оценил прошлое — ту прошлую, подобно «Титанику», затонувшую Россию, трагическую обреченность которой так хорошо осознавал.

«Тучи мы не заметили, — подытоживал он закономерность свершившегося, — хоть бессознательно и ощущали тягость. Барометр стоял низко. Утомление, распущенность и маловерие как на верхах, так и в средней интеллигенции — народ же «безмолвствовал», а разрушительное в нем копилось.

Материально Россия неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой, дух смятения и уныния овладевал (...).

Тяжело вспоминать. Дорого мы заплатили, но уж значит достаточно набралось грехов. Революция — всегда расплата. Прежнюю Россию упрекать нечего: лучше на себя оборотиться. Какие мы были граждане, какие сыны России, Родины?»

Вот она, быть может, святая святых Бориса Константиновича Зайцева, внутренний источник его тихого негасимого света. Взять на себя ответственность, идти от своей вины и видеть в этом залог доброго будущего. Его медленная и упорная борьба за «душу живу» в русском человеке, его настойчивое утверждение ценностей духовных, без которых люди потеряют высший смысл бытия, а значит, и право именоваться людьми, обещают книгам Зайцева не просто возвращение в Россию, но исключительную возможность воздействия и в новой жизни.

Три небольшие миниатюры, с которыми вы познакомитесь, едины в душевном волеизлиянии писателя — в них живет Россия, далекая и очень близкая, близкая до мельчайших оттенков, и незабываемая.. И все три в Советском Союзе публикуются впервые.

ИВАН ШМЕЛЕВ

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС



Завтра — Преображение, а после завтра меня повезут куда-то к Храму Христа Спасителя, в огромный розовый дом в саду, за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию, и я учу и учу «Священную Историю» Афинского. «Завтра» — это только так говорят, — а повезут годика через два-три, а говорят «завтра» потому, что экзамен всегда бывает на другой день после Спаса-Преображения. Все у нас говорят, что главное — Закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице, но все-таки очень страшно, так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного «щелкуна», который грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в холодок под доски, на кучу стружек, и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка, — скажет, — расскажи мне чего-нибудь из божественного...» Я ему расскажу, и он похвалит.

— Хорошо умеешь, — а выговаривает он на «о», как и все наши плотники, и от этого, что ли, делается мне покойней, — не бось, они тебя возьмут в училище, ты все знаешь, а вот завтра у нас Яблошный Спас... про него умеешь? Та-ак. А яблоки почему кропят? Вот и не так знаешь. Они тебя вспросют, а ты и не скажешь. А сколько у нас Спасов? Вот и опять не так умеешь. Они тебя учнуть вспрашивать, а ты... Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть.

— Да нету же ничего... — говорю я, совсем расстроенный, — написано только, что святят яблоки!

— И кропят. А почему кропят? А-а! Они тебя вспросют, — ну, а сколько, скажут, у нас Спасов? А ты и не знаешь. Три Спаса. Первый Спас — загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный, — медовый Спас, Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно выламывать, пчела не обижается... уж пошабашила. Второй Спас, завтра который вот, — яблошный, Спас-Преображение, яблоки кропят. А почему? А вот. Адам-Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не велено было, от греха! А Христос возшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до окропенья поест, у того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окроплено, то без вреда. А третий Спас называется орешный, орехи поспели, после Успенья. У нас в селе крестный ход, икону Спаса носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшке насбираем мешок орехов, а он нам лапши молочной — для розговин. Вот ты им и скажи, и возьмут в училищу.

Преображение Господне... Ласковый, тихий свет от него в душе — доныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, — зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу, — не идет ли уж крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко, грушовка в нашем саду, — поспела, закраснелась. Будем ее трясти — для завтра. Горкин утром еще сказал:

— После обеда на Болото с тобой поедем за яблоками.

Такая радость. Отец — староста у Казанской, уже распорядился:

— Вот что, Горкин... Возьмешь на Болоте у Крапивкина яблок мер пять-шесть, для прихожан и ребятам нашим, «бели», что ли... да наблюдных, для освящения, покрасовитей, меру. Для причта еще меры две, почище каких. Протодьякону особо пошлем меру апортовых, покрупней он любит.

— Ондрей Максимыч земляк мне, на совесть дает. Ему и с Курска, и с Волги гонят. А чего для себя прикажете?

— Это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез, астраханский, сахарный...

— Орбузы у него... рассахарные всегда, с подтреском.



КУДЕСНИКИ СЛОВА

Самому князю Долгорукову посылает! У него в лобазе золотой диплом висит на стенке под образом, каки орлы-те!.. На всю Москву гремит.

После обеда трясем грушовку. За хозяина — Горкин. Приказчик Василь-Василич, хоть у него и стройки, а полчасика выберет — прибежит. Допускают еще, из уважения, только старичка-лавочника Трифоныча. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто: лето сухое, деревья поредели и подсохли, много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечики, и кажется, что и от этого треска исходит свет — золотистый, жаркий. Разросшаяся крапива и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро; и обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблони — глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок, и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет к грушовке, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак.

— Погоди, стой... — говорит он, прикидывая глазом. — Я ее легким трясом, на первый сорт. Яблочко квелое у ней... ну, маненько подшибем — ничего, лучше сочком пойдет... а силой не берись!

Он прилаживается и встряхивает, легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов, и пронзительно-едкий — от крапивы, мешаются со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи, — от яблок. Ползают все, даже грузный Василь-Василич, у которого лопнула на спине жилетка, и видно розовую рубаху лодочкой; даже и толстый Трифоныч, весь в муке. Все берут в горсть и нюхают: ааа... грушовка!..

Зажмуришься и вдыхаешь — такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко, такая душистая сладость-крепость — со всеми запахами согревшегося сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Нежаркое уже солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях, на яблочках...

И теперь еще, не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушовку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься, — и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое, — маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший... с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой и красной смородины, крыжовника виноградного, с пышными лопухами и крапивой, далекий сад... — до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея, — все, до последнего яблочка верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко!.. И двор увидишь, с великой лужей, уже повысохшей, с сухими колеями, с угрязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой... и серые сараи, с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и вознесенную до амбарной крыши гору кулей пузатых, с овсом и солью, слежавшеюся в камень, с прильнувшими цепко голубями, со струйками золотого овсеца... и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки...

— Да пускай, Панкратыч!.. — оттирает плечом Василь-Василич, засучив рукава рубахи, — ей-Богу, на стройку надоть!..

— Да постой, голова елова... — не пускает Горкин, — побьешь, дуролом, яблочки...

Встряхивает и Василь-Василич: словно налетает буря, шумит со свистом, — и сыплются дождем яблочки, по голове, на плечи. Орут плотники на досках: «эт-та тряха-ну-ул, Василь-Василич!» Трясет и Трифоныч, и опять Горкин, и еще раз Василь-Василич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей.

— Эх, бывало, у нас трясли... зальешься! — вздыхает Василь-Василич, застегивая на ходу жилетку, — да иду, чоррт вас!..

— Черкается еще, елова голова... на таком деле... — строго говорит Горкин. — Эн еще где хоронится!.. — оглядывает он макушку. — Да не стрясешь... воробьям на розговины пойдет, последышек.

Мы сидим в замятой траве; пахнет последним летом, сухою горечью, яблочным свежим духом; блестят паутинки на крапиве, льются-дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков.

— Осенние-то песни!.. — говорит Горкин грустно. — Прощай, лето. Подошли Спасы — готовь запасы. У нас ласточки, бывало, на отлете... Надо бы обязательно на Покров домой съездить... да чего там, нет никого.

Сколько уж говорил — и никогда не съездит: привык к месту.

— В Павлове у нас яблока... пятак мера! — говорит Трифоныч. — А яблоко-то какое... па-влов-ское!

Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев в ушки. Выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге:

Крива-крива ручка,
Кто даст — тот князь,
Кто не даст — тот соба-чий глаз.
Собачий глаз! Собачий глаз!

Горкин отмахивается, лягается:

— Ма-хонькие, что ли... Приходи завтра к Казанской — дам и пару.

КНИГИ И. С. ШМЕЛЕВА

СОЧИНЕНИЯ. Изд. 2-е. М.: Книгоизд. писателей, 1917.

Неупиваемая чаша. Забавные приключения. Рассказы. Париж: Русская земля, 1921.

Неупиваемая чаша. Повесть М.: Кооперат. т-во «Задруга», 1922.

Человек из ресторана. Повесть М.: Гос. изд-во, 1922

Служители правды. Повесть. Изд. 3-е. М.: Гос. изд-во, 1922.

Рваный барин. Рассказ. М.—Пг.: Гос. изд-во, 1923.

Стена. Рассказы. М.—Л.: Земля и фабрика, 1928.

Человек из ресторана. М.: Гослитиздат, 1957.

Повести и рассказы. М.: Гослитиздат, 1960.

Повести и рассказы. М.: Худож. лит., 1966.

Повести и рассказы. М.: Худож. лит. 1983.

Лето Господне. Праздники. Радости. Скорби. М.: Сов. Россия, 1988.

КНИГИ Б. К. ЗАЙЦЕВА

Дальний край. М., 1915

Собрание сочинений. Т. 1—7. М., Книгоиздательство писателей в Москве, 1917—1919.

Беседа о войне. М., 1917.

Собрание сочинений. Т. 1—7. Берлин — Пг. — М., 1922—1923.

Путники и другие рассказы. Париж, 1921.

Рафаэль. Книга рассказов. М., 1922.

Данте и его поэма. М., 1922.

Улица св. Николая. Рассказы. 1918—1921. Берлин, 1923.

Преподобный Сергий Радонежский. Париж, 1925.

Странное путешествие. Париж, 1927.

Афон. Париж, 1928.

Дом в Пасси. Берлин, 1935.

Валаам. Таллинн, 1936.

Москва. Париж, 1939.

Москва. Мюнхен, 1960, 1973.

Река времен. Нью-Йорк, 1968.

Голубая звезда: Повести и рассказы. Из воспоминаний. (Сост. предисл. и коммент. Александра Романенко. — М.: Московский рабочий, 1989. (Литературная летопись Москвы).

БОРИС ЗАЙЦЕВ

СЛОВО О РОДИНЕ



Борис Зайцев. Париж, 1924 г.

В России мы некогда жили, дышали ее воздухом, любовались полями, лесами, водами, чувствовали себя в своем народе. Нечесаный, сермяжный мужик был все-таки родной, как и интеллигент российский — врач, учитель, инженер. Жили и полагали: все это естественно, так и надо, есть Россия, была и будет, это наш дом, и особенно с ним мудрить не приходится.

Никак нельзя сказать, чтобы у нас, у просвещенного слоя, воспитывалось тогда чувство России. Скорее — считалось оно само не вполне уместным. Нам всегда ставили в пример Запад. Мы читали и знали о Западе больше, чем о России, и относились к нему почтительнее. К России же так себе, запанибрата. Мы Россию даже мало знали. Многие из нас так и не побывали в Киеве, не видали Кавказа, Урала, Сибири. Случалось, лучше знали древности, музеи Рима, Флоренции, чем Московский Кремль.

С тех пор точно бы целый век прошел. Из хозяев страны, перед которой заискивал Запад, мы обратились в изгнанников, странников, нежелательных, нелюбимых. Не приходится распространяться: все и так ясно.

В нелегких условиях, причудливо, получудесно, но все-таки мы живем. Может быть, и бесправные, но нищи ли мы внутренно? Вот это вопрос. И ответ на него, мой: нет, не нищи.

Святыни бывают различные, и различна их иерархия. Но бесспорно среди них место России. У кого есть настоящая Родина и чувство ее, тот не нищ.

Одно дело — воспринимать изнутри. Другое — со стороны. Судьба поставила нас теперь именно как бы в сторонку. Что же, может быть, в облегченном виде зрение и верней.

Многое видишь в Родине теперь по-иному, иначе оцениваешь. Находясь в стране старой и прочной культуры, ясней чувствуешь, например, что не так молода, многозначительно не молода и не безродна Россия. Когда в самой России жили среди повседневности, деревянных изб, проселочных дорог, неисторического пейзажа, менее это замечали. Издали избы, бани, заборы не так существенны — хотя, конечно, черты природы, запахи, птицы, реки России в спиритуальный пейзаж ее вошли. Все это помним мы и любим... — порою даже мучительно. Но, кроме этого, яснее, чище видим общий, тысячелетний и духовный облик Родины.

Сильнее ощущаешь связь истории, связь поколений и строительства и внутреннее их ядро, отливающее разными оттенками, но в существе своем все то же, лишь вековым путем движущееся. Представляется это движение и значительнее, чем казалось раньше.

Нынешний год для России в некотором смысле юбилейный, он уже назван Владимировским: девятьсот пятьдесят лет крещения Руси.

Князь Владимир Святой — нечто и поэтически-легендарное, и сказочное, и школьное, но вместе — и совсем уже История, началась настоящая, большая История России — под солнечным светом, при солнце! Каков был в действительности этот Владимир, через толщу веков сказать трудно, осталось все же дуновение вольности и широты, широкошумности и света — света, самое главное! Это не та Волчица, что вскармливала Ромула и Рема — навсегда дала железный отблеск Риму. Некие черты поэта были во Владимире. Стороной художественной, видимо, уязвило его и христианство: в свете принято христианство не столь для «порядка», «устоев», нравоучения, сколько за его внутренно-светлый, музыкальный дух. Россия с тем вместе возведена ко вселенскому.

Последствия оказались огромны — для всего творчества. Местное оплодотворено вселенским, но не теряет своеобразия. Зодчие возводят храм св. Софии в Киеве и Новгороде, позже во Владимире, Пскове, Новгородской области, в самой Москве — византийское сочетается со славянским. Живописцы расписывают храмы, те же древние киевские и новгородские святыни, и другие — Успенский Собор в Москве,



северные Ферапонтов, Кирилло-Белозерский монастыри! Являются творения и более «личные» — Дионисий, Андрей Рублев и т. п. Высоты, благородство и спиритуальность иконописи русской по-настоящему поняты и оценены только совсем недавно.

Если взять область звука, поражаешься древностью и возвышенным величием музыки в России. Когда русский духовный хор исполняет на концертах в Париже песнопения старины, т. н. «знаменных распевов», то пред иностранцами — новый мир, а у русского холодок по спине; это вещи сложены около тысячи лет назад, может быть, в Киево-Печерской лавре. Напевы величественны, суровы в своей чистоте, неизукрашенности, писаны «знаменем», т. е. как бы иероглифически, нот теперешних не было, звуки изображались рисуночками. Творения эти уцелели в татарщине. Прошли через всю Россию, вошли в обиход церковный не только областей средне-русских, но и Севера: Валаамского монастыря, Соловецкого, всюду принимая местные черты. И вот в какой-нибудь обители св. Трифона Печенегского, на берегу Ледовитого океана, где монахи живут полгода при незаходящем солнце, полгода в непрерывной тьме, во времена Иоанна Грозного уже пели древние знаменные распевы, прикочевавшие с юга. А царь Федор Иоаннович — музыкант и композитор знаменитых распевов?

Молодая страна! Молодая культура! Мы не только славяне и татары, мы и наследники великого Востока (Византии), Родина наша была и есть гигантский котел, столетиями вываривавший из смесей племен и рас нечто совсем свое и совсем особенное.

Пусть Азия затопила средневековье наше, но вот уцелели и древнее зодчество, и иконопись, и музыка — все перекинулось на север, более пощаженный. Уцелел и таинственный обломок поэзии — ему ровно 750 лет — «Слово о Полку Игореве» — настоящий талисман литературы русской, до конца XVIII в. потаенно укрывавшийся в **единственном списке XVI века** — Спасо-Ярославский монастырь сберег нам его. А теперь «Слово» переведено на многие языки (только что вышел новый, отличный перевод его на французский*). Вызывает оно у иностранцев по-прежнему изумление: как это в России XII века мог существовать такой поэт!

Вот и существовал, может быть, и не один такой существовал: но лишь один дошел до нас.

Пути русского творчества долги, сложны — чрез подвиги наших святых, основателей монастырей и просветителей полудиких племен, чрез творения зодчих, музыкантов, иконописцев, народную песнь и былину, чрез созерцания заволжских старцев, Русь Московскую Алексея Михайловича, Петровский *разрыв-созидание — чрез все многовековое* странствие выходит творящий дух Родины в эпоху, для нас уже не легендарную, а совсем как бы живую и настоящую — девятнадцатый век.

Живя у себя дома, в прежней мирной России, мы сызмальства питались Пушкиными и Гоголями. Отрочество наше озарял Тургенев. Юность — Лев Толстой, позже пришли Достоевский; Чехов. Мы выросли во мнении, что литература наша очень хороша, но она — продолжение всего нашего склада, наших имений, троек, охот. Своя, домашняя.

Так и должно быть, в родном доме должно быть тепло, светло, радостно. Ну, много еще «неустроенного» и «темного» в стране, но все же ничего удивительного, что у нас Толстой и Достоевский, как ни удивительно для ребенка, возрастающего в любящей семье, и семье, им любимой, что мать, отец кажутся существами вообще лучшими, не сравненными ни с кем, и главное — так и надо, иначе быть не может. Отношения «со стороны» нет.

Так и у нас было с нашим, т. е. России богатством духовным. *Но вот нечто произошло, всем известное. Как, почему*, какова цель, не об этом сейчас речь. Важно то, что изменилось положение «сына Родины». Он попал из хозяев в зрители. И тут-то вот и оказалось, что высшее цветение культуры русской, девятнадцатый век, воспринимает он тоже не совсем так, как раньше.

Уже говорилось, что древняя наша духовная культура с чужбины нам кажется и величественней, и значительнее, и старше. Но не одна древняя. И на девятнадцатый век — иной угол зрения. Пушкины и Толстые — не только очаровательное наше домашнее, отцы и деды, земляки по московским и тульским губерниям, вскормившие и вспоившие нашу юность, охранявшие ее подобно домашним ларям. Они выступили теперь на международном сквозняке. И в нем еще выросли. Слово их оказалось не местным, а, в русской одежде, «всеобщим», на весь мир сказанным, и настолько «своим», ни на что не похожим.

Вот голос самого жизнелюбивого, казалось бы, самого «ренессансного» из них, наименее уязвленного стрелой. А все-таки:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Ведь это еще Пушкин, до решительного гоголевского перелома в литературе нашей — а что же Гоголь сам, и Достоевский, и Толстой, Тургенев, Чехов... Мимо каких это «падших» прошли они равнодушно? Какую «милость» могли отвергнуть? Некий общий климат литературы русской девятнадцатого века, неповторимый и незаменимый. Из «прохладного» Запада, на фоне крепко, иной раз жестко очерченного его духовного пейзажа — пейзаж и климат русской литературы выступает несколько душевнее и трогательнее. Человечнейший и христианнейший из всех... — это только теперь мы с особенною остротою почувствовали. А где корни его? Сложно и путано историческое плетение, все-таки можно сказать: девятнадцатый русский век, со всей славой его, не с неба свалился. *Создан сынами тысячелетней России. Ярчайший ее* плод.

Нельзя сказать, чтобы и мир его не заметил. Вот столетие Пушкина. Оно отпраздновано в десятках городов, десятках стран Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии. Лев Толстой безраздельно властвует над «планетой» нашей. Чехов слышен в Лондоне, Нью-Йорке, Австралии.

Европейскими лаврами увенчан Бунин.

Не меньше того и в музыке. По всему свету ходит теперь и Мусоргский, и Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов, Стравинский, Гречанинов. А Шаляпин? Мы только что видели его похороны — кажется, в первый раз оказан такой почет иностранному артисту.

Для русского человека в изгнании мировая слава Родины и сознание мировой значительности духа русского имеет и еще оттенок: защиты, укрытия в одиночестве и заброшенности. Даже больше — связи, соединения. Не просто мы бесприютные. «Кое-что» за плечами и есть. Сейчас мы в изгнании, а что завтра будет, еще неизвестно. Наследие же, *история, величие Родины — этого не отнять. И поклонения* не отнять, и надежды.

Может быть, не всегда ведь будет так, как сейчас. Не вечно же болеть «стране нашей Российской». Возможно, приближаются новые времена — и в них будет возможно возвращение в свой, отчий дом.

Так что вот: блеск культуры духовной, в древности, своеобразие, блеск ее и в новое время, величие России в тысячелетнем движении и ощущение почти мистическое — слитности своей сыновней с отошедшими, с цепью поколений, с грандиозным целым, как бы существом. Сквозь тысячу лет бытия на горестной земле, борьбы, трудов, войн, преступлений — немеркнущее духовное ядро, живое сердце, — вот интуиция Родины. Чужбина, беспризорность, беды — пусть. Негеройская жизнь, обывательская, но над нею нечто.

Думается и так: те, кому дано возвратиться на Родину, не гордыню или заносчивость должны принести с собой. Любить — не значит превозноситься. Сознавать себя «помнящими родство» не значит ненавидеть или презирать иной *народ, иную культуру, иную расу. Свет Божий просторен*, всем хватит места. В имперском своем могуществе Россия объединяла в прошлом. Должна быть терпима и не исключительна в будущем — исходя именно из всего своего духовного прошлого: от святых ее до великой ее литературы все говорили о скромности, милосердии, человеколюбии. И не только говорили.

Святые юноши — князья Борис и Глеб, например, первые страстотерпцы наши, подтвердили это самой мученической своею смертью, завещав России свой «образ кротости». Этого забывать нельзя. Истинная Россия есть страна милости, а не ненависти.

* Кульмана и Беагель. Это уже пятый перевод на французский язык.

ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Когда я был ребенком, мы жили в Жиздринском уезде Калужской губернии, в селе Усты. На лето выезжали иногда в имение отца под Калугу, на Оке. Ездили на лошадях, с кормежками и отдыхали в пути, с медлительною основательностью прошлого. Правда, в этой основательности было многое вхождение в Россию, такая жизненная с ней близость, какой не могут дать быстрые передвижения. И вот сейчас — через столько лет! — как живые видишь Брынские леса, березы большака под Козельском, осенние зеленя у Перемышля.

Отправлялись обычно с утра, очень рано. В Сухиничах «кормили», т. е. останавливались в грязной гостинице на базарной площади и давали отдых лошадям. Подкреплялись и сами захваченной из дому снедью. Часа через три тройка уже вновь запряжена, опять большак и опять справа синеют леса, слева поля, иногда проезжаем мимо имений — впереди, к вечеру, Козельск.

В Козельске ночевали. Этот городок мне всегда нравился — Сухиничи и Перемышль просто захолустье, убожество, тоска уездного городишки, но в Козельске лучше и поэтичнее: много церквей, зелени, все понарядней, чудесный луг по Жиздре, а за нею бор, в нем знаменитый монастырь — кажется, купола его видны и из Козельска.

Какое-то свое действие на Козельск Оптина Пустынь имела, я уверен. Или, может быть, и возникла около него не случайно — Козельск древний, благородный городок, некогда геройски отбивший татар (помнится, там была даже княгиня-мученица). Так что это Русь вековая, прославленная. Около лабазов Сухиничей монастырь не возник бы.

Наша семья не была религиозна. По тому времени просвещенные люди, типа родителей моих, считали все «такое» суеверием и пустяками. Так что ребенком, не раз проезжая в двух-трех верстах от Оптиной, я ни разу ее не посетил.

Но в Устах водилось у меня много приятелей, разных Савосек, Масеток, Романов, да и нянюшка Дашенька, кухарка Варвара не раз рассказывали об Оптиной и удивительном старце Амвросии. Наши бабы из Устов ходили к нему за советами, слава его была очень велика, текла самотеком, из уст в уста, без шуму, но с любовью. Знали, что если в жизни недоумение, запутанность, горе — надо идти к о. Амвросию, он все разберет, утишит и утешит.

* * *

Судя по тому, что потом приходилось читать и слышать об Оптиной, укрывавшейся золотыми своими крестами в лесах, это обитель, прославившаяся благодаря старчеству. За девятнадцатый век в ней прошла целая династия старцев. Старцы не управляли ничем, они жили отдельно, в скиту, и являлись живым словом монастыря в миру: мир шел к ним за помощью, советом, поучением. Это давало, конечно, глубокую, сердечную связь монастыря с миром, святыня становилась не отдаленно-сияющею, а своей, родной.

История монастыря дает несколько обликов старцев. О. Леонид, простонародный и прямой, с оттенком юродства. Тихий и некрасивый, но просвещенный о. Макарий, любитель духовной литературы и музыки, издающий совместно с Иваном Киреевским писания о. Паисия Величковского (основателя старчества). Наконец, о. Амвросий, наиболее из всех прославленный, быть может наиболее гармонический и ясный тип оптинского старца. Нектарий, Анатолий — целый ряд*.

Я представляю себе жизнь и «творчество» монастыря так: допустим, я паломник. Подъезжаю со стороны Козельска к реке Жиздре. Вокруг луга, за рекою вековой бор. Чтобы попасть в монастырь, надо переправиться на пароме: вода — черта легкая, но все же отделяющая один мир от другого. Наверно, еще два-три богомольца будут на этом пароме. Монах тянет веревку, кучер слезет, станет помогать. Поплескивает вода, мы будто бы стоим, а уже берег отделился. Кулик низко пролетит к отмели той самой Жиздры, где мальчиком ловил я пескарей. Будет пахнуть речною влагой, лугами, а главное — сосновым бором. Там, среди лесов, четырехугольник монастыря с высокою белой колокольней в средине. По углам стен — башни. Ямщик привезет меня в монастырскую гостиницу — большая прелесть в чистых половичках на лестнице, в цветах на окне номера, иконах в углу с теплящейся лампадкой, видами обители на стенках, в запахе кипариса, ладана, постных щей — это все знакомо по Афону, вероятно, в Оптиной имело еще более русский облик. (Над Афоном всегда веяние Эллады, там не может быть запаха русского бора).

Тишина, скромность, благообразие долгих церковных служб... Но это как обычно в монастыре. И вот иду дорожкою среди сосен, от монастыря в скит к старцу — тою самою дорожкою, какой ходит Алеша Карамазов. Смерть Зосимы, ночь сомнений Алешиных, «Кана Галилейская», вечный шум этих сосен, ночные звезды, по которым ощутил он вновь Истину... Но сейчас солнечное утро. Мы вступаем в ограду скита. Здесь разбросано несколько домиков, среди них небольшая церковь. Около домиков цветы. Деревянные дорожки проложены от одного к другому. Очень тихо. Сосны шумят, цветы цветут, пчелы жужжат, солнце греет,.. — вот облик скитской жизни.

Мы подымемся на одно из крылечек, войдем в коридор. Направо будет дверь в зальце-приемную, налево — в комнату старца. Уже посетители собрались, ждут. Из окон видны розы и мальвы и левкои цветника. Старец еще не вышел, он читает полученные за день письма, диктует ответы, некоторые пишет сам.

* * *

Я слышал рассказ одного близкого мне человека из артистического мира, прожившего в Оптиной довольно долго, много наблюдавшего за старцами. Они произвели на него глубочайшее впечатление. (Это было незадолго до войны. Я думаю, он видел Анатолия (младшего), Нектария и Варсонофия.) Помню, он отмечал в них соединение высокой аристократичности, тончайшей духовной выделки с простонародно русским обличьем. Острейшую душевную проницательность утверждал он — способность сразу и безошибочно определять человека, видеть его насквозь, со всеми его болями, радостями, дарованиями и грехами. Он называл их «великими художниками души». В противоположность о. Иоанну Кронштадтскому, они вполне далеки от экстаза и нервной экзальтации. Спокойная и кроткая любовность — основа их.

И вот, если бы я был оптинским паломником, я ждал бы в солнечном утре в зальце выхода о. Амвросия — принес бы ему грешную свою мирскую душу. Как взглянул бы он на меня? Что сказал бы? Жутко перед взглядом человека, от которого ничто в тебе не скрыто, которого долгая, святая жизнь так облегчила, истончила, что как будто через него уж иной мир чувствуется. Мог ли бы я ему отдаться? Вот что важно. (Мне лично кажется это чрезвычайно трудным.) Ведь в старчестве так: если я не случайный посетитель «зальца», то кончается тем, что я выбираю себе старца духовным руководителем, вручаю ему свою волю, и что он скажет, так тому и быть, я должен безусловно, безоглядно ему верить — это предполагает совершенную любовь и совершенное пред ним смирение. Как смириться? Как найти в себе силы себя отвергнуть? А между тем, это постоянно бывает, и наверное для наших измученных и загрязненных душ полезно... Впрочем, я не видал никогда Амвросия и не познал его действия на себе.

О. В. Ш. в своей «Записи» рассказывает, как старец Варсонофий женил его самого, В. Ш. — выбрал ему невесту, ей тоже внушил, за кого она должна выйти — какой гигантский мир в скромных праведниках, какая сила! Но ведь и даны им дары необычайные — В. Ш. вскользь упоминает, что старец Нектарий читал письма, не распечатывая их — просто сортировал: налево просьбы, вот это благодарственные, тут надо ответ дать, и т. п.

О. Амвросий был старец болезненный, к шестидесяти пяти годам сильно ослабевший. Его жизнь такая: вставал около

* Подробнее см. в книге о. С. Четверикова «Оптина Пустынь» и в «Записи» о. В. Ш.

четырех, в постели умывался теплой водой, стоя на коленях. Келейник вычитывал ему правило, затем начиналось чтение писем (он получал их до шестидесяти в день), и только к девяти, напившись чаю, выходил к посетителям. Высокого роста, сгорбленный, ходил в ватном подряснике. Когда снимал камилавку, открывался большой умный лоб его. Редкая длинная борода, очень добрые проницательные глаза. Его ждала «вся Россия» — простая, страждущая Русь, женщины, дети. Келейник докладывал: «там, батюшка, собрались разные народы — московские, смоленские, вяземские, тульские, калужские, орловские — хотят вас видеть».

Старец молился перед иконой Богоматери, затем начинал расточать себя. Любовь, ее обилие! На всех хватало любви. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы» — они и шли. Не было для о. Амвросия неважного, малого человеческого горя, говорит о. Четвериков, хорошо его знавший. Он принимал с 9 до 12-ти, потом с 2-х до вечера, и иногда, уже совсем ослабший от болезни, усталый, беседовал *лежа на своей койке* — но беседовал. И с чем только к нему не являлись! Под его защиту, помощь шла обманутая девушка, отвергнутая родителями и обществом, а вот у святого человека этот «незаконный» мальчик бегал и прыгал по келье, старик ласкал его, ободрял мать и даже материально ей помогал.

Спрашивали, выходить ли замуж, жениться ли, ехать ли на заработки. Спрашивала баба со слезами, как ей кормить господских индюшек, чтобы не дохли. Он спокойно ее расспрашивал и давал совет, а когда указывали ему, что напрасно он теряет время на такие пустяки, говорил: «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь».

Так раздавал он себя, не меряя и не считая. Не потому ли всегда хватало, всегда было вино в мехах его, что был соединен он *прямо с первым и безграничным океаном любви*?

* * *

Все это происходило так ужасно давно! Мест, где прошло мое раннее детство, я не видал десятки лет. Жизнь изменилась безмерно. Вероятно, нет нашего белого, двухэтажного дома в Устах, ничего не осталось от усадьбы в Буданове, под Калугою, куда мы ездили. Через Сухиничи давно прошла железная дорога, и никто не ездит более «на долгих». Козельск, наверно, все такой же... Оптиной... просто нет.

Всю горечь, всю тяжесть неравной борьбы за нее пришлось вынести старцам Анатолию и Нектарию — могиканам оптинской династии. Революция надвигалась — злобная, бешено разрушительная. Оптина Пустынь погибла, т. е. здания существуют, но их назначение иное. Место, где бывал Гоголь, куда приезжали Соловьев и Достоевский, где жил Леонтьев и куда наведывался сам Толстой — *ушло на дно таинственного озера* — до времени. В новой татарщине нет места Оптиной. Вокруг, по лесам Брынским, по соседним деревушкам, таятся бывшие обитатели обители. Появились *в окрестностях* и новые люди — православные из Москвы, художники, люди высокой культуры, селятся вблизи бывшего монастыря, как бы питаются его подземным светом. Собирают и записывают черты высоких жизней старцев, некоторые работают, есть и такие, кто приезжают на лето из города; как бы на дачу. Мне недавно пришлось у знакомых читать описание Пасхальной ночи — оттуда. Как сияла огнями сельская церковь за рекой, как река разлилась и надо было в лодке плыть к заутрене — я знаю и сам, как черны эти ночи пасхальные у нас в деревне, как жгут звезды, как плывут, дробятся отражения плошек и фонариков в реке, как чудно и таинственно — плыть по воде святою ночью.

Далекий разлив, тьма, благовест... да воскреснет Бог и да *расточатся враги Его*.

К МОЛОДЫМ!

Быть может, позволительно тем, кому не увидеть уже «все небо в алмазах», т. е. «старшим», пожелать чего-то русской ищущей и горячей, даже в блужданиях своих, молодежи.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение...» Это не только для молодежи: это для всех: «в человеках благоволение». Значит: доброе расположение.

Юноши, девушки России, несите в себе Человека, не угашайте его! Ах, как важно, чтобы Человек, живой, свободный, то, что называется л и ч н о с т ь ю, не умирал. Пусть думает он и говорит своими думами и чувствами, собственным языком, не заучивая прописей, добиваясь освободиться от них. Это не гордыня сверхчеловека. Это только свобода, отсутствие рабства. Достоинство Человека есть вольное следование пути Божию — пути любви, человечности, сострадания. Нет, что бы там ни было, человек человеку брат, а не волк. Пусть будущее все более зависит от действий массовых, от каких-то волн человеческого общения (общение необходимо и неизбежно, уединенность полная невозможна и даже грешна; «башня из слоновой кости» — грех этой башни почти в каждом из «нашего» поколения, так ведь и расплата же была за это), — но да не потонет личность человеческая *в движениях народных*. Вы, молодые, *берегите личность*, берегите себя, боритесь за это, уважайте образ Божий в себе и других и благо вам будет.

Вы, молодые писатели родины, вступающие на наш путь, оглядывайтесь на великих отцов ваших, создавших истинную славу России: на золотой наш литературный век, на облики Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова — художников вольного слова, открытого всем сердцам, ибо братски открыты были их сердца. Ни указки, ни палки! Вольное излияние, обуздываемое лишь самим собою, проверяемое, обрабатываемое (не щадя сил, подобно тому, как работал Толстой над «Войной и миром», Гоголь в Риме над «Мертвыми душами»). В тишине, незаметности возрастало великое, на раскладном столе римской комнатки Via Felice писались эти «Мертвые души», за гроши продавал Достоевский мировые свои вещи до прихода мировой посмертной славы.

Любите наше дело. Если вы писатели, для вас главное — любить писание, и самим над ним и мучиться, и радоваться, ни с кем, ни с чем не считаясь.

Вот мои слова к вам, неведомые сотоварищи, неведомое юношество России. Никаких открытий, ничего необычайного. Но есть правда, хоть и известная, и повторять ее следует.

Посылаю эти слова в чувстве благоволения, не как поучение какое-то, а как братское обращение старшего.

КНИГИ ОБ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ

Л. Козелин. Историческое описание Козельской Введенской Оптиной Пустыни и состоящего при ней скита св. Иоанна Предтечи. Часть 1, часть 2. СПб.: 1847, 1862. М.: 1876, 1885.

Л. Козелин. Обозрение Козельского Оптина монастыря и бывших в нем до начала *XVIII столетия храмов.* *Калуга.*: 1857, 1860.

Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и предтечева скита (Калужской губернии). Составленное Е. [illegible] Издание Оптиной Пустыни. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, собственная типография.: 1902.

С. А. Нилус. Святыня под спудом. Сергиев Посад.: 1911.

С. А. Нилус. На берегу Божьей реки. Троице-Сергиев Посад.: 1916. Калифорния.: 1969.

С. Четвериков. Оптина Пустынь. Париж.: 1926.

Рукописное собрание ГБ СССР им. В. И. Ленина. Указатель. Т. 1, вып. 2. 1917—1947. М.: 1947. Собрание Оптиной Введенской Пустыни, с. 272—287.

И. М. Концевич. Оптина Пустынь и ее время. Джорданвиль.: 1970.

Письмо А. Г. Достоевской В. [illegible] Троицкому о пребывании Ф. М. в Оптиной Пустыни в июле 1878 года. (В кн. Памятники культуры. Новые открытия. 1976. М.: Наука, 1977).

В. А. Солоухин. Время собирать камни. Москва, 1980, № 2. То же в кн. В. Солоухин. Время собирать камни. М.: Современник, 1980.

Н. А. Павлович. Оптина Пустынь. Почему туда ездили великие! «Прометей». Т. 12. М.: Мол. гвардия, 1980.

В. Борисов. Оптина Пустынь. Наше наследие, 1988, № 4.

ИЗДАНО ВПЕРВЫЕ

ЧТОБ СЕРДЦЕМ ВОЗЛЕТЕТЬ ВО ОБЛАСТИ ЗАОЧНЫ...

Со школьных лет мы усвоили, что Пушкин, подчеркивая важную роль поэта в обществе, в известном стихотворении представил его в образе библейского пророка: «...и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Такая соотнесенность как бы подкрепляла высоким авторитетом первоисточника пушкинское понимание назначения поэта, идя в русле многовековой традиции использования — прямого или переосмысленного — библейских сюжетов и персонажей в искусстве.

Но вот есть у Пушкина другое стихотворение, — начинающееся строкой: «Отцы пустынники и жены непорочны...», ядром которого является переложение одной из молитв (Ефрема Сирина). Зададимся вопросом: а в этом случае — какова цель обращения Пушкина к сугубо религиозному тексту? Ведь никаких иносказаний — молитва воспроизведена в стихах с замечательной точностью. Остается предположить, что поэта захватило само ее содержание: ее нравственный пафос и человечность, ее мудрость и простодушие, становящиеся под пушкинским пером предметом высокой поэзии.

...А теперь скажем несколько слов об одной любопытной, весьма необычной книге — книге, явившейся — в числе других — показателем тех общественно-культурных перемен, которые происходят в наше время. Книга эта, выпущенная издательством «Художественная литература» под грифом внедренческого объединения «Ноосфера» (и на его средства) и издательского отдела Московского патриархата, называется «Воскрешение» и имеет подзаголовок: сборник духовной поэзии. Составитель ее поэт и председатель объединения О. С. Хабаров.

Строго говоря, понятия «духовная поэзия», «духовные стихи» относятся к одной из форм народно-поэтического творчества, получившей отражение в древнерусских рукописях XV—XVII веков. Эти стихи, возникшие как сплав христианского религиозного сознания, церковной книжности и фольклорной традиции, когда-то распевались нищими — слепцами, каликами перехожими. С течением времени эти стихи приобретали все более книжный характер, закрепляли признаки своеобразного литературного жанра, видоизменялись и развивались вместе с национальной поэтической системой. К XIX—XX векам в русской литературе появляются авторские поэтические обработки тех или иных библейских сюжетов, преданий, богослужебных текстов; стихи, содержанием которых становятся размышления о сути бытия человека, его ценностных ориентациях, его отношениях с миром реальным и — идеальным. Причем последний часто предстает в традиционных религиозно-мифологических образах. Одним из классических образцов в этом роде и является стихотворение Пушкина «Отцы пустынники».

Интеллектуально-нравственная напряженность подобных стихов в известной степени привела к переосмыслению, расширению понятия «духовная поэзия». Оно приобрело, таким образом, значение настроенности авторов на определенный лад, пишущих, слагающих стихи, как сказано у Пушкина, «чтоб сердцем возлететь во области заочны». Вот такой смысл и имеет подзаголовок сборника, о котором у нас идет речь. В него вошли стихотворения более 120 авторов разных поколений от таких звезд русской поэзии, как М. Лермонтов, как И. Бунин, А. Белый, М. Волошин, З. Гиппиус, Вяч. Иванов, Б. Пастернак, а также маститых современников: Б. Ахмадулиной, И. Бродского, А. Жигулина, Б. Окуджавы, Н. Рубцова, В. Солоухина, Н. Тряпкина и других — до впервые встречающихся с читателем. Такое широкое представительство имен, большой диапазон тем, очевидная художественная неравноценность произведений, словом, подлинное многоголосие — придает сборнику тот демократический характер, который был изначально присущ этой поэзии.

«Магистральная тема книги, — пишет в кратком, но очень содержательном вступлении к ней митрополит Питирим, — возрождение духовности, воскрешение исторической памяти, любовь к России, сопровождаемая чувством боли, покаяния и надежды».

Разумеется, представлены в сборнике и стихи, носящие сугубо религиозный характер, — прежде всего те, которые принадлежат служителям церкви, а также другим, по слову митрополита, «исповедникам веры». Но и они, подчеркивается во вступлении, подтверждают, что «религиозные идеалы отнюдь не исключают гражданского пафоса, более того, неотделимы от патриотизма и готовности к активной жизненной позиции».

Но главным, конечно, остается здесь то мироощущение поэтов, которое сопряжено с жаждой воплощения в жизнь высших нравственных ценностей, сознанием личной неотделимости от судеб народа и вековых традиций его жизни, кровной связи с Отчизной.

Учитывая интерес читателей к сборнику, обращающему их внимание, как пишет автор вступления, «на существование целого «метафизического» и «духовного» направления в современной поэзии», его издатели предполагают выпустить второй, куда наряду с поэзией «духовной» войдут и стихи, выражающие — как одно из проявлений высшей духовности человечества — тревогу и озабоченность по поводу жгучей проблемы современности — сохранения среды нашего обитания.

Как и в первом сборнике, мы найдем здесь имена ряда известных поэтов. Но — и это принципиально для обеих книг — преимущественно будут представлены те поэты, знакомство с которыми читателей только начинается.

Публикуем подборку стихотворений из сборника «Воскрешение».

Б. ПЕТРОВ

ИВАН БУНИН

СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил,
в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

РОДИНЕ

Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия —
Безумствуй, сжигая меня.

В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины —
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.
Не плачьте: склоните колени
Туда — в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней!

Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез —
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.

Пусть в небе — кольца Сатурна,
И млечных путей серебро,
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!

ЗИНАИДА ГИППИУС

ЗНАЙТЕ!

Она не погибнет, — знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся, — верьте! —
Поля ее золотые.

И мы не погибнем, — верьте!
Но что нам наше спасенье?
Россия спасется, — знайте!
И близко ее воскресенье.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

РОЖДЕСТВО

В ночи звучащей и горящей
Бесшумно рухнув, мой затвор,
Пронизан славой тверди зрящей,
В сквозной сливается шатер.

Лохмотья ветерок колышет;
Спят овцы; слушает пастух,
Глядит на звезды: небо дышит, —
И слышит и не слышит слух...

Воскресло зримое когда-то
Пред тем, как я родился слеп:
И ребра каменного ската
И мерцанье звездном, и вертеп?..

Земля несет под сердцем бремя
Девятый месяц — днесь, как встарь, —
Пещерою зияет время...
Поют рождественский тропарь.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Скользит слеза из-под опухших век,
Звенят монеты на церковном блюде,
О чем бы ни молился человек,
Он непременно молится о чуде.

Чтоб дважды два вдруг оказалось пять
И розами вдруг расцвела солома,
Чтобы к тебе домой прийти опять,
Хотя и нету ни тебя, ни дома,
Чтоб из-под холмика
с могильною травой
Ты вышел вдруг веселый и живой.

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ

Ворвалась внезапная осень.
Весь мир обложили дожди.
Куда меня ветер забросит?
Остались какие пути?
До солнца? — попробуй дойди.
До сердца? но эта дорога
почти что до самого Бога.

ЮРИЙ ЛОЩИЦ

СОРОК ДНЕЙ

Когда в казарму армии особой
Тебя введут, смущенный новичок,
Ты эту койку походя не трогай,
У этой койки — свой особый срок.

К ней сорок дней никто не прикоснется.
И поперек простынки номерной
Горячей лентой наша память льется
О том, кто нас навек прикрыл собой.

Мы от воронки оттащили Кольку,
И он шепнул, бинтов своих белей:
«На сорок дней мою оставьте койку...
Хочу я с вами... эти сорок дней...»

И сорок дней уральские Сереги
И смуглые рябята из Хивы
Улыбку оставляют на пороге
И здесь не поднимают головы.

И сорок дней, как кровь его живая,
Та лента поперечная горит.
И сорок дней мы молимся, не зная
Ни строчки из отеческих молитв.

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

ФЕРАПОНТОВО

В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.
И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как вода, как трава, как березы,
Диво дивное в русской глуши!
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты небывалой досель...
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле...

ФЕДОР СУХОВ

Отходил, отступался от Бога,
Ну а после прощенья просил, —
Верю истинно, верю глубоко
В торжество неразгаданных сил.

В тайну зримого мира и в тайну
Отдаленных, незримых миров...
Я по небу ночному витаю,
Да поможет мне Бог Саваоф!

Укрепит меня и не оставит,
Будет, будет все время со мной!
Возглаголит своими устами,
Возгремит над печалью земной.

Над моими земными грехами
Благодатный расщедрится дождь,
И никто никого не охает
В эту тихую-тихую ночь.

И никто никого не обидит,
В мире мир утвердится... Тогда
Приободрится земная обитель,
Возликуют ее города.

Явят радость свою все-то веси,
Запоют веселей петухи,
Еле зримое млеко созвездий
Утолит — не мои ли? — стихи.

Не мои ли скорбящие строки
Небо звездное обвеселит,
Васильками незримой дороги
Просветленный утешится лик.

К 90-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Давно уже стало общим местом утверждение о том, *что писатель в России больше, чем просто писатель.* Действительно, русская литература слишком много на себя берёт, поскольку всегда воспринимает слово как дело. В этом — ее своеобразие, ее сила; в этом же — причина постоянных колебаний российских литераторов между творчеством и конкретной деятельностью во благо общества. Характерно в этом смысле, например, признание Андрея Платонова, который в 1924 году писал в автобиографии: «Засуха 1921 г. произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой». Но как бы ни были тернисты жизненные пути истинных художников слова, в конце концов они становились писателями, ибо сама литература звала их, чтобы их слово становилось делом. Так и с Платоновым. Предлагаемые вниманию читателей два платоновских рассказа относятся к 1923 году — по многим причинам поворотному году в его судьбе. Можно уверенно сказать, что именно с этого года он начал говорить с в о и м голосом, что отмечалось как современниками, так и более поздними исследователями его творчества. К тому времени Платонов уже автор брошюры «Электрификация» (1921) и сборника стихов «Голубая глубина» (1922). Молодой двадцатичетырехлетний человек внимательно и настороженно прислушивался к себе, но продолжал работать в Воронежском губземуправлении, не предполагая резко изменять собственную жизнь. Причиной тому стало его отцовство: в 1923 году жена Мария Александровна Кашинцева родила сына Платона, или Тотку, как любовно звал его сам Платонов. Домашние хлопоты счастливых родителей на три года отодвинули созревшее к тому времени решение главы семьи о профессиональном писательстве. Однако посетив в том же году Москву, Андрей Платонов все же заводит знакомства со столичными литераторами А. Воронским и А. Неверовым. Он много читает и много пишет, усиленно интересуется философией, о чем можно судить и по рассказу «История иерея Прокопия Жабрина», где есть реминисценция на название фундаментального труда П. Флоренского «Столп и утверждение истины» (1914). Этот рассказ, впервые опубликованный в воронежской газете «Репейник» (1923, № 10), вошел в первый сборник прозы писателя «Епифанские шлюзы» (1927). «Рассказ не состоящего больше во жлобах» был напечатан в «Нашей газете» (1923, № 69). Оба этих рассказа, широкой публике неизвестные, воспроизводятся по первой публикации. В них отразились эпоха и стиль Платонова, который мы сейчас узнаем даже по одной его фразе.

А. ЗНАТНОВ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗДАНИЯ А. ПЛАТОНОВА

Собр. сочинений в 3-х т. — М.: Сов. Россия, 1985.
Избранная проза. — М.: Книжная палата, 1988.
Ювенильное море. (Сборник прозы). — М.: Современник, 1988.
Чевенгур. — М.: Сов. Россия., 1989.
Возвращение. — М.: Мол. гвардия, 1989.

РАССКАЗ НЕ

Звездов много, молонья сверкует — сколь неизречимы чудеса натуры! В городах — машины, сияющие ночью улицы, умные вразумительные люди, вкусные вещества, и прочее. А в полях — география, звездный свет, тихий ход рек, дыхание почвы, речь пахаря с встающим солнцем.

Миллиарды лет жили до меня мои предки — неглупые старики.

Их жизнь и работа запечатлелись в голове моей. Я — живой памятник своих предков и их завет и надежда. И то в этой голове, которая делалась миллионы веков, не хватает силы узреть весь мир, уложить его в сердце и сделать лучшим, чем он есть.

Имеем лишь слово — инструмент нежный и из слов сплетаем и перекидываем тростниковые мосты меж своими живыми душами.

Хорошо в мире, без сомнения. Обжился я, притерпелся, а давно ли ставить ноги прямо вкрутую не мог, а полз корягой, верил всему, что видимо и не видимо.

И все таковые же были из нашей Тарараевки — невидный обглоданный народ, не помнящий, как называется их уездный город или другой какой правительственный пункт.

Помню в Красную армию нас забрали. Приехали в Москву. Измордовались наши ребята в дороге. Слезли и очумели — ну, теперь мы пропали.

Кто что спросит, а мы:

— А? Што? А?

— Откуда, земляки?

— А? Што?

ИСТОРИЯ

Жил он в уездном обыкновенном советском городе, весьма смиренном. Здесь даже революции не было: стали сразу быть совучреждения, для коих мобилизовали по приказу Чрез.-Рев. Уштаба местных барышень, от 18 до 30 лет, дав им по аршину ситца и по коробке бычков — для начала.

Иерей Прокопий жил не спеша, всегда в одинаковой температуре, твердо, как некий столп и утверждение истины Ибо истина и есть покой. Покой же наилучше обретается в супружестве, когда сатанинская густая сила, томящая душу демоном сомнения и движения, да исходит во чрево жены.

— Жено! Ты спасешь мир от Сатаны-Разрушителя, знойного духа, мужа страсти и всякой свирепости. Да обретется для всякой живой души на земле жена, носительница мира и благоволения! Аминь.

Хорошо, во благомыслии жил иерей Прокопий. И вот единожды, как говорится в суете, рак крякнул: свою могущественную длань иерей Прокопий опустил на главу благоверной. Была на дворе духота, мухи поедом ели, бога, говорят, нету — так бы и расшиб бы горшок какой-нибудь. А тут жена Анфиса ходит — сопит, из дому гонит: полы будет мыть, к празднику прибирать. Прокопий, иерей, утром не наелся: пища пошла на оскудение, а день велик — деться некуда, сила в теле напирает.

И совершил Прокопий злодейство.

Жена Анфиса раз — в Чрез.-Рев. Уштаб: мой поп Прокоп дерется и власть советскую ругает (сука была баба).

СОСТОЯЩЕГО БОЛЬШЕ ВО ЖЛОБАХ

Стоят дома, несоразмерные с человеком. Идет человек, крутит тростью и лопочет неведомо что. Играет где-то жалостная музыка. Жутко и чудно нам. Далеко остались матери и сестры — жалко их стало, зря дома не любили их как следует.

И тут чепуха с нами пошла. Старые красноармейцы смеются над нами: пропали, говорят, теперь вы, товарищи. Лучше загодя проси у товарища Троцкого отпуска на побывку — вон он в клубе, ступай.

Пришли мы, человека три, в клуб.

— Вон, показывают, товарищ Троцкий.

— Дак тож видимость одна, говорим мы,— партрет.

— Нет,— отвечают,— это не видимость, это у буржуев видимость и обман один, а у нас, у пролетариев,— правда и живая личность. Проси отпуска. Мы разом: товарищ Троцкий, дозвольте домой на деревню к отцу-матери на побывку, вскорости возвратимся, а теперича надобно домой...

А товарищ Троцкий отвечает басом:

— Что ж вы, товарищи, аль дезертировать захотели. Не успели приехать, уж побывку вам.

— Да мы, товарищ Троцкий, не привыкли еще и по дому соскучились...

— Ну, *ступай, несознательный элемент*, да живее оборачивайся, стало быть. Не распускайся в дороге: мажь сапоги, пуговицы пришивай, не будь рохлей, ты ведь будущий красный воин.

— Покорно благодарим. Уж будьте покойны.— Собрались мы и уехали. Командир наш дал нам по тыще даже: от товарища, — говорит, — Троцкого — на харчи и табак, теперь вали смело. Такого уважительного товарища, должно, на свете еще не было.

— Ну-с через месяц нас троих же, четвертый на поезд не сел, взяли в волость как дезертиров. Тут-то я до всего дознался: вспомнил, как похохатывал командир, когда давал нам по тыще, как у товарища Троцкого губы не шевелились при разговоре. Не живая личность, а живая картина была в клубе и за картиной сидел и рычал командир наш.

Ну, ничего. Приехавши в Москву, мы окончательно определились на красноармейскую службу. Сажать нас не посадили, а посмеялись и сказали: дураки вы, товарищи, надо ликвидировать вашу безграмотность и пройти с вами политграмоту. Вали каждый на свое место — думай больше и гляди глазами.

Ничего себе настало время — люди все ласковые и свои.

А через месяц я все-таки женился, не потому, что надобность особая была, а давали мануфактуры, самовар, койку большую, скатерти, посуду всякую, обмемблирование и прочий семейный причандал.

И отправил я супругу со всем казенным имуществом к *родне — и радость, и помощь. Теперь я понимаю политику* и во жлобах не состою.

Елпидифор
БАКЛАЖАНОВ

ИЕРЕЯ ПРОКОПИЯ ЖАБРИНА

— Как так поп дерется? — спросил комиссар, товарищ Оковаленков.— Арестовать этого неестественного элемента. Дать предписание Учеке!

И стал пребывать иерей Прокопий в затворничестве.

— За что, отец, присовокупились к нам? — спросил его купец Гнилосыров.— Вам тут быть немыслимое дело.

Иерей Прокопий прохаркнулся, прочистил свой чугунный бас:

— Го, го, го! — Да все бабы, стервы, шут их дери!

И стала с этой поры Анфиса носить Прокопию обеды в Учеку, *ходит-плачет: товарищ комиссар, отпусти домой Прокопа* Жабрина.

— Обождет,— отвечал тов. Оковаленков,— элемент весьма контрреволюционный. Пускай поступит на службу советской власти.— Смоет свой позор трудом.

Обрадовались Анфиса, а потом и Прокоп. Должность нашли сразу: в канцелярии Чрез.-Уфинтройки.

Прослужил иерей Прокопий месяц, два, три: делов никаких нету, скука, дожди пошли на улице.

— Хоть бы живность какую увидеть, говорить бы с кем,— думал Прокоп,— люди кругом все охальники...

Приучился Прокоп курить: чадит весь день.

Сидел иерей на входящих и исходящих. Придет бумажка: «Предлагаю уплатить моему отряду жалование за 4 месяца вперед. Комиссар, командир, член большевиков Федор Калабашкин. Угрожаю захватом города и привлечением его жителей к революционной ответственности по революционной совести. Комиссар Калабашкин. № 8137421».

Долго мыслит над ней Прокопий, потом запишет и опять задумается.

И было три праздника подряд. Анфиса опять начала грызть попа. Тогда он придумал в единочасье: поймал у себя двух вошек и посадил их в пустую спичечную коробку: живите себе на покое и впотьмах.

На другой день взял зверьков на службу. Раскрыл входящий и пустил их на белый лист пастись. Сам пописывает, а глазами следит, как вошки бродят в поисках продовольствия, *но тщетно*.

Жить стало способней и радостно одолевалось время бытия иерея.

Но судьба стремительна и еще неодолимы для человека тяжкие стопы ее. Через полгода скончался иерей Прокопий Жабрин, журналист Чрез.-Уфинтройки. Страшна и таинственна была смерть его: от частого курения образовался в горле иерея слой сажи. И надо же было привезти одному старому знакомому Прокопия, мужичку из дальней деревни, корчажку самогонки весьма крепкой.

Давно не выпивал Прокопий: взял и дернул. Самогон вдруг вспыхнул в нелуженном горле — и загорелась сажа от махорки.

Иоганн **ПУПКОВ**

Публикация **М. А. ПЛАТОНОВОЙ**

АФИША ИЗДАТЕЛЬСТВА

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989

«Популярная библиотека» основана в 1987 году. Формируется она на основе изучения социологами Института книги читательского спроса. Серия утверждается ежегодно после ее обсуждения на страницах газеты «Книжное обозрение». И всякий раз издательство «Книжная палата» уведомляет об этом, преподнося читателю очередной том — частицу материализованных «читательских интересов». «Популярную библиотеку» по праву считают одним из первых шагов на пути демократизации издательского дела.

АХМАТОВА А. Я — голос ваш. — 20,4 л., 5 р., 200 000 экз.

Книга влючает избранные произведения Анны Ахматовой: стихи, поэмы, прозу. В числе впервые публикуемых в книжном издании стихов поэта — знаменитый «Реквием», увидевший свет на страницах журнала «Октябрь» в 1987 году. Ряд строф известных стихотворений приводится в уточненной текстологической редакции.

ВОСПОМИНАНИЯ О БАБЕЛЕ. / Сост. А. Пирожкова — 24 л., 3 р. 60 к., 100 000 экз.

Об Исааке Эммануиловиче Бабеле, самобытном и неповторимом мастере современной прозы, вспоминают его друзья, писатели, близко знавшие, любившие его самого и его книги. Среди них: И. Эренбург, К. Паустовский, Л. Славин, В. Ходасевич, В. Шкловский, Л. Утесов, редактор В. Полонский и многие другие.

Составитель сборника вдова писателя. В книгу вошли и ее воспоминания.

ВЫСОЦКИЙ В. Поэзия и проза. — 24 л., 3 р. 50 к., 200 000 экз.

Наследие Владимира Высоцкого как поэта и писателя представлено объемно и многообразно. Наряду со стихами и песнями, «Романом о девочках», опубликованном в журнале «Нева», читатель найдет здесь серьезный литературно-критический анализ творчества В. Высоцкого, исследование его феномена.

В книге приводится библиография публикаций произведений В. Высоцкого и литературы о нем.

НАБОКОВ В. Другие берега. — 20 л., 3 р. 80 к., 300 000 экз.

Предлагаемый сборник знакомит с Набоковым — изящным мемуаристом и художником слова, с Набоковым — мастером сюжета и великолепным стилистом.

В сборник вошли автобиографический роман «Другие берега», роман «Подвиг», рассказы разных лет. Они были написаны автором на русском языке и изданы при его жизни американскими издательствами.

ПАСТЕРНАК Б. Доктор Живаго. — 33 л., 6 р., 200 000 экз.

Роман «Доктор Живаго» — итоговое произведение выдающегося поэта и прозаика Бориса Пастернака. Центральная тема романа — судьба интеллигента, художника в революции — разворачивается на фоне драматических переломных событий в жизни народа, всей страны.

ПИЛЬНЯК Б. Повесть непогашенной луны. — 20,6 л., 2 р. 50 к., 200 000 экз.

В сборник избранной прозы Бориса Пильняка вошли наиболее значительные его произведения: «Повесть непогашенной луны», повесть «Заволочье», роман «Волга впадает в Каспийское море».

Уильям Мейкпис ТЕККЕРЕЙ: Творчество. Воспоминания. Библиографические разыскания. — 28,4 л., 1 р. 90 к., 24 000 экз.

Посвящается творчеству известного английского писателя-реалиста XIX в. Уильяма Теккерея (1811—1863). Содержит вступительную статью; перечень произведений автора, переведенных на русский язык, литературы о жизни и творчестве писателя, изданной на русском языке за 1847—1986 гг. В приложении — стихотворения, рисунки писателя, воспоминания современников о Теккерее, высказывания русских и советских писателей о его творчестве.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Слово» и издательство «Книжная палата» предлагают ответить на вопросы традиционного конкурса. Напоминаем, что победителей ждут семь призов, на этот раз — семь книг «Популярной библиотеки».

1. Какая книга была выпущена первой в серии «Популярная библиотека»?
2. «Я, как угорелый, пишу большое повествование в прозе, охватывающее годы нашей жизни, от Мусагета до последней войны...» — писал Б. Пастернак в одном из писем о замысле романа «Доктор Живаго». Что стоит за именем собственным «Мусагет»?
3. «Поэзию люблю почти всю», — говорил о своих литературных пристрастиях Владимир Высоцкий. Со многими известными поэтами его связывали дружеские отношения. Кому именно посвятил В. Высоцкий свою «Притчу о Правде и Лжи»?

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989

«КНИЖНАЯ ПАЛАТА»

АРОН СИМАНОВИЧ

РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ РАСПУТИНА

Гинцбург подчеркивал, что война принесла значительное ухудшение еврейского вопроса. Создается впечатление, что верховный командующий, Николай Николаевич, желает воспользоваться случаем, чтобы совершенно истребить еврейство. Положение с каждым днем ухудшается. Все еврейство пришло к заключению, что наступило время, когда необходимо выступить энергично против гонителей еврейства. Момент очень удобный, так как в Петербурге существуют прекрасные связи. Эти связи необходимо использовать не только для помощи отдельным евреям, но и для улучшения положения всего еврейского народа. Еврейское общество постановило мобилизовать все свои связи, средства и силы, чтобы добиться равноправия евреев. В средствах недостатка не будет. Евреи постановили за помощь в этом деле пожертвовать огромные суммы. Если я сумел бы провести равноправие евреев, я мог бы сделаться самым богатым человеком в России и, кроме того, мое имя будет занесено в еврейские памятные книги («пинкес»).

— Ты имеешь прекрасные связи, — говорил Гинцбург, — и бываешь в таких местах, где еще никогда не ступала нога еврея. Бери на помощь Распутина, с которым ты находишься в столь близких и коротких отношениях. Было бы грех не использовать такие обстоятельства. Я пришел к заключению, что Распутин может провести все, что он захочет. Он способен переубедить всех министров. Мы не можем терпеть, чтобы Николай Николаевич и его сподвижники в районе военных операций грабили и убивали несчастных евреев и чтобы их по всей России так притесняли. Ты получишь от нас все, что тебе понадобится. Возьмись сейчас за работу и, если ты сделаешься жертвой твоих стараний, то вместе с тобой погибнет весь еврейский народ.

Разговор с Гинцбургом произвел на меня глубокое впечатление. Я обещал ему всецело предаться борьбе за права и интересы моего народа, и мы советовались относительно предпринимаемых шагов. Положение было опасно и требовало сугубой осторожности. Мы признали, что сперва необходимо заполучить на нашу сторону министров, чтобы провести у царя необходимые мероприятия.

Я предложил созвать конференцию еврейских представителей с Распутиным, чтобы они лично могли убедиться во взглядах Распутина на еврейский вопрос. Гинцбург согласился с моим предложением. После этого я навестил Распутина и рассказал ему, что мы все ждем его содействия в борьбе за равноправие евреев. Он дал мне свое полное согласие и также согласился участвовать в конференции с еврейскими представителями. Она состоялась в доме Гинцбурга, и в назначенный час я привез туда Распутина. Там собралось много виднейших представителей еврейства; между ними находились: известный своей благотворительностью барон Гинцбург, присяжный поверенный Слиозберг, Лев Бродский, Герасим Шалит, Самуил Гуревич, директор банка Мандель, Варшавский, Поляков и др.

Нарочно к участию на конференции не был привлечен ни один адвокат кроме Слиозберга, так как Распутин заявил, что он с адвокатами и социалистами не желает разговаривать. А Слиозбергу сделали исключение, так как Распутин против него ничего не имел. Он его считал хорошим евреем и поэтому на его профессию он не обращал особого внимания.

При появлении Распутина в салоне Гинцбурга ему была устроена очень торжественная встреча. Многие из приветствовавших его плакали.

Распутин был очень тронут встречей. Он очень внимательно выслушал наши жалобы на преследования евреев и обещал сделать все, чтобы еще при своей жизни провести равноправие евреев. К этому он прибавил:

— Вы все должны помогать Симановичу, чтобы он мог подкупить нужных людей. Поступайте, как поступали ваши отцы, которые умели заключать финансовые сделки даже с царями. Что стало с вами! Вы уже теперь не поступаете, как поступали ваши деды. Еврейский вопрос должен быть решен при помощи подкупа или хитрости. Что касается меня, то будьте совершенно спокойны. Я окажу вам всякую помощь.

Эта встреча со всемогущим при царе Распутиным оставила на всех присутствовавших евреев колоссальное впечатление. Они стали верить, что наше начинание должно иметь успех.

После конференции состоялся ужин. Распутин собирался сесть рядом за столом с молодой и красивой женой Гинцбурга. Хозяин дома, который знал славу Распутина как бабника, очень просил меня сесть между его женой и Распутиным. Я исполнил его просьбу и его ревность утихла. Эта небольшая сцена была замечена другими гостями, которые очень смеялись над ней. После встречи с еврейскими представителями Распутин уже не скрывал свое расположение к евреям и охотно исполнял их просьбы. Я старался по возможности использовать его настроение. Он часто жаловался на противодействие, к евреям враждебно настроенных, министров и других влиятельных лиц. В связи с этим он просил меня познакомить его с людьми, которые могли давать ему интересную информацию по еврейскому вопросу.

При этом он мне рассказывал, что в общем царь уж совсем не так враждебно относится к евреям, как это принято думать. Слово «еврей» все же неприятно действует на царскую семью. Неприязнь к евреям прививается в детях императорской семьи уже с малых лет нянькам и прочей прислугой. Распутин рассказывал, что министр внутренних дел Маклаков при играх с наследником старался его запугать словами: «Подожди только, тебя заберут жиды!». Из боязни наследник при этих словах даже кричал.

После составления подходящего списка кандидатов в министры Распутин стал все чаще и чаще заговаривать с царем относительно еврейского вопроса, причем царь все же высказывал большую осторожность не столько из-за своего антисемитизма, сколько вследствие других причин.

Я вскоре сам нашел подходящий случай хлопотать перед царем о моих единоплеменниках. Дело касалось следующего: двести еврейских зубных врачей были приговорены к арестантским ротам из-за того, что будто они приобрели свои дипломы врачей, только чтобы обойти закон еврейской оседлости. Все они были честные, спокойные люди и многие из них имели семьи. Я решился ими заняться. Я пригласил к себе представителей приговоренных врачей и предложил их свести с Распутиным. Когда Распутин явился, все взмолились о его помощи против министра юстиции Щегловитова. Он ответил: «Как вам помочь! Щегловитов столь твердолоб, что не выполняет даже царских приказов, если они гласят в пользу евреев. Вы должны поручить дело Симановичу. Он перехитрит Щегловитова. Подайте прошение».

Мы решили прошение о помиловании подать в следующее воскресенье. Этот день Распутин собирался провести в Царском Селе, а именно, утром он хотел присутствовать вместе с царской семьей



Продолжение. Начало в №№ 5—6.

на обедне, а потом завтракать у Вырубовой. Все шло по программе. На завтрак явился также царь со всей семьей. Он был в отличном расположении духа. Вырубова была посвящена в наш план и хотела нам помочь. После завтрака она сказала царю:

— Симанович также здесь.

Царь вскочил шутливо из-за стола и сказал:

— Он, наверно, хочет меня провести.

Он вышел ко мне и спросил:

— Что ты хочешь?

Скрывая мое волнение, я сказал, что имею один бриллиант в сто карат и желаю его продать. Я уже предложил этот бриллиант царице, но она находит его слишком дорогим.

Я не могу во время войны покупать бриллианты, — ответил он, — ты, наверно, имеешь другое дело. Говори.

В этот момент к нам подошел Распутин. Он слышал последние слова царя.

— Ты угадал, — сказал он ему.

Царь, по-видимому, не имел охоты входить в подробности нашего дела. Он уже предчувствовал, к чему наше дело сводилось.

— Сколько евреев? — спросил он.

— Двести, — ответил Распутин.

— Ну, я уже знал, давайте сюда прошение.

Я передал царю прошение, которое он просмотрел.

— Ах, эти зубодеры! — сказал он. — Но министр юстиции и слышать не хочет об их помиловании.

— Ваше Величество, — возразил я, — что означает: не хочет слышать? Министр не смеет прекословить, когда Ваше Величество приказывает.

Распутин ударил кулаком по столу и вскричал: — Как он смеет не повиноваться при исполнении твоих приказов!

Царь, видимо, смутился.

— Ваше Величество, — сказал я. — Осмелился бы предложить следующее. Вы подписываете прошение. После отъезда Вашего Величества я передам прошение Танееву (начальнику царской канцелярии), и он уже распорядится о дальнейшем.

Царь последовал моему совету. Дантисты были помилованы. *Они устроили денежный сбор, собрали 800 рублей, и на эти деньги* была куплена и поднесена Распутину соболья шуба.

Я же получил еврейский медовый пирог, бутылку красного вина и серебряный еврейский кубок.

Мое возрастающее влияние заставило моих реакционных противников следить за мной. Таким путем они хотели добыть обвинительный материал против меня и установить круг моих знакомств.

Чтобы избежать этой слежки, я не принимал лиц, обращавшихся ко мне по еврейским делам на моей квартире. Я обычно встречал их в одном из учрежденных мною игорных клубов, где мне легче было укрыться от глаз моих шпиков. Очень странно было положение охранной полиции в этом деле. Она также считала нужным за мной следить, но по моему распоряжению одновременно агенты охранной полиции также следили за агентами моих противников. Я должен заметить, что за мою деятельность в пользу евреев я не получил ни копейки денег. Я отклонял гонорар, так как не хотел испортить мою репутацию перед министрами и уменьшить значение моего влияния, а предпочитал зарабатывать другими путями.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

За кровавое воскресенье 9-го января 1905 года Николай II получил прозвище «кровавый».

Он его не заслужил. Он был слабым, бесхарактерным человеком, и вся его жизнь была путаной, без плана. Все зависело от того, кто в данный момент находился около царя и имел на него влияние. Если не было противоположного влияния, царя можно было уговорить к любому делу и направить по любому направлению.

Его действия были противоречивы, бессмысленны, смешны, и поэтому они имели пагубные последствия. Он казался безучастным и равнодушным. Его безучастие в решающие моменты жизни многих удивляло и отчаивало. Он действовал, как царь, супруг, отец и товарищ, как офицер и христианин не должен был действовать.

Действительным «кровавым Николаем» был верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич. Только немногим известно, что психическое состояние великого князя носило явно патологические признаки (?). Он страдал болезненной жаждой крови.

Рассказывают, что эта его болезнь обнаружилась в первый раз во время русско-турецкой войны, в которой он участвовал молодым офицером.

В мирное время он утолял свою жажду крови на животных.

Он не упускал случая убить животное и поэтому был страстным охотником.

Распутин пробовал его лечить, и это послужило поводом их сближения.

Мировая война предоставила Николаю Николаевичу неограниченные возможности к удовлетворению этого страшного влечения.

На полях сражений, в кровавой работе в военно-полевых судах и в жестоких гонениях мирного населения он мог давать полную волю своему болезненному стремлению. Без малейшего признака ответственности он мог себе все позволять. Его власть была неограниченна. Его жертвами были инородцы: евреи, галичане, поляки, немцы. Их обвиняли в шпионстве, дезертирстве и других преступлениях и вследствие этого вешали и расстреливали целыми толпами.

Николай Николаевич меньше интересовался доказательствами виновности, чем страшным возмездием. Своих подчиненных он собственноручно бил до крови, не щадил он даже генералов. Перед последними он изредка должен был извиняться, но за сотни тысяч казненных и убитых евреев он один перед Богом несет полную ответственность.

Когда речь идет о кровавых действиях Николая Николаевича, то нельзя умолчать о той печальной роли, которую при этом играл его сотрудник, начальник генерального штаба, генерал Янушкевич. В противоположность Николаю Николаевичу он был совсем здоровый человек, но по жестокости он даже превосходил его. Самым настойчивым образом он преследовал евреев и в этом отношении имел тайные полномочия великого князя. Положение в особенности ухудшилось с тех пор, как переговоры Янушкевича с евреями по одному делу кончились для Янушкевича неудачей. Дело в следующем: Янушкевич владел заложенным за четыреста тысяч рублей имением. Янушкевич через одного своего родственника обратился ко мне с просьбой узнать, согласятся ли еврейские банки перенять этот долг от Тульского поземельного банка. Я переговорил с банками, но, к сожалению, получил отказ. В результате Янушкевич сделался страстным врагом евреев. Сотни тысяч еврейских жизней лежат на его совести.

В своей борьбе с евреями Янушкевич пользовался поддержкой своего друга, командующего северо-восточным фронтом, генерала Рузского. При отступлении с Карпат Рузским были учинены преследования евреев, по своей жестокости не имевшие примера в прошлом. Действия солдат и казаков не поддаются описанию. Еврейское население там просто истреблялось. Знакомый полковой командир рассказывал мне следующий показательный случай.

Несколько казаков под начальством урядника были посланы на разведку. Маленький отряд вернулся лишь через три дня. Все уже думали, что они попали в плен или перебиты. Урядник доложил, что *они все это время были заняты избиением евреев. Он был* уверен, что этим он искоренял шпионаж. Случай произошел в Галиции.

Начальник штаба псковского фронта, лично мне известный генерал Бонч-Бруевич рассказывал мне, что, назначенный командующим фронтом, генерал Рузский уверял его, что все евреи шпионы. По его мнению еврейские шпионы являются виновниками всех русских неудач, и это преступление должно быть искуплено уничтожением всего еврейства.

Заведенные генералом Рузским преследования евреев все усиливались. Почти ежедневно я умолял Распутина прекратить деятельность жестокого генерала. Распутин согласился добиться воздействия на Рузского, но последний, узнав об этом, начал интриговать против Распутина. Ему удалось восстановить против Распутина Николая Николаевича. Это случилось еще в то время, когда юго-западным фронтом командовал генерал Рузский. Скоро произошел между Распутиным и Рузским формальный разрыв по следующему поводу.

Одна дама, княгиня Тарханова, ходатайствовала перед Рузским о помиловании евреев, уличенных в неблаговидных поступках при военных поставках. Она предъявила письмо, в котором Распутин также хлопотал об этих евреях. Начальник штаба Рузского пояснил, что Рузский просьбу исполнить не может и очень возмущен, что Распутин осмеливается его беспокоить своими просьбами.

Борьба между Распутиным и Рузским кончилась победой первого. Генерал счел нужным подать в отставку, указав причину: болезненное состояние своего здоровья. Но так как он чувствовал превосходство Распутина над собой, то он решил с ним помириться и с этой целью явился к нему в полной парадной форме и при орденах, но ему была оказана очень холодная встреча.

— «Слушай, генерал! — говорил ему Распутин, — ты — вор. Ты украл у царя ордена. Тебя стоило бы повесить, а не дать обратно твою должность. Я не хочу твоей крови, но как ты осмеливаешься являться ко мне? Ты враг царя!»

Рузский побледнел и удалился.

После этого Распутин обратился к военному следователю, приведшему к нему Рузского, и сказал ему:

«Если ты хоть раз еще ко мне приведешь таких разбойников, то и и тебя перестану принимать».

Только после смерти Распутина Рузскому посчастливилось опять вернуться на должность командующего псковским фронтом. Он перешел на сторону революционеров и помогал им, когда они заставили царя отказаться от престола.

СТРАДАНИЯ ИНОРОДЦЕВ

Во время войны ко мне обращалось очень много молодых евреев с мольбами освободить их от воинской повинности. Для этого имелось много путей, но я выбирал всегда наиболее удобный для данного случая. Однако часто совершенно отсутствовала какая-нибудь законная возможность и я должен был прибегать к исключительным мерам.

Продолжение следует

ПЕРОМ ОЧЕВИДЦА



АННА ВЫРУБОВА

Anna Taneieff Viroubova.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ в ЦАРСКОМ СЕЛЕ

МИСТИФИКАЦИЯ?

Литературным мистификациям, как известно, несть числа. Истовые книголюбы, к примеру, прекрасно знают, что в середине 18-го столетия Дж. Макферсон издавал романтические произведения, которые он приписал шотландскому барду Оссиану, жившему, по преданию, в 3-м веке. Для них не секрет, кто, скажем, скрывался под вымышленным именем испанской актрисы Клары Газуль — создателя ряда популярных пьес, равно как под маской сербского сказителя И. Маглановича, выпустившего в свое время сборник «Гузла» (кстати, 11 стихотворений из данного сборника переложил в 1835 году А. С. Пушкин — «Песни западных славян»). Стоит им услышать имена этой испанки или этого серба — они тотчас назовут автора мистификации: Проспер Мериме. Упоминание фамилии некоего Конрада Куяу напомнит истовым книголюбам о недавней скандальной истории с «собственноручными дневниками Адольфа Гитлера». А уж о «тайне» Козьмы Пруткова и говорить нечего — она по силам любому школьнику-хорошисту...

К мистификациям относится и «Дневник» фрейлины последней российской императрицы Анны Вырубовой, сочиненный ученым, филологом и историком П. Е. Щеголевым совместно с А. Н. Толстым. Думается, однако, что для характеристики «Дневника» точнее подходит слово фальсификация. Именно фальсификация, поскольку его авторов заботило не столько создание творческого почерка фрейлины, ее стилистической манеры, сколько сознательное искажение некоторых фактов, нарочитое придание им сенсационности, даже порой скандальности, что достигается отнюдь не просто. Надо умело сместить акценты, придать рассказу определенную тональность, добавить в рисуемую картину *желательные штрихи и оттенки.* И все это, разумеется, на фоне реальных событий. Словом, цель, которую преследовали создатели лже-«Дневника», была достигнута: «воспоминания» Вырубовой сыграли роль эдакого средства внедрения в легковерные умы читателей неверных представлений о действительном положении дел, подлили воду на мельницу тех, кто желал дискредитации царской семьи, кто пытался предвзято представить дворцовую обстановку последних лет правления Романовых. «Поистине, при чтении «Дневника», — говорится в предисловии, предпосланном его публикации, — временами кажется, что самый воздух дворцовых тайничков и распутинского подполья струится по этим *листкам, до того эти страницы насыщены* безумием, болезненностью и кровью, окрасившими собой все незадачливое царствование последнего самодержца».

Не станем вдаваться подробно во все детали и анализировать текст «Дневника», возьмем один лишь момент. У читателей, которые с ним ознакомятся, должно создаться ощущение, что Вырубову связывало с Григорием Распутиным нечто такое, о чем в приличном обществе вслух не говорят. Несомненно, превратное представление о взаимоотношениях фрейлины и «старца» — да и о многих других проблемах — рассеялось бы, будь своевременно доступны для широкого читателя не пропущенные через цензурное сито целый ряд свидетельств и документов, в частности, записка В. М. Руднева, товарища прокурора екатеринославского окружного суда, который распоряжением министра юстиции Керенского *в марте 1917 года* был командирован в Петроград в Чрезвычайную комиссию по расследованию злоупотреблений бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц. Имеется в виду тот самый Руднев, который пять месяцев спустя вынужден был подать рапорт с просьбой отстранить его от участия в следственной работе из-за попыток председателя Комиссии надавить на него и побудить к «явно пристрастным действиям». Медицинские освидетельствования, пишет В. М. Руднев в своей записке, проведенные по распоряжению Следственной комиссии в 1917 году, «установили с полной несомненностью, что г-жа Вырубова девственница». (Как же *так, — спросит иной читатель, —* ведь фрейлина была замужем? Верно! Однако это уже другая история, и при случае мы о ней, конечно же, расскажем.)

Мало кто знает, что наряду с поддельным «Дневником» Вырубовой, печатавшимся на страницах журнала «Минувшие дни» (приложение к вечернему выпуску ленинградской «Красной газеты», декабрь 1927 г. — март 1928 г.), существуют настоящие мемуары фрейлины, написанные ею в эмиграции и впервые выпущенные отдельным изданием в Париже в 1922 году.

В этом номере мы начинаем впервые знакомить советских читателей с фрагментами воспоминаний Вырубовой из книги «Фрейлина ее величества», вы-

---

Государь рассказывал, что великий князь Николай Николаевич постоянно, без ведома государя, вызывал министров в ставку, давая им те или иные приказания, что создавало двоевластие в России. После падения Варшавы государь решил бесповоротно, без всякого давления со стороны Распутина или государыни или моей, стать самому во главе армии; это было единственно его личным непоколебимым желанием и убеждением, что только при этом условии враг будет побежден. «Если бы Вы знали, как мне тяжело не принимать деятельного участия в помощи моей любимой армии», — говорил неоднократно государь. Свидетельствую, так как я переживала с ними все дни до его отъезда в ставку, что императрица Александра Федоровна ничуть не толкала его на этот шаг, как пишет в своей книге М. Жилиард, и что будто из-за сплетней, которые я распространяла о мнимой измене великого князя Николая Николаевича, государь решился взять командование в свои руки. Государь и раньше бы взял командование, если бы не опасение обидеть великого князя Николая Николаевича, как о том он говорил в моем присутствии.

Ясно помню вечер, когда был создан Совет Министров в Царском Селе. Я обедала у их величеств до заседания, которое назначено было на вечер. За обедом государь волновался, говоря, что какие бы доводы ему ни представляли, он останется непреклонным. Уходя, он сказал нам: «Ну, молитесь за меня!» Помню, я сняла образок и дала ему в руки. Время шло, императрица волновалась за государя, и когда пробило 11 часов, а он все еще не возвращался, она, накинув шаль, позвала детей и меня на балкон, идущий вокруг дворца. Через кружевные шторы, в ярко освещенной угловой гостиной были видны фигуры заседающих; один из министров, стоя, говорил. Уже подали чай, когда вошел государь, веселый, кинулся в свое кресло и, протянув нам руки, сказал: «Я был непреклонен, посмотрите, как я вспотел!» Передавая мне образок и смеясь, он продолжал: «Я все время сжимал его в левой руке. Выслушав все длинные, скучные речи министров, я сказал приблизительно так: «Господа! Моя воля непреклонна, я уезжаю в ставку через два дня! Некоторые министры выглядели, как в воду опущенные!»

Государь казался мне иным человеком до отъезда. Еще один разговор предстоял государю — с императрицей-матерью, которая наслышалась за это время всяких сплетен о мнимом немецком шпионаже, о влиянии Распутина и т. д., и, думаю, всем этим басням вполне верила. Около двух часов, по рассказу государя, она уговаривала его отказаться от своего решения. Государь ездил к императрице-матери в Петроград, в Елагинский Дворец, где императрица проводила лето. Государь рассказывал, что разговор происходил в саду; он доказывал, что если будет война продолжаться так, как сейчас, то армии грозит полное поражение. Государь передавал, что разговор с матерью был еще тяжелее, чем с министрами, и что они расстались, не поняв друг друга.

Перед отъездом в армию государь с семьей причастился Св. Таин в Феодоровском соборе; я приходила поздравлять его после обедни, когда они всей семьей пили чай в зеленой гостиной императрицы.

Из ставки государь писал государыне, и она читала мне письмо, где он писал о впечатлениях, вызванных его приездом. Великий князь был сердит, но сдерживался, тогда как окружающие не могли скрыть своего разочарования и злобы: «...точно каждый из них намеревался управлять Россией!»

Все, что писалось в иностранной печати, выставляло великого князя Николая Николаевича патриотом, а государя орудием германского влияния. Но как только помазанник божий стал во главе своей армии, счастье вернулось к русскому оружию, и отступление прекратилось.

Один из величайших актов государя во время войны — это запрещение продажи вин по всей России.

В октябре государь вернулся ненадолго в Царское Село и, уезжая, увез с собой наследника Алексея Николаевича. Это был первый случай, что государыня с ним рассталась. Она очень по нему тоскова-

шедшей в 1928 году в латвийском буржуазном издательстве «Ориент». Обращение редакции к мемуарам Вырубовой не случайно. Читатели наверняка обратили внимание на серию уже помещенных в «Слове» материалов: «Рассказывает секретарь Распутина», «Дневник Николая II», «Последние дни Романовых». Добавляя к ним мемуары Вырубовой, мы тем самым хотим связать «прямую речь» непосредственных активных участников одних и тех же событий периода заката самодержавия в единый узел свидетельств очевидцев, дать возможность читателям ознакомиться со «взглядом изнутри», и одновременно наметить подступы к освещению очень важного и сложного периода в истории нашей страны: от Февраля до Октября (так будет называться и рубрика, материалы которой объявлены в нашей Афише).

Но прежде чем приступить к публикации воспоминаний Вырубовой — несколько слов о самой фрейлине и о чуть ли не детективной истории, которую «закрутили» публикаторы фальсифицированного «Дневника», дабы заставить читателей во что бы то ни стало поверить в подлинность «руки» Вырубовой.

Анна Александровна Вырубова (1884—после 1929) — дочь потомственного царедворца А. С. Танеева, статс-секретаря и главноуправляющего собственной его величества канцелярией, внучка генерала Толстого, флигель-адъютанта Александра II, правнучка фельдмаршала Кутузова и праправнучка друга Павла I, графа Кутайсова. В 1904 году была назначена городской фрейлиной, а в 1905-м ей было предложено заменить заболевшую свитскую фрейлину, княжну С. И. Джамбакур-Орбелиани. С 1920 года — в эмиграции.

Забота о спасении своих архивов, о сохранении «Дневника», который Вырубова, по свидетельству его публикаторов, вела «в течение ряда лет и особенно интенсивно — в последние предреволюционные годы», превратилась у нее после Февраля 1917-го в идею фикс. В конце концов она приходит к мысли снять копию со своих записок. Пропадет оригинал — останется дубликат. Более того, Вырубова решила перевести свои дневники на французский язык. Дескать, если не удастся переправить рукопись за границу, «на тот берег», и она безвозвратно пропадет, то в России останется текст на иностранном языке, который в случае чего (обыск, к примеру) вряд ли заинтересует красноармейцев. На французский «Дневник» переводила близкая подруга Вырубовой Мария Гагаринская. Язык она знала плохо и потому, мол, в тексте много ляпсусов, грамматических ошибок, забавных русизмов. Работа продвигалась крайне медленно, время не ждало, и Вырубова для быстроты дела отказывается от перевода, решив просто снять с «Дневника» русскую копию (хотя 8 тетрадок из 25 были уже переведены на французский). Переписывать Гагаринской помогали Любовь и Вера Головины. После неудачного перехода границы бывшая фрейлина императрицы была арестована, ей разрешили вернуться в Петроград, где она поселилась на Фурштадской, — вместе с матерью, сестрой милосердия Е. Веселовой и старым лакеем Берчиком, прослужившим в семье Танеевых свыше 45 лет. Постоянные обыски и аресты мешали Вырубовой лично руководить изготовлением дубликата «Дневника», и посему, дескать, он получился очень запутанным, составленным в неправильном хронологическом порядке, словом, все в нем оказалось «вперемешку».

И все же опасениям фрейлины суждено было сбыться. Записи ее погибли. При весьма загадочных обстоятельствах. Настя, сестра горничной Вырубовой, переносила их в кувшине из-под молока (!). Наткнувшись на милиционеров, она до того испугалась, что бросила кувшин в прорубь (!!).

Описав эту историю с массой «правдоподобных» деталей, изобретательности, трагических переплетений выдумки и фактов, публикаторы фальшивого «Дневника» уверяют, что Вырубову нисколько не огорчила утрата оригинала. Ведь дубликат-то, хранившийся у лакея Берчика, не погиб. Коечто в нем, правда, расплылось — он лежал в сыром месте, — кое-что смылось, кое-что вообще разобрать невозможно. Потому в изданном Щеголевым «Дневнике» постоянно встречаются не только сноски об ошибках, допущенных фрейлиной при написании некоторых имен, о путанице в названиях и датах, но и пропуски текста,— мол, восстановить не удалось.

Что и говорить, эффект достоверности с помощью всех этих «мелких хитростей» срабатывает безотказно. Сомнений относительно подлинности «Дневника», его авторства у неискушенного читателя не оставалось. Ему трудно было не поверить в реальность «Дневника» Вырубовой. И он поверил, конечно. И верил не один десяток лет, а многие, возможно, продолжали бы верить и сегодня, не наступи время откровений и открытий, уничтожения «семи печатей», постепенного исчезновения белых пятен — не только в истории политической, но и литературной. Этой цели служит и наша сегодняшняя публикация фрагментов настоящих воспоминаний Анны Александровны Вырубовой.

А. СЕВЕРОВ

ла, — и Алексей Николаевич ежедневно писал матери большим детским почерком. В 9 часов вечера она ходила наверх в его комнату молиться, — в тот час, когда он ложился спать.

Государыня весь день работала в лазарете.

Железная дорога выдала мне за увечье 100.000 рублей. На эти деньги я основала лазарет для солдат-инвалидов, где они обучались всякому ремеслу; начали с 60 человек. а потом расширили на 100. Испытав на опыте, как тяжело быть калекой, я хотела хоть несколько им облегчить их жизнь в будущем. Через год мы выпустили 200 человек мастеровых, сапожников, переплетчиков. Впоследствии, может быть, не раз мои милые инвалиды спасали мне жизнь во время революции, это показывает, что все же есть люди, которые помнят добро.

Невзирая на самоотверженную работу императрицы, продолжали кричать, что государыня и я германские шпионы. В начале войны императрица получила единственное письмо от своего брата, принца Гессенского, где он упрекал государыню в том, что она так мало делает для облегчения участи германских военнопленных. Императрица со слезами на глазах говорила мне об этом. Как могла она чтолибо сделать для них? Когда императрица основала комитет для наших военнопленных в Германии, через который они получили массу посылок, то газета «Новое Время» напечатала об этом в таком духе, что можно было подумать, что комитет этот в Зимнем Дворце основан собственно для германских военнопленных. Кто-то доложил об этом графу Ростовцеву, секретарю ее величества, но ему так и не удалось поместить опровержение.

Все, кто носил в это время немецкие фамилии, подозревались в шпионаже. Так, граф Фредерикс и Штюрмер, не говорившие понемецки, выставлялись первыми шпионами; но больше всего страдали балтийские бароны; многих из них без причин отправляли в Сибирь по приказанию великого князя Николая Николаевича, в то время как сыновья их и братья сражались в русской армии. В тяжелую минуту государь мог бы скорее опереться на них, чем на русское дворянство, которое почти все оказалось не на высоте своего долга. Может быть, шпионами были скорее те, кто больше всего кричал об измене и чернил имя русской государыни!

Но армия была еще предана государю. Вспоминаю ясно день, когда государь, как-то раз вернувшись из ставки, вошел сияющий в комнату императрицы, чтобы показать ей Георгиевский крест, который прислали ему армии южного фронта. Ее величество сама приколола ему крест, и он заставил нас всех к нему приложиться. Он буквально не помнил себя от радости.

Отец мой — единственный из всех министров понял поступок государя и написал государю сочувственное письмо. Государь ему ответил чудным письмом. В этом письме государь изливает свою наболевшую душу, пишет, что далее так продолжаться не может, объясняет, что именно побудило его сделать этот шаг, и заканчивает словами: «управление же делами государства, конечно, оставляю за собою». Подпись гласила: «Глубоко Вас уважающий и любящий Николай».

В 1918 году, когда я была в третий раз арестована большевиками, при обыске было отобрано с другими бумагами и это историческое письмо.

* * *

Трудно и противно говорить о петроградском обществе, которое, невзирая на войну, веселилось и кутило целыми днями. Рестораны и театры процветали. По рассказу одной французской портнихи, ни в один сезон не заказывалось столько костюмов, как зимой 1915—1916 годов, и не покупалось такое количество бриллиантов: война как будто не существовала.

Кроме кутежей общество развлекалось новым и весьма интересным занятием, распусканием всевозможных сплетен на императрицу. Типичный случай мне рассказывала моя сестра. К ней утром влетела ее belle soeur г-жа Дерфельден со словами: «Сегодня мы

распускаем слухи на заводах, как императрица спаивает государя, и все этому верят». Рассказываю об этом типичном случае, так как дама эта была весьма близка к великокняжескому кругу, который сверг их величества с престола и неожиданно их самих. Говорили, что она присутствовала на ужине в доме Юсуповых в ночь убийства Распутина.

Из Австрии приехала одна из городских фрейлин императрицы, Мария Александровна Васильчикова, которая была другом великого князя Сергея Александровича и его супруги и хорошо знакома с государыней. Васильчикова просила приема у государыни, но так как она приехала из Австрии, которая в данную минуту воевала с Россией, ей в приеме отказали. Приезжала ли она с политической целью или нет, осталось неизвестным, но фрейлинский шифр с нее сняли — выслали ее из Петрограда в ее имение. Клеветники же уверяли, что она была вызвана государыней для переговоров о сепаратном мире с Австрией или Германией.

Дело о Васильчиковой было, между прочим, одним из обвинений, которое и на меня возводила следственная комиссия. Все, что я слыхала о ней, было почерпнуто мной из письма Елизаветы Федоровны к государыне, которое она мне читала. Великая княгиня писала, чтобы государыня ни за что не принимала «that horrid masha». Вспоминая дружбу великой княгини с ней, которой я была свидетельницей, в детстве, мне стало грустно за нее.

Клевета на государство не только распространялась в обществе, но велась также систематически в армии, в высшем командном составе, а более всего союзом земств и городов.

В этой кампании принимали деятельное участие знаменитые Гучков и Пуришкевич. Так в вихре увеселений и кутежей и при планомерной организованной клевете на помазанников божьих — началась зима 1915—1916 года, темная прелюдия худших времен.

Весной 1916 года здоровье мое еще не вполне окрепло, и меня послали с санитарным поездом, переполненным больными и ранеными солдатами и офицерами, в Крым. Со мной поехали 3 агента секретной полиции — будто бы для охраны, а в сущности с целью шпионажа.

Эта охрана была одним из тех неизбежных зол, которые окружали их величества. Государыня в особенности тяготилась и протестовала против этой «охраны»; она говорила, что государь и она хуже пленников. Каждый шаг их величеств записывался, подслушивались даже разговоры по телефону. Ничто не доставляло их величествам большего удовольствия, как «надуть» полицию; когда удавалось избегнуть слежки, пройти или проехать там, где их не ожидали, они радовались, как школьники.

За свою жизнь они никогда не страшились и за все годы я ни разу не слышала разговора о каких-либо опасениях с их стороны. Как раз во время прогулки с государем в Крыму, «охранник» сорвался с горы и скатился прямо к ногам государя. Нужно было видеть его лицо. Государь остановился и, топнув ногой, крикнул: «Пошел вон!» Несчастный кинулся бежать.

Однажды гуляя с императрицей в Петергофе, мы встретили моего отца и императрица долго с ним беседовала. Только что мы отошли, как на него наскочили два «агента» с допросом «по какому делу он смел беспокоить государыню». Когда отец назвал себя, они моментально отскочили — странно было им его не знать...

*Итак, я отправилась на юг. Государыня при проливном дожде при*ехала проводить поезд. Мы ехали до Евпатории 5 суток. Городской голова Дуван дал мне помещение в его даче, окруженной большим садом на самом берегу моря; здесь я прожила около двух месяцев, принимая грязевые ванны. За это время я познакомилась с некоторыми интересными людьми, между прочим, с караимским Гахамом, образованным и очень милым человеком. Он, как и все караимы, был глубоко предан их величествам. Получила известие, что ее величество уехала в ставку, откуда вся царская семья должна была проехать на смотры в Одессу и Севастополь. Государыня телеграммой меня вызвала к себе. Отправилась я туда в автомобиле через степь, цветущую красными маками, по проселочным дорогам. В Севастополь дежурный солдат из-за военного времени не хотел меня пропустить. К счастью, я захватила телеграмму государыни, которую и показала ему. Тогда меня пропустили к царскому поезду. Завтракала с государыней. Государь с детьми вернулся около 6 часов с морского смотра. Ночевала я у друзей и на другой день вернулась в Евпаторию. *Их величества обещались приехать вскоре ту*да же, и, действительно, 16 мая они прибыли на день в Евпаторию.

Встреча в Евпатории была одна из самых красивых. Толпа инородцев, татар, караимов в национальных костюмах; вся площадь перед собором — один сплошной ковер розанов. И все залито южным солнцем. Утро их величества посвятили разъездам по церквам, санаториям и лазаретам, днем же приехали ко мне и оставались *до вечера; гуляли по берегу моря, сидели на песке и пили чай на бал*коне. К чаю местные караимы и татары прислали всевозможные сласти и фрукты. Любопытная толпа, которая все время не расходилась, не дала государю выкупаться в море, чем он был очень недоволен. Наследник выстроил крепость на берегу, которую местные гимназисты обнесли после забором и оберегали как святыню. Обедала я в поезде у их величеств и проехала с ними несколько станций.

В конце июня я вернулась в Царское Село. Лето было очень жаркое; но государыня продолжала свою неутомимую деятельность. В лазарете, к сожалению, слишком привыкли к частому посещению государыни; некоторые офицеры в ее присутствии стали себя держать развязно. Ее величество этого не замечала; когда я несколько раз просила ее ездить туда реже и лучше посещать учреждения в столице, государыня сердилась.

Атмосфера в городе сгущалась, слухи и клевета на государыню стали принимать чудовищные размеры, но их величества, и в особенности государь, продолжали не придавать им никакого значения и *отнеслись к этим слухам с полным презрением, не замечая гро*зящей опасности. Я сознавала, что все, что говорилось против меня, против Распутина или министров, говорилось против их величеств, но молчала. Родители мои тоже понимали, насколько серьезно было положение; моя бедная мать получила два дерзких письма, одно от княгини Голицыной, «belle soeur» Родзянко, — второе от г-жи Тимашевой. Первая писала, что она и на улице стыдится показаться с моей матерью, чтобы люди не подумали, что она принадлежит к «немецкому шпионажу». Родители мои в то время жили в Териоках, и я их изредка навещала.

Единственно, где я забывалась, — это в моем лазарете, который был переполнен. Купили клочок земли и стали сооружать деревянные бараки. Многие жертвовали мне деньги на это доброе дело, но и здесь злоба и зависть не оставляли меня; люди думали, вероятно, что их величества дают мне огромные суммы на лазарет. Лично государь мне пожертвовал 20.000. Ее величество денег не жертвовала, а подарила церковную утварь и походную церковь. Меня мучили всевозможными просьбами, с раннего утра до поздней ночи. И все говорили в один голос: «Ваше одно слово все устроит». Я никого не гнала вон, но положение мое было очень трудное. Если я за кого просила то или иное должностное лицо, то лишь потому, что именно я прошу — скорее отказывали; а убедить в этом бедноту было так же трудно, как уверить ее в том, что у меня нет денег.

Как-то придя ко мне, одна дама стала требовать, чтобы я содей*ствовала назначению ее мужа губернатором. Когда я начала убеж*дать ее, что не могу ничего сделать, она раскричалась на меня и грозила мне отомстить...

Как часто я видела в глазах придворных и разных высоких лиц злобу и недоброжелательность. Все эти взгляды я всегда замечала и сознавала, что иначе не может быть после пущенной травли и клеветы, чернившей через меня государыню. Посидев в тюрьмах и часто голодая и нуждаясь, я каюсь ежечасно, что мало думала о страдании и горе других, — особенно же заключенных: им и калекам хотела бы посвятить жизнь, если господь приведет когда-либо вернуться на родину.

В жаркие летние дни государыня иногда ездила кататься в Павловск. Она заезжала за мной в коляске; за нами в четырехместном экипаже ехали великие княжны. Они выходили из экипажей в отдаленной части Павловского парка и гуляли по лужайкам, собирая полевые цветы. Однажды мы ехали в Павловск по дороге к «белой березе». Правил любимый их величествами кучер Коньков. Вдруг один из великолепнейших вороных рысаков захрипел, повалился на бок и тут же околел. Вторая лошадь испугалась и стала биться. Императрица вскочила, бледная, и помогла мне выйти. Мы вернулись в экипаже детей. На меня этот случай произвел тяжелое впечатление. Конюшенное начальство приходило потом извиняться.

В лазаретах в Царском Селе устраивали для раненых всевозможные развлечения и концерты, в которых принимали участие луч*шие певцы, рассказчики и т. д.*

В августе из Крыма приехал Гахам караимский. Он представлялся государыне и несколько раз побывал у наследника, который слушал с восторгом легенды и сказки, которые Гахам ему рассказывал. Гахам первый умолял обратить внимание на деятельность сэра Бьюкэнена и на заговор, который готовился в стенах посольства с ведома и согласия сэра Бьюкэнена. Гахам раньше служил по Министерству *иностранных дел в Персии и был знаком с политикой англичан.* Но государыня отвечала, что это сказки, так как Бьюкэнен был полномочный посол короля английского, ее двоюродного брата и нашего союзника. В ужасе она оборвала разговор.

Через несколько дней мы уехали в ставку навестить государя. Вероятно, все эти именитые иностранцы, проживавшие в ставке, одинаково работали с сэром Бьюкэненом. Их было множество: генерал Вильям со штабом от Англии, генерал Жанен от Франции, генерал Риккель — бельгиец, а также итальянские, сербские, японские генералы и офицеры. Как-то раз после завтрака все они и наши генералы и офицеры штаба толпились в саду, пока их величества совершали «сербль», разговаривая с приглашенными. Сзади меня иностранные офицеры, громко разговаривая, обзывали государыню обидными словами и во всеуслышанье делали замечания: «Вот она снова приехала к мужу передать последние приказания Распутина». «Свита, — говорил другой, — ненавидит, когда она приезжает; ее приезд обозначает перемену в правительстве», и т. д. Я отошла, *мне стало почти дурно. Но императрица не верила и приходила в* раздражение, когда я ей повторяла слышанное.

Великие князья и чины штаба приглашались к завтраку, но великие князья часто «заболевали» и к завтраку не появлялись во время приезда ее величества; «заболевал» также генерал Алексеев. Государь не хотел замечать их отсутствия. Государыня же мучилась, не зная, что предпринять. При всем ее уме и недоверчивости, императрица, к моему изумлению, не сознавала, какой нежеланной гостьей она была в ставке. Ехала она, только окрыленная любовью к мужу, считая дни до их свидания. Я лично угадывала разные оскорбления и во взглядах, и в «любезных» пожатиях руки и понимала,

что злоба эта направлена через меня на государыню.

Вскоре их величества узнали, что генерал Алексеев, талантливый офицер и помощник государя, состоял в переписке с предателем Гучковым. Когда государь его спросил, он ответил, что это неправда. Чтобы дать понятие, как безудержно в высшем командном составе плелась клевета на государыню, расскажу следующий случай.

Генерал Алексеев вызвал генерала Иванова, главнокомандующего армиями южного фронта, и заявил ему, что, к сожалению, он уволен с поста главнокомандующего по приказанию государыни, Распутина и Вырубовой. Генерал Иванов не поверил генералу Алексееву. Он ответил ему: «Личность государыни императрицы священна для меня — другие же фамилии я не знаю!» Алексеев оскорбился недоверием к нему генерала Иванова и пожаловался на него государю, который его стал не замечать. Генерал Иванов, рассказывая мне об этом, плакал; слезы текли по его седой бороде. Государь, думаю, гневался на Алексеева, но в такое серьезное время, вероятно, не знал, кем его заменить, так как считал его талантливейшим генералом. Впоследствии государь изменил свое обращение с генералом Ивановым и был к нему ласков.

В ставке государыня с детьми и свитой жила в поезде. В час дня за нами приезжали моторы, и мы отправлялись в губернаторский дом к завтраку. Два казака конвоя стояли внизу, наверх вела крутая лестница; первая комната была зала, где ожидали выхода их величеств. Большая столовая с темными обоями. Из залы шла дверь в темный кабинет и спальню с двумя походными кроватями государя и наследника. Летом завтракали в саду в палатке. Сад был расположен на высоком берегу Днепра, откуда открывался чудный вид на реку и окрестности Могилева. Мы радовались, смотря на Алексея Николаевича. Любо было видеть, как он вырос, возмужал и окреп; он выглядел юношей, сидя около отца за завтраком; пропала и его застенчивость: он болтал и шалил. Особенным его другом стал старик бельгиец генерал Риккель.

Каждый день после завтрака наши горничные привозили нам из поезда платья, и мы переодевались в каком-нибудь углу для прогулки. Государь уходил гулять со свитой. Императрица оставалась в лесу с Алексеем Николаевичем, сидя на траве. Она часто разговаривала с проходившими и проезжавшими крестьянами и их детьми. Народ казался мне там несчастным. Бедно одетые и приниженные, когда они узнавали, кто с ними говорит, они становились на колени и целовали руки и платье государыни; казалось, что крестьяне, несмотря на ужасы войны, оставались верными своему царю. Окружающая же свита и приближенные жили своими эгоистичными интересами, интригами и кознями, которые они строили друг против друга.

После прогулки и чая в губернаторском доме государыня возвращалась к себе в поезд. Сюда к обеду приезжали государь и Алексей Николаевич; фрейлина и я обыкновенно обедали с августейшей семьей.

Среди неправды, интриг и злобы было, однако, и в Могилеве одно светлое местечко, куда я приносила свою больную душу и слезы. То был братский монастырь. Там находилась чудотворная икона Могилевской Божьей Матери... Я каждый день урывала минутку, чтобы съездить приложиться к иконе. Услышав об иконе, государыня также ездила раза два в монастырь. Был и государь, но в нашем отсутствии. В одну из самых тяжелых минут душевной муки, когда мне казалась близка неминуемая катастрофа, помню, я отвезла Божьей Матери мои бриллиантовые серьги. По странному стечению обстоятельств, единственной маленькой иконой, которую мне разрешили иметь в крепости, была икона Божьей Матери Могилевской,— отобрав все остальные, солдаты швырнули мне ее на колени... И первое приветствие по освобождении из Петропавловской крепости была та же икона, присланная из Могилева монахами, вероятно, узнавшими о моем заключении.

В последний раз, когда мы ездили в ставку, в одно время с нами приехала туда княгиня Палей с детьми, чтобы навестить великого князя Павла Александровича. Она приехала из Киева, где жила императрица-мать и великие князья Александр Михайлович и Николай Михайлович. Я два раза была у них, один раз одна, второй раз с их величествами и детьми. Мне было тяжело слышать их разговор, так как они приехали начиненные сплетнями и слухами и не верили моим опровержениям. Вторым событием был приезд в ставку Родзянко, который требовал удаления Протопопова. Редко кого государь «не любил», но он «не любил» Родзянку, принял его холодно и не пригласил к завтраку. Но зато Родзянко чествовали в штабе! Видела государя вечером. Он выглядел бледным и за чаем почти не говорил. Прощаясь со мной, он сказал: «Родзянко has worried me awfully. I feel his motives are quite false». Затем рассказал, что Родзянко уверял его, что Протопопов будто бы сумасшедший!.. «Вероятно, с тех пор, как я назначил его министром», — усмехнулся государь. Выходя из двери вагона, он еще обернулся к нам, сказав: «Все эти господа воображают, что помогают мне, а на самом деле только между собой грызутся; дали бы мне окончить войну»... и, вздохнув, государь прошел к ожидавшему его автомобилю.

На душе становилось все тяжелее и тяжелее; генерал Воейков жаловался, что великие князья заказывают себе поезда иногда за час до отъезда государя, не считаясь с ним, и если генерал отказывал, то строили против него всякие козни и интриги.

В последний раз мы были в ставке в ноябре 1916 г. Его величество уезжал с нами, а также его многочисленная свита и великий князь Дмитрий Павлович. Последний сидел на кушетке, где лежала государыня, и рассказывал ей всевозможные анекдоты; дети и я работали тут же, смежная дверь в отделение государя была открыта, и он занимался за письменным столом. Изредка он подходил к дверям с папироской в руках и, оглядывая нас своим спокойным взглядом, вдруг от души начинал смеяться какой-нибудь шутке великого князя Дмитрия Павловича. Вспоминая это путешествие, я после думала: неужели тот же великий князь Дмитрий Павлович через три недели мог так сильно опечалить и оскорбить их величества?..

Вскоре как-то раз, придя днем к государыне, я застала ее в горьких слезах. На коленях у нее лежало только что полученное письмо из ставки. Я узнала от нее, что государь прислал ей письмо великого князя Николая Михайловича, которое тот принес самолично и положил ему на стол. Письмо содержало низкие, несправедливые обвинения на государыню и кончалось угрозами, что если она не изменится, то начнутся покушения. «Но что я сделала?!» — говорила государыня, закрывая лицо руками. По рассказу одного из флигель-адъютантов в ставке знали цель приезда великого князя Николая Михайловича и потому были немало удивлены, когда увидели его приглашенным к завтраку.

Государь любил государыню больше своей жизни. Объясняю себе подобное поведение только тем, что все мысли государя были поглощены войной.

Помню, как в это время он несколько раз упоминал о будущих переменах конституционного характера. Повторяю, сердце и душа государя были на войне; к внутренней политике, может быть, в то время он относился слишком легко. После каждого разговора он всегда повторял: «Выгоним немца, тогда примусь за внутренние дела!» Я знаю, что государь все хотел дать, что требовали, но — после победоносного конца войны. «Почему, — говорил он много, много раз и в ставке и в Царском Селе, — не хотят понять, что нельзя проводить внутренние государственные реформы, пока враг на русской земле? Сперва надо выгнать врага!» Казалось, и государыня находила, что в минуту войны не стоило заниматься «мелочами», как она выражалась.

Раз вечером она показала мне дерзкое письмо княгини Васильчиковой, но только сказала: «That is not all clever, or well brought up on her part, — и смеясь, добавила, — at least she could have written on a proper piece of paper, as on writes to a Sovereign».

Письмо было написано на двух листочках из блокнота. Государь побелел от гнева. Сразу приказал вызвать графа Фредерикса. К нему было страшно подойти. Третье подобное дерзкое письмо написал ей первый чин двора, некто Балашев, чуть ли не на десяти страницах. У государыни тряслись руки, пока она читала. Видя ее душевную скорбь, в сотый раз спрашивала себя: что случилось с петроградским обществом? Заболели ли они все душевно, или заразились какой-то эпидемией, свирепствующей в военное время. Трудно разобрать, но факт тот: все были в ненормально возбужденном состоянии.

В декабре 1916 года ее величество, чтобы отдохнуть душою, поехала на день в Новгород с двумя великими княжнами и маленькой свитой, где посетила лазареты, монастыри, и слушала обедню в Софийском соборе. До отъезда государыня посетила Юрьевский и Десятинный монастыри. В последнем она зашла к старице Марии Михайловне, в ее крошечную келью, где в тяжелых веригах на железной кровати лежала много лет старушка. Когда государыня вошла, старица протянула к ней свои высохшие руки и произнесла: «Вот идет мученица — царица Александра!» Обняла ее и благословила. Через несколько дней старица почила.

* * *

Через два дня после нашего возвращения из Новгорода, именно 17 декабря, началась «бескровная революция» убийством Распутина. 16 декабря днем государыня послала меня к Григорию Ефимовичу отвезти ему икону, привезенную ею из Новгорода. Я не особенно любила ездить на его квартиру, зная, что моя поездка будет лишний раз фальшиво истолкована клеветниками.

Я оставалась минут 15, слышала от него, что он собирается поздно вечером ехать к Феликсу Юсупову, знакомиться с его женой Ириной Александровной. Хотя я знала, что Распутин часто видался с Феликсом Юсуповым, однако мне показалось странным, что он едет к ним так поздно, но он ответил мне, что Феликс не хочет, чтобы об этом узнали его родители. Когда я уезжала, Григорий Ефимович сказал мне странную фразу: «Что еще тебе нужно от меня, ты уже все получила...»

Я рассказала государыне, что Распутин собирается к Юсуповым знакомиться с Ириной Александровной. «Должно быть какая-нибудь ошибка, — ответила государыня, — так как Ирина в Крыму и родителей Юсуповых нет в городе».

Продолжение следует

РЕДКАЯ КНИГА



Александра Львовна ТОЛСТАЯ (1884—1979), младшая дочь создателя «Войны и мира», одна из деятельных помощников отца, была рядом с ним на протяжении долгого времени. Лев Николаевич, чьи отношения с семьей были очень сложными, Саше доверял бесконечно. Достаточно сказать, что только она заранее знала о его решении уйти из Ясной Поляны, помогала собираться в дорогу. В пути, не доехав еще до последнего своего, случайного пристанища в Астапове, именно ей написал он с дороги, посвящая в дальнейшие планы. В 1910 году Л. Н. Толстой сделал Александру Львовну официальной наследницей своей литературной сокровищницы. По завещанию, после смерти все его сочинения переходили в ее полную собственность. При этом, впрочем, была меж ними (и старшей сестрой Татьяной Львовной) договоренность: получив формально эти юридические права, Александра (а в случае ее смерти — Таня) сделает все, чтобы творения отца стали всенародным достоянием, а не частной архивной коллекцией.

Александра Львовна при жизни Толстого, как и мать, и сестра, не раз, помогая отцу, переписывала набело его произведения. О своих сочинениях в то время не помышляла. Потребность высказаться, вспомнить возникла позже. Она не вела, подобно Татьяне Львовне, дневниковых записей в течение более полувека («Дневник», «Друзья и гости Ясной Поляны»); она не стремилась в своих описаниях к исключительной исторической объективности, подобно Сергею Львовичу («Очерки былого»); она, хотя и находилась в яснополянской трагедии во враждующих лагерях со Львом Львовичем («В Ясной Поляне. Правда о моем отце и его жизни») и отдала дань субъективным оценкам в своей работе «Отец», вышедшей в Нью-Йорке в 1953 году, другую книгу — «Проблески во тьме» — писала как вещь глубоко личную, оригинальную, ничем не похожую на воспоминания остальных членов семьи великого писателя, бравшихся за перо.

И еще одно — до конца оставалась Александра Львовна верна светлой памяти отца и долгу перед его величием: сначала в Советской России, потом — за рубежом. В 20-е годы, после отъезда сестры Тани за границу, была она «заведующей Опытно-показательной станцией», директором Музея-усадьбы в Ясной Поляне. И, кроме того, — ходоком и просителем по многочисленным скорбным делам, а не только инициатором мероприятий по линии культурно-просветительской работы.

Для многих служила она примером мужества, была носителем милосердия, борцом за правду. Отцовское «не могу молчать» перешло у нее в кредо всей жизни — «не могу лгать». И никогда, даже в самые трудные годы, не теряла она веры в будущее России, пыталась найти в людях человеческое, защитить духовное.

В 1929 году Александра Львовна покинула родину, эмигрировала в США. Написала за свою жизнь немного. Но это редкие страницы нашей мемуарной литературы, ибо изложенное — не только часть истории культуры Отечества, но и неоценимый вклад в свод знаний о том, что мы и кто мы есть, откуда пошли.

Книга очерков «Проблески во тьме», значительную часть которых мы предлагаем вниманию читателей журнала «Слово», вышла в 1965 году. Это летопись, шедшая от сердца. Но без надрыва — повествование искреннее, незамутненное, в чем-то даже наивное. Это взгляд человека — сквозь неоднозначные и бурные, первородные революционные процессы — на многие проблемы нового, не известного дотоле общежития. И есть еще в книге одна подкупающая отличительная черта: она не мешает размышлять вместе с автором над глобальными проблемами и бытовыми мелочами текущей действительности и ушедшего прошлого.

Вступительное слово и публикация Ю. КРАСИКОВА

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

«СУДЬБЕ ВОПРЕКИ»

— Почему бы нам не начать издавать Толстого? — спросил меня раз приехавший из Петербурга писатель. — Неужели вы никогда об этом не думали?

— Ну, конечно, думала, — отвечала я, — но нельзя же издавать сейчас, когда все разрушается...

— Именно сейчас, в 1918 году, — сказал он со спокойной уверенностью, — судьбе вопреки. Разве нельзя начать хотя бы редакционную работу?

— Из этого ничего не выйдет.

Но мысль запала. И, чем больше я думала, тем возможнее и заманчивее казалось это дело.

Полные собрания сочинений, печатавшиеся до сего времени матерью, Сытиным и другими, были далеко не полными. Некоторые произведения, как например «Воскресение», были искажены цензурой, религиозно-философские статьи запрещены совсем, дневники и письма напечатаны лишь частично.

Друзья, с которыми я советовалась об организации этого дела, отнеслись к нему сочувственно. Мысль о созидательной, творческой работе во время всеобщего разрушения их увлекала. Особенно горячее сочувствие я встретила в Петербурге. Анатолий Федорович Кони, академики Алексей Александрович Шахматов, Всеволод Измайлович Срезневский, писатель Александр Модестович Хирьяков, толстовец-финн и другие — все приняли горячее участие в организации, которой мы дали название: Общество изучения и распространения творений Л. Н. Толстого (позднее оно было перерегистрировано в Кооперативное Товарищество).

В Петербурге мы собирались большей частью на квартире у моряка-толстовца. Несмотря на скромное положение редактора какого-то морского журнала, у него на Васильевском острове была прекрасная квартира, похожая на кают-компанию, со множеством картин с морскими видами по стенам. В царские времена этот толстовец-финн издавал отцовские запрещенные статьи, сидел за них в тюрьме, ввозил их контрабандой на своей яхте из Финляндии.

Для начала работ надо было достать денег. От сумм, вырученных от издания посмертных произведений отца и истраченных, согласно его воле, на покупку яснополянской земли для крестьян, осталось около 20 000. С помощью книгоиздательства «Задруга» нам удалось выцарапать из банка эти деньги.

Позднее книгоиздательство «Задруга» согласилось взять на себя издание первого полного собрания сочинений Толстого и оплачивать нашу редакционную работу. К «Задруге» присоединились московская «Кооперация» и некоторые другие центральные кооперативные организации.

Первым нашим руководителем по работам в Румянцевском музее, где хранились все рукописи отца до 1880 года, был Тихон Иванович Полнер, позднее его заменил проф. Ал. Евг. Грузинский. В. И. Срезневский приезжал в Москву периодически. В одной из больших зал музея, где мы меньше всего мешали стуком машинок, нам поставили несколько столов. Музей не отапливался. Трубы лопались, как и везде. Мы работали в шубах, валенках, вязаных перчатках, изредка согреваясь гимнастическими упражнениями.

Стужа в нетопленном, каменном здании, с насквозь промерзшими стенами, куда не проникает солнце, где приходилось часами сидеть неподвижно, — хуже, чем на дворе. Согреться невозможно. Сначала остывали ноги, постепенно леденящий холод проникал глубже, казалось, насквозь промерзало все нутро, начиналась дрожь. Мы запахивали шубы, старались не двигаться, но дрожь усиливалась, стучали зубы.

Неизданная комедия «Зараженное семейство», начало повести «Как гибнет любовь», дневники, письма, варианты «Детства», бесконечные варианты «Войны и мира» были уложены в двенадцати желтеньких ящиках, набитых так, что, когда вынималась рукопись, запихнуть ее обратно было почти невозможно. Мать любила рассказывать, как один из братьев убирал кладовую и выбросил в канаву вместе со всяким хламом груду бумаг. «Хорошо, что я заметила, — заключала она свой рассказ, — я глазам своим не поверила, когда увидела, что это рукописи «Войны и мира». Кабы не я, все рукописи погибли бы».

Забывая холод и голод, мы читали новые сцены, характеристики героев «Войны и мира», и бывало иногда непонятно и обидно, зачем отец выбросил те или иные страницы.

Мы радовались, как дети, когда удавалось разобрать трудные слова, хвастались друг перед другом. Машинистки состязались в количестве напечатанных листов.

Брат Сергей и я проверяли дневники. Сначала он следил по тексту, затем я. Мы привыкли к почерку отца, но все же нам приходилось прочитывать одно и то же бесконечное число раз, находя все новые и новые ошибки. Мы особенно торжествовали, когда находили такие ошибки, как вместо Банкет Платона, как было напечатано в дневниках издания Черткова, оказался Бином Ньютона.

Работа увлекла решительно всех. Среди нас были знатоки иностранных языков. Они выправляли французский текст переписки отца с тетенькой Татьяной Андреевной. Это были дамы гладкопричесанные, в стареньких, когда-то очень дорогих шубах.

Моряк-толстовец, хороший фотограф, работал в другом помещении, снимал неизданные произведения отца. В то время нам мерещились новые бои с большевиками на улицах Москвы, разрушение, гибель рукописей. Мы переписывали, фотографировали и держали копии в разных местах. Одна из копий неизданных произведений была даже послана в университет «Станфорд» в Америку.

К двенадцати часам, когда дрожь во всем теле делалась совершенно невыносимой, звали пить чай. Каждый из нас брал с собой свою посуду, принесенную из дома, завтрак, и мы все шли вниз в подвальный этаж. Откуда-то приносились громадные чайники с кипятком.

Профессора, ученые, исхудавшие музейные работницы, сняв перчатки, грели руки о дымящиеся кружки. Бережно, стараясь не расплескать, они несли драгоценную мутную жидкость, напиток из сухой моркови и земляничного листа, который мы называли чаем, каждый разворачивал свой пакетик с завтраком: кусочек пайкового хлеба, две картошки, сухую воблу.

— Морковь чрезвычайно питательна, — говорил один из ученых, разворачивая газетную бумагу, из которой показывались две темные вареные «каротели», — она вполне может заменить хлеб...

— Да, но ее тоже не всегда можно достать. Вы знаете, моя жена делает замечательные лепешки, она в ржаную муку прибавляет картофельные очистки и, когда может, — яблоко.

Я старалась не замечать этих голодных глаз, дрожащих, жадных рук...

Чай горячий, обжигает горло, но стараешься поглотить его как можно больше. Две, три большие кружки. С завистью мы косились на одного из профессоров, у него черный хлеб переложен тоненькими кусочками прозрачного копченого сала. Сахара почти ни у кого нет. Охотно предлагают друг другу сахарин.

Я приношу себе большей частью тоненький кусочек хлеба

и воблу. Она твердая, ее надо долго жевать, и потому на время исчезает чувство голода, а главное, после соленого можно влить в себя большее количество чая.

Но вот мы, разогретые, веселые, снова садимся за рукописи. В глазах рябит от косого, неразборчивого почерка. В самых ранних рукописях он мельче и буквы круглее. Мы погружаемся в рукописи. Еще три с половиной часа холода, а остывание наступает скорее, чем утром.

Эти несколько лет, которые мы проработали в Румянцевском музее, были для меня самыми яркими и, пожалуй, счастливыми в мрачные, безотрадные дни революции. Проделанная нами работа давала большое внутреннее удовлетворение. За эти годы были разобраны, каталогизированы, переписаны, сверены с текстом и частью сфотографированы рукописи, хранящиеся в Румянцевском музее. Многие произведения были проредактированы и подготовлены к печати.

В 1923 году книгоиздательство «Задруга», преследовавшееся много лет, было окончательно разгромлено большевиками. Это было началом уничтожения всех кооперативных писательских организаций. Денег на редакционные работы взять было неоткуда. После долгих колебаний мы наконец согласились соединиться с В. Г. Чертковым и нашу совместную работу предложить для напечатания Госиздату.

В. Г. Чертков в то время сорганизовал вокруг себя редакционную группу, состоящую большей частью из толстовцев, работавших над редактированием произведений, написанных отцом после 1880 года.

К 1928 году — столетию со дня рождения отца — должно было выйти первое полное собрание сочинений Толстого в 90 томах. Но с момента перехода нашего дела к государству я перестала им интересоваться. Издание Толстого было одним из тех многочисленных дел, которые громко рекламируются, но в сущности не делаются большевиками. С одной стороны, большевики запрещали народным библиотекам и школам держать книги Толстого; религиозно-философские статьи и «Круг чтения» сделались библиографической редкостью, — с другой, большевики взялись издавать 90-томное собрание сочинений Толстого, которое в конце концов за шесть лет свелось к выпуску в количестве 1000 экземпляров нескольких томов.

И кто же может купить это полное собрание, стоящее около 300 рублей? Иностранцы? Сами большевики? Разумеется, ни рабочий, ни крестьянин, ни голодающий интеллигент. Поэтому с точки зрения распространения идей Толстого издание это не имело бы никакого значения.

Но приведение в порядок рукописей отца, редакционная работа, проделанная небольшой кучкой людей в столь тяжких условиях, является одним из тех подвигов русской интеллигенции, которые «судьбе вопреки» совершались и совершаются в настоящее время в России оставшимися в живых русскими людьми.

«БАТЮШКА-БЛАГОДЕТЕЛЬ»

Мужики разгромили Малое Пирогово, где жил князь Оболенский*, и он с женой и детьми приехал в Ясную Поляну.

Сестра Таня уступила ему низ своего дома-флигеля, а сама переехала наверх. В большом доме жили две старушки: мама и тетенька Татьяна Андреевна. Тихо было здесь и мертво. Иногда только, когда из флигеля прибегала маленькая Танечка, оживал старый дом, просыпалась бабушка, часто дремавшая теперь в кресле-качалке. Куда девалась ее прежняя энергия, работоспособность? Ее мало что интересовало. Читать, писать ей было трудно, глаза плохи стали. Тетенька писала мемуары, иногда пела, и от ее дребезжавшего и пресекающегося, но все еще прекрасного и звонкого голоса делалось еще тоскливее

Приблизительно в это время появился и «благодетель». Он был писатель, приезжал к отцу и раньше и всегда привозил с собой новые изобретения. В Крыму в 1900 г., когда только что появились автомобили, он приехал к нам в Гаспру, к ужасу матери усадил отца в автомобиль и укатил с ним куда-то. Позднее он привез в Ясную Поляну граммофон и, несмотря на протесты отца, оставил его в подарок семье. Ходил он согнувшись, точно стеснялся своего роста, и казалось, что его худое тело вот-вот сложится пополам. Должно быть, лицо у него было правильное, может быть, красивое, смуглое, с правильными чертами; но поражало не это, а выражение слащавости.

В 1918 году в Туле создалось общество «Ясная Поляна». Писатель был избран председателем этого общества, поселился в Ясной Поляне в бывшем кабинете отца, в большом доме и стал хозяйничать.

Основание общества «Ясная Поляна» в момент общей разрухи, когда еще не вполне прошла волна усадебных погромов, несомненно, имело большое значение. Местные большевики, не освоившиеся с властью, может быть, даже и не поверившие еще в свое могущество, действовали осмотрительно и осторожно, а то, что какое-то официальное объединение заботилось о Ясной Поляне, было очень важно. В 1919 году, когда Деникин был уже недалеко от Тулы, общество «Ясная Поляна» совершенно серьезно обсуждало вопрос о том, что Красная и Белая армии должны сговориться, чтобы бои происходили вне зоны Ясной Поляны.

Общество «Ясная Поляна» состояло из чрезвычайно порядочных людей, но вскоре оказалось, что под прикрытием общества председатель действовал самостоятельно, члены общества пробовали протестовать, но напрасно. Он говорил так ласково и сладко, таким таинственным туманом окутывал свои начинания, что члены правления молчали в бессильном недоумении. Мысль построить в Ясной Поляне школу — памятник Толстому — впервые зародилась в обществе. Таинственно появился откуда-то лес для школы и лежал несколько месяцев под дождем. Председатель выбрал место для постройки, произошла торжественная закладка фундамента, но прекрасный сосновый лес исчез куда-то так же таинственно, как появился, и писатель теперь все внимание устремил на постройку шоссе. Работали землекопы, подвозили шлак с завода Косой горы. Он отдавал приказания служащим, приказывал запрягать и отпрягать лошадей.

В те редкие приезды, когда мне удавалось навестить Ясную Поляну, я бывала не раз поражена странностью той роли, не то спасителя Ясной Поляны и ее обитателей, не то управляющего, которую взял на себя председатель общества. Он вечно что-то раздавал полуголодному и раздетому населению: кусочки мыла, шоколада, и вид у него был такой, точно он благодетельствовал их по гроб жизни. Со свойственной ему ловкостью, именем Толстого он выпрашивал у правительства всевозможные продукты и вместо того, чтобы передавать их на склад Ясной Поляны для правильного распределения, разыгрывал из себя благодетеля и распоряжался ими сам, пользуясь этим для того, чтобы постоянно захватывать все большую и большую власть над жителями Ясной Поляны, не могущими достать ни предметов первой необходимости, ни питания.

Тетенька шутя прозвала писателя «батюшкой-благодетелем». Это прозвище так и осталось за ним навсегда.

Не знаю кому: обществу «Ясная Поляна», писателю или сестре Тане пришла в голову мысль об организации в Ясной Поляне советского хозяйства, но, когда я была в Москве, ко мне приехал Коля Оболенский и спросил, не имею ли я чего-либо против его назначения заведующим.

Я откровенно сказала ему, что считаю его непригодным для этого дела. Он возразил мне, что все остальные члены его семьи, даже мама, не возражают. Я поняла, что мой протест не имел никакого значения и действительно, Комиссариат земледелия вскоре назначил его заведующим имением.

Оболенский пропал бы без писателя, и, хотя писатель его в грош не ставил, они поладили.

Власть писателя особенно возросла после того, как, заручившись мандатами, он съездил на Украину за хлебом.

В 1918—1919 годах хлеб в наших местах не родился и крестьяне голодали. Пекли хлеб с зелеными яблоками, с желудями. Желудей в те годы родилось видимо-невидимо. Крестьяне мешками таскали их домой, мололи муку, пекли хлеб. Хлеб выходил невкусный, и у всего населения зубы от желудевой муки были черные, точно выкрашенные. Улыбнется красивая девушка, а зубы черные, смоляные, даже жутко.

Вернулся писатель с вагонами белой муки, крупами, сахаром не только для обитателей усадьбы Ясная Поляна, но и для всей яснополянской деревни.

— Батюшка, благодетель ты наш, — вздыхали бабы, — дай Бог здоровья ему, деткам его, внукам. Спас от голодной смерти.

* Муж сестры Маши, после ее смерти женатый на Н. М. Сухотиной.

Все обитатели Ясной Поляны его приветствовали.

— Пропал бы без него, — говорил Оболенский, — удивительный человек! Все раздобудет.

Служащие в яснополянском доме не знали, как и чем угодить благодетелю, а он покрикивал на них, да и на всех обитателей Ясной Поляны. Кричал на мать и на сестру, когда она хотела внести порядок в распределение продуктов.

— И чего вы вмешиваетесь, — грубо резал он, — ведь вы решительно ничего в делах не понимаете, весь ваш удельный вес равняется нулю.

Сестре было больно. А я выходила из себя:

— Выгони ты его, — горячилась я, — как он смеет говорить грубости!

Но сестра терпела. У нее более кроткий характер, чем у меня.

Я не могла не видеть, как в Ясной Поляне распоряжаются чуждые и отцу, и нам люди. Отцовским именем выпрашивали подачки у правительства, неправильно распределяли, окружали себя родственниками и фаворитами, а усадьба постепенно приходила все в больший и больший упадок. Зарастал старый парк, погибали плодовые деревья, в Чепыже срезали старые березы, разрушались постройки. В доме все изменилось, только две отцовские комнаты оставались в том же виде, что и при нем, но почему-то в кабинете грудой были навалены посмертные венки, что придавало совершенно иной характер всей обстановке.

У Оболенского было четыре помощника: три мальчика по 17 лет и бывший кучер Адриан Павлович, который тянулся изо всех сил, чтобы поддержать хозяйство. Один из помощников был сын писателя. И смешно и противно было смотреть, как этот молокосос, заложив ногу за ногу, развалясь в мягком кресле, заставлял пожилого Адриана Павловича стоять перед ним, пока он отдавал распоряжения.

Более 1150 человек были на государственном снабжении, получали пайки, хотя земля, всего 30 десятин, обрабатывалась крестьянами исполу.

Старушки держались в загоне. Помню, мама никак не могла добиться, чтобы в большом доме вымыли и вставили вторые рамы. А была уже поздняя осень, холодно, во флигеле, где жил Оболенский, дом был уже давно утеплен. Наконец, мама, стоя на сквозняке, сама стала мыть стекла.

Таня не могла добиться лошадей, когда надо было ехать в город.

Это продолжалось около года. Все чувствовали, что в Ясной Поляне неблагополучно. У Тани во флигеле устроили совещание. Благодетель долго и туманно говорил о творческой созидательной работе в Ясной Поляне, где стройный оркестр под управлением вдохновенного дирижера будет играть прекраснейшую симфонию.

— Я желал бы играть одну из скрипок, — сказал брат Сергей, принимая всерьез речь благодетеля.

Таня, на минутку оторвавшись от вязанья (она всегда что-нибудь делала), иронически улыбнулась.

— Пф! — фыркнул благодетель. — А не думаете ли вы, Сергей Львович, что вы нарушаете стройность оркестра? — и, помолчав, добавил снисходительно. — Ну, мы вам дадим последнюю скрипку...

Закипело у меня внутри. И, несмотря на уговоры сестры и брата, налетела я на благодетеля, накричала, уехала в Москву и записалась на прием к Луначарскому.

Это было мое первое знакомство с наркомом по просвещению. Поразила несерьезность обстановки: письменные столы, конторки, заваленные бумагами, пишущие машинки, машинистка, стенографистка, тощий молодой человек, мольберты, два художника, скульптор... Луначарский позировал, художники лихорадочно работали. Нарком встал мне навстречу, приветливо поздоровался и опять сел в том же положении, как и раньше.

— Что я могу для вас сделать? — спросил он, не поворачивая головы.

Меня смутила обстановка, говорить было трудно, но я сделала усилие и коротко, обстоятельно изложила ему дело о Ясной Поляне.

— Мне кажется, — сказала я в заключение, — что Ясная Поляна должна быть не советским хозяйством, а музеем, как дом Гете в Германии...

Луначарский слушал молча, не перебивая, и вдруг неожиданно вскочил и стал бегать по комнате, диктуя стенографистке. Я смотрела на него со все возрастающим изумлением. Актер, играющий роль министра. Его стремительность, звучный, сдобный голос, золотое пенсне на носу — все было «нарочно». И, играя, Луначарский упивался своим положением, властью, любовался собой и жадно следил за впечатлением, которое производил на окружающих.

Не успела я опомниться, как уже держала в руках бумагу с назначением меня полномочным комиссаром Ясной Поляны. Внизу красовалась подпись красными чернилами: «А. Луначарский», стояла печать народного комиссариата по просвещению.

Очень довольный впечатлением, произведенным на меня, нарком продолжал позировать, а я вышла из комнаты, ошеломленная его поступком. Победа была слишком легкая, сегодня я комиссар, а завтра могут и в тюрьму засадить.

Я выселила писателя, против желания всех служащих. Тетенька уверяла, что он никогда не уедет.

Я сказала ему, что я назначена комиссаром Ясной Поляны и считаю его пребывание в Ясной Поляне бесполезным. Он по обыкновению начал говорить мне грубости. Я стояла на своем. Через полчаса я получила от него длинное письмо с точным, прекрасным изложением взглядов моего отца.

— Ваш отец не поступил бы так, — писал благодетель, — и, разумеется, был бы прав.

Через два часа сторожа выносили вещи писателя. Он уехал, провожаемый любовью и уважением всей усадьбы.

В Ясной Поляне читали вслух «Село Степанчиково» и ждали возвращения Фомы Опискина. Действительно, писатель не исчез. Несколько лет спустя мне еще раз пришлось столкнуться с ним.

Расставшись с Ясной Поляной, ему не хотелось расставаться с именем Толстого, давшим ему такое блестящее положение. Заручившись мандатом от какой-то организации или общества, писатель отправился на Украину и получил несколько вагонов с продовольствием и всяким добром, на этот раз для организации дома отдыха для украинских ученых в Крыму, в Гаспре, в бывшем имении графини Паниной, где в 1901 году тяжело болел отец.

Получив все это богатство, писатель почему-то передумал и, вместо устройства дома отдыха, ликвидировал имущество Украинского Наркомпрода и уплыл в Константинополь закупать английские костюмы.

Украинские ученые, приехав в Гаспру, были поражены, найдя там пустой, необорудованный дом; разобиженные, вернулись обратно и сообщили властям о том, что случилось...

В. О. Булгаков, бывший секретарь отца, рассказал мне, что, приехав в Севастополь к писателю, он застал там следующую картину.

Несколько недель в Севастополе жил советский чиновник, командированный Наркомпродом для расследования дела о Гаспринском доме отдыха. Писатель только что вернулся из Турции, распорядился английскими костюмами и теперь осуществлял новый проект: создание в Севастополе музея Льва Толстого.

Советского чиновника писатель просвещал, толково и ясно излагал ему учение Толстого о непротивлении злу насилием, рассказывая ему о близости к Толстому, ловко и осторожно выставляя свое значение в жизни Толстого и свою дружбу с великим писателем. Чиновник трепетал. Но один раз разговорился с Булгаковым и, видя, что Булгаков не защищает писателя, он стал с жаром говорить ему о том, что писатель не имел права ликвидировать продовольствие, ехать в Турцию, покупать английские костюмы, он должен ответить перед властями за свои незаконные действия.

— Под суд, в тюрьму его!

И, набравшись храбрости, ревизор заводил речь об отчетах. Писатель слушал, а затем кротко начинал говорить о христианской любви. Долго ли, коротко ли продолжалась эта комедия — не знаю. Писатель не пострадал, но в крымских газетах появилась заметка, подписанная семьей Толстых и всеми толстовскими организациями, о том, что мы ничего общего с деятельностью писателя не имеем и за действия его не отвечаем.

Продолжение следует

Марк АЛДАНОВ (Марк Александрович Ландау) родился 7 ноября 1886 г. в Киеве. В 1910 г. окончил сразу два факультета Киевского университета — юридический и физико-математический. Продолжил обучение в Париже по специальности инженера-химика. В 1915 г. опубликовал литературоведческое исследование «Толстой и Роллан». В годы первой мировой войны участвовал в Петербурге в разработке способов защиты от газовой атаки (работы в области химии продолжал всю жизнь: в 1937-м вышла его «Актинохимия», в 1951-м — «К возможности новых концепций в химии»). После Октября эмигрировал во Францию. За рубежом издал ряд увлекательных по сюжету романов, действие которых охватывает события русской и западноевропейской истории на рубеже XVIII и XIX веков: тетралогия «Мыслитель» («Святая Елена, маленький остров», 1923, «Девятое термидора», 1923, «Чертов мост», 1925, «Заговор», 1927). Романы тридцатых годов составляют трилогию о судьбах интеллигенции в русской революции: «Ключ», «Бегство», «Пещера». В 1931 г. выходит его книга «Десятая симфония» — о Бетховене.

Скончался писатель 25 февраля 1957 г. в Ницце.

Долгие годы советский читатель не мог познакомиться с творчеством М. Алданова. Лишь в последнее время положение меняется. Журнал «Сельская жизнь» напечатал его роман «Девятое термидора», «Дружба народов» — роман «Ключ», «Юность» собирается опубликовать «Святую Елену...»

Мы же предлагаем главу из авантюрно-фантастического романа «Бред». Любопытно, что при первой публикации своего произведения автор опустил этот отрывок. Главное действующее лицо романа Шелль, поясняет М. Алданов, работает в разных разведках под кличкой «граф Сен-Жермэн», поскольку всю свою жизнь был увлечен личностью этого авантюриста XVIII столетия. Шеллю предлагают способствовать вывозу из Москвы ученого Николая Майкова, сделавшего важное открытие. Он мучительно колеблется: принять ли опасное и почти неосуществимое предложение? Находясь на острове Капри, Шелль узнает из газет о смерти Сталина. Нервное напряжение у него усиливается. Чтобы снять стресс, он принимает мексиканское снадобье Ололеукви. Лекарство вызывает у него бред...

Публикацией главы из романа «Бред» (в сокращенном варианте) редакция возобновляет свою традиционную рубрику «Фантастика» и впредь будет регулярно знакомить подписчиков с произведениями этого популярного жанра.

МАРК АЛДАНОВ

БРЕД ШЕЛЛЯ



ФАНТАСТИКА

— ...Отчего же вам не уехать в Америку, гражданин Майков? Вы стали бы там директором огромной лаборатории, получали бы тысяч двадцать долларов жалованья в год да еще, быть может, с участием в прибылях. Лабораторию вам дали бы превосходную, вы были бы в ней полным хозяином, под вашим руководством работало бы человек десять молодых ученых. У вас был бы собственный дом с садом. Вас знал бы весь ученый и даже неученый мир: газеты присылали бы к вам репортеров за интервью, — шутка ли сказать, такое огромное открытие! А здесь вы живете в этой убогой комнатушке с продранным диваном, с некрашенным кухонным шкафом, с тремя грязными стульями, с шатающимся крошечным письменным столом, с которого, вероятно, вечно все падает. Есть ли у вас ванна? Нет? Человек, не имеющий ванны, не может даже претендовать на уважение. А ваши соседи? Верно, они вам отравляют жизнь. На заказ трудно было бы придумать столь бездарное существование для столь одаренного человека, как вы. У нас на Западе дураки говорят, что вам чужды мещанские привычки и требования. У вас этого, должно быть, не говорят. Как и нам, вам хочется хорошей или хотя бы сносной жизни. Сюда входит, разумеется, и свобода, особенно бытовая, — без политической свободы вы, пожалуй, могли бы обойтись. Вы ученый, изобретатель, вам важна независимость, важно общение с другими людьми науки.

Здесь вы работаете в казенной лаборатории, не очень плохой, но и не очень хорошей, над вами много начальства, и вы должны подчиняться, как школьник. Между вашими товарищами есть, наверное, хорошие люди, но, по воле советской судьбы, они прежде всего конкуренты. Каждый ваш успех — это неуспех для них. Они поневоле ревниво следят за вами, некоторые вас подсиживают, кое-кто на вас доносит. Ваше открытие рассматривается в комиссии. Ее руководители — коммунисты и, по общему правилу, ничего не понимают в науке. Большинство других не очень желает, чтобы выдвинулся новый человек. А что такое «выдвинулся»? Если ваше открытие будет признано ценным, вы получите повышение в ученом чине, у вас будет квартира из двух комнат, столь же дрянная, как эта, вам могут дать и какой-нибудь орденок. Ваши товарищи будут шипеть и издеваться. При первой же, хотя бы ничтожной, неудаче вас съедят враги и завистники. Я знаю, вы были в свое время арестованы. За что, мне неизвестно. Верно, кто-нибудь возвел на вас обвинение, в лучшем случае якобы научное: ошибка, просчет, недостижение обещанного результата. Возможно, что это был просто вздор. Но, допустим, он сказал правду: вы в самом деле сделали ошибку. Это бывает, это даже неизбежно в работе. В Америке частные предприниматели в своих расчетах делают поправку на возможные ошибки. Если она была очень велика, на Западе ученый может потерять место. Вас же посадили в тюрьму. В худшем же случае вас обвинили в том, что вы когда-то были кадетом или меньшевиком, или народным социалистом. Разве при таких условиях можно плодотворно работать? Или я говорю неправду?

— Я не понимаю, к чему вы это все говорите.

— Надеюсь, вы не думаете, будто вы работаете на Россию? Так могут думать только дураки или люди, цепляющиеся за соломинку, чтобы не превращать свою жизнь уж в совершенную бессмыслицу. Вы работаете на Сталина и на мировую революцию, то есть на невежественного, тупого, хотя и хитрого, злодея, и на то, чтобы превратить еще миллиард людей в глупое, быстро развращающееся стадо. Что вам здесь делать? Вашим открытием могли бы заинтересоваться лишь в том случае, если б вам покровительствовал какой-нибудь сановник. А как вы к нему пролезете? Вы пролезать не умеете. Да это и довольно опасно. От Кремля до Лубянки два шага и в прямом, и в переносном смысле этих слов. Тут логически построенный роман. Композиция прекрасная, как у всех средних романистов. Глава первая: он никто. Глава пятая: он лакей при большой особе. Глава десятая: он сам большая особа. Глава пятнадцатая: он в застенке. Но допустим, допустим, все будет гладко. Пустят ли вас без заложников за границу обмениваться мыслями с западными учеными? Едва ли. Для этого надо совершенно продаться большевикам. Можете ли вы читать иностранные книги лучших писателей наших дней? Не можете: вашими литературными вкусами ведает начальство, читай то, что тебе разрешают. В Америке вы тотчас составили бы себе большую прекрасную библиотеку. Какая это радость — покупать и читать книги! Помните предсмертное обращение к ним Пушкина: «Прощайте, друзья»?.. А теперь у вас эта жалкая полка. И печать вы читаете только советскую; она, помимо всего прочего, самая скучная и бездарная в мире. Разве не так?

— Это так, но все-таки убирайтесь поскорее. Я терпеть не могу шпионов.

— Что такое шпион? Эдит Кавелл занималась шпионажем, ее одна из воевавших сорок лет тому назад сторон расстреляла, а другая поставила ей памятник. В пору войны тысячи французов из Resistance погибли, как шпионы, и их теперь признает героями вся Франция. «La trahison est une question de dates», — говорил Талейран. Они делали свое дело не ради денег. Им все же платили, и это совершенно естественно, «людям надо есть и пить», — говорит полковник. Их мотивы? А почему вы знаете мои? Продался я или нет, это вопрос личный, частный и малоинтересный. Вообще не судите строго, а то понадобится слишком большая скамья подсудимых. У вас есть другая возможность: стать мучеником. Нехорошо. Это при царях можно было стать мучеником, с разными величественными словами. Есть ведь такие слова — бриллианты, чаще всего фальшивые: «Я умираю за свободу» и так далее. А теперь нельзя. Никто и не узнает о вашем мученичестве или узнает года через два. Да и всем решительно все равно: одним мучеником больше. Лучше утешайтесь угрызеньями совести: для кокетливых людей они клад. Или вы не кокетливы? Наташа об этом мне не сказала, я вообще плохо вас понимаю. Ведь и Ололеукви было для того, чтобы вас понять. Ради Бога, говорите больше, говорите не односложно, говорите ярко... Ну, вот, вы здесь из самых лучших, но ведь и вы подписывали разные верноподданические телеграммы Тиберию: «Расстреляли таких-то, спасибо вам сердечное, гениальный Иосиф Виссарионович!» Ведь подписывали? И я на вашем месте подписывал бы, но «бы» это сослагательное наклонение, а в изъявительном я ничего не подписывал. Поедем в Америку, чтобы больше не подписывать, а? Да, здесь и каяться неудобно: из десяти собеседников уж один наверное сексот. Пошловато? Может быть, но чистая правда. Человека вылечить можно разве только сорокаведерными бочками правды, да и то не наверное. Русской интеллигенции больше нет. «Почиют вечным сном — высокородные бароны». Была, была русская интеллигенция! И литература была, да какая: благородная, талантливая, порою гениальная. Мы думали, что русская литература не продается, ни купить, ни запугать ее нельзя. А теперь откроешь наудачу книгу — автор продался, ну, не целиком, а на пятьдесят процентов, на двадцать, на десять продался. Правда, прежде правительство у вас было гордое и непонятливое. При Николае I было запрещено не только ругать правительство, но хвалить его: не нуждаемся. Нынешние правители догадались: «Как же не хвалить? Пусть лоб расшибают!» Они уже тридцать пять лет развращают людей с большим, замечательным, изумительным успехом. Русский народ был одним из наиболее умных, наиболее тонких, наиболее «духовных» в мире. Но действия самой колоссальной развращающей силы в истории он не выдержал, да и не мог выдержать. С немцами при Гитлере случилось то же самое: почти все к нему шмыгнули, писатели, философы, ученые. Можно еще сказать, что дело не в человеке и даже не в народе, началась новая историческая эпоха, и т. д. Непременно скажите это: хорошее утешение, социологическое... Я все же надеюсь, что у вас от прошлого осталось хоть немного чувства иронии, а? Наташа говорила, что прежде вы ругали всех и вся. А теперь у вас какая-то «панацея». Тусклый вы что-то выходите, Николай Аркадьевич. А может быть, вам хотелось бы, чтобы и на Западе все продавались, чтобы везде были только пресмыкающиеся люди. Но это не так. От меня никто приветственных телеграмм не требует, а если б кто потребовал, я послал бы его к черту. Да на Западе и чисток никаких нет. Послушайте, а ваша скука, чудовищная, невероятная, невыносимая скука Советской России! Записывали ли вы ваш день? Плохая работа, плохой обед, эта ужасная комната. То же и завтра, и день за днем, и год за годом. Говорят, у вашей молодежи «горят глаза», она, видите ли, и без свободы, при этой чудовищной скуке, «радостно строит новую жизнь». Может, и строит, да такова эта новая жизнь, что уж лучше было бы не строить. Они ведь *бодрые атеисты* — редкая и глупая порода людей. Что могут они понимать со своим птичьим комсомольским разумом! И вовсе не горят у них глаза. Глаза горят только у служащих Интуриста. Они-то и есть «фанатики», им отлично платят. У гитлеровских фанатиков тоже, верно, горели глаза. Нет, поедем на Запад, поедем, дорогой гражданин Майков. Я, разумеется, не говорю, что все зло находится по одну сторону Железного Занавеса, есть достаточно зла и по другую сторону. И государственных людей на Западе почти нет. Черчилль единственный, но он человек из Вальтера Скотта, ему бы, вместо Айвенго, драться на турнире в Ашби-ле-ла-Зуш. Больше, кажется, никого нет. Многие вам назовут Неру, я очень не люблю этого лицемера, который считает себя спасителем мира. Одна у него, впрочем, была светлая мысль: он первый понял, что под видом крайней новой демократии можно убедить людей проглотить любой старый заваливавшийся хлам, кашмирский и другой. Но все-таки в свободном мире государственные *люди*, а у вас государственные *звери*.

— Вы даром теряете время. Я за границу не уеду. И вам не стоило приезжать сюда для того, чтобы говорить мне об удобствах жизни в Америке и о преимуществах политической свободы перед рабством.

— Я начал с практических доводов. Понимаю, понимаю, они для вас не имеют значения. Конечно, я говорил общие места, но ведь у вас и общие места забыли. Постойте, быть может, вы опасаетесь, что вас плохо встретят русские эмигранты? Я их мало знаю и мало ими интересуюсь. Ничего плохого о них сказать не могу, кроме разве самого худшего: того, что они «quantité negligeable», они Чан-Кай-Шеки без Формозы. Верно, между ними есть и очень хорошие, и очень плохие люди. Видите, я не боюсь общих мест. И странно было бы, если б в России остались только плохие, а за границей оказались только хорошие или наоборот. Ведь и самый отъезд определялся миллионом случайностей, а с ним и взглядом человека. Везде и всегда в мире был принцип: cujus regio, ejus religio. Помню, Вольтер говорил мне...

— Кто вам говорил?

— Вольтер. При Людовике XV я встречался во Франции с самыми

знаменитыми людьми. Сколько раз я разговаривал с самим королем. Фридрих тоже меня любил, он говорил, что граф Сен-Жермэн самый замечательный человек его времени и, конечно, лучший из врачей.
— Так, так... Значит, вы просто не в своем уме?..

— ...Вы не в своем уме, — сказал извозчик. — Где же это видано, чтобы на извозчике ехать из Берлина в Москву! Летите туда на аэроплане и спуститесь на парашюте. Так всегда поступает со своими агентами полковник № 1. Если вас не поймают, то вы таким же способом вывезете на Запад вашего Майкова.
— Нет ничего легче, чем дать глупый совет, и я у вас советов не просил. Я и в Помпею ездил на извозчике, и Наташу катаю по Капри. Я вам дам тысячу лир на чай. Но я очень спешу.
— Вздор, некуда спешить в жизни.
— Да у меня завтра в университете экзамен по истории религий. А я не знаю учения Нила Сорского. Не успел прочесть.
— Это обычный кошмар во сне. Никакого экзамена у вас нет. Мне тоже часто снится, будто я для экзаменов консерватории не успел разучить тарантеллу.
— Как же вы, простой извозчик, можете учиться в консерватории! Вы все врете. На чай будет две тысячи лир.
— За две тысячи лир я могу вас отвезти в дом умалишенных. Вы все равно туда попадете, у вас, верно, дурная наследственность.
— Как вы смеете говорить дерзости! Я вас задушу, как араба в Сантандере.
— Только умалишенный может верить в панацею... А ваш полковник несерьезный человек...

— ...Странно, что у меня оба полковника смешиваются, ведь они совершенно разные люди, как и мы с вами. Впрочем, все люди друг друга стоят... Да, не вышел из меня писатель. Мое несчастье: я ведь и честолюбец, и болтун, и сноб. Очень печально... Угостите меня водочкой.
— У меня нет водки.
— Позор! Что же у вас в этом высоком до потолка шкапу? Он заперт английским ключом.
— У меня там виолончель.
— Вы играете на виолончели? Вдруг вы играете тарантеллу! Услышать ее здесь это было бы вроде того, как услышать в доме Гитлера сионистский гимн.
— Какая тарантелла? Что за вздор!
— Да ведь я для Наташи устроил здесь на Капри тарантеллу. Рядом с нашей гостиницей артисты ее играют всю ночь. И моя жизнь вообще фильм, положенный на музыку тарантеллы. Простите, что выражаюсь пошловато. Я и вообще пошловатый человек: «демонический». И никаких открытий я не сделал, я просто граф Сен-Жермэн... А в чем заключается ваше открытие?
— Вы отлично это знаете, ведь за этим приехали. В способе продления человеческой жизни. Я нашел панацею.
— Человечество давно ищет панацею. Либиг говорил, что нет идеи более тонкой, более возвышенной, сильнее действующей на творческую работу людей. А его современник и тоже знаменитый химик Распай уверял, что панацею нашел. Кажется, это была камфора? Разумеется, у вас ваше открытие записано как следует: с формулами, с цифрами, а? Где же вы храните записку? Тоже в этом кухонном шкапу с английским замком?
— Вы, верно, очень любите кинематограф? Это прямо для фильма: папка с секретнейшими документами, шпион ее похищает. И при этом подумывает: если он не отдаст, то я его убью... Вы, верно, убивали людей? Может, этим и хвастаете? Хотя бы перед собой?
— Нет, не хвастаю. А убивать случалось, как теперь столь многим. Я ведь воевал. Когда люди на ваших глазах живьем горят, *зажженные вашим огнеметом, а вас за это награждают, то моральные* понятия очень упрощаются. Да, я убивал людей, это очень просто. Раз как-то я даже своими руками задушил человека в Испании. У меня это записано в той розовой тетрадке, да я и без нее помню все чуть не наизусть. Жаль, что плохо написано, хотел, чтобы вышла «новелла», да не удалось, очень плохой я писатель. Хотите, расскажу?
— Не хочу.
— Да вы не сердитесь, что у меня бред. Мой бред особый, от Ололеукви. Вы можете об этом снадобье прочесть в специальных медицинских книгах, и не в мексиканских, а в немецких. Я из-за них и приобрел его в Мексике. Не люблю немцев из-за Наташи, но в их науку верю. Заинтересовался: неужели правда, что дает такой бред? Оказалось, почти все правда. Моя розовая тетрадка осталась в Берлине, на левой полке в кабинете, там, где у меня легкомысленные гравюры... Все еще, к сожалению, имею слабость к «легкомысленному», поэтому и люблю восемнадцатый век. Вот ведь в ту же тетрадку записал и свой, еще худший, рассказ об Оленьем Парке. Даже не рассказ, а «эскиз». Видите, какие я слова знаю: «эскиз», «новелла». Там я хотел вывести и дуру Эдду, она у меня sous-madame. Тоже вышла дрянь, от бездарности, да и от лени.
— Тяжел ваш бред умалишенного. Но задушить меня вам не удалось бы. Я закричу, сбегутся соседи.
— Помилуйте, я нисколько не собираюсь. Разве только так, могла проскользнуть мыслишка.
— У вас руки душителя.
— Полковник № 1 тоже все посматривал на мои руки. А я всего только одного человека и задушил: того араба в Сантандере...

... — За горло? Едва ли. Остались бы следы, а к его телу были допущены тысячи людей. Уж скорее отравили. Или «лечили» по методам Генриха Ягоды. Но и этого с уверенностью сказать нельзя. Верно, останется «неразрешенной загадкой истории».
— Может быть. Вроде как убийство Тимберия. На Капри говорят не «Тиберий», а «Тимберий». Они все очень любят своего Тиберия, Наташа не хотела верить. Я ведь говорил вам, что я женюсь на Наташе. Она, кажется, ваша любимица? Может быть, и вы в нее были влюблены? Только она, бедная, не знает, кто я такой. Что будет, если узнает, а? Что мне тогда делать: кончать самоубийством, а? Еще в молодости об этом подумывал и, верно, так и сделал бы, если б немного не надеялся найти тихую пристань. Так вы думаете, что Иосифу Виссарионовичу помогли умереть? Это было бы приятно, очень приятно. Ведь более страшного человека в истории никогда не существовало. Как мне жаль, что я никогда его не видел. Вы тоже нет?
— Я видел. Был у него с докладом о моем изобретении.
— Не может быть! Были у Сталина?
— Был. Для меня выхлопотал аудиенцию мой школьный товарищ, бывший в то время сановником. Но на беду, когда Иосиф Виссарионович меня принял, он уже подумывал о том, чтобы расстрелять этого сановника. Через некоторое время меня и посадили на Лубянку. Еле ноги унес.
— Да расскажите подробнее об этом посещении, уж если о *панацее рассказывать не хотите. Какой он, товарищ Сталин?* Цо то есть за чловэк?
— У него тоже панацея. У меня две, а у него третья. Его панацея — провокация. Всю жизнь что-то и кого-то провоцировал и почти всегда с успехом.
— Где он вас принимал?
— В своем кабинете, где же еще?
— Да, да, я читал описания, я столько о нем читал! На столе пять телефонов, самых важных в России. На темно-зеленых стенах портреты Маркса и Ленина. Это тоже символ его панацеи: он в книги Маркса отроду не заглядывал, а Ленина терпеть не мог. Дальше?
— Да что же дальше? Вы сами за меня рассказываете...
— Это потому, что я в вас все перевоплощаюсь. Или стараюсь, да плохо. Вы по дороге, верно, прошли через несколько комнат, там были люди. У всех на лицах было написано *обожание*. Одни, верно, «обожают его по-солдатски». Про себя думают, что, чем беззастенчивее лесть, тем лучше. Может, они правы. И он тоже прав, cela fait partie du métier. Иногда делает вид, будто это море лести ему противно. Тиберий тоже притворялся, будто не любит низкопоклонства. После какого-то заседания — сената, что ли? — сказал: «О, человеческая низость!» или что-то такое в этом роде. Но люди, хорошо его знавшие, после этого льстили ему еще больше. Ваш-то, конечно, делает вид, что считает потоки лести полезными для *дела*, ввиду глупости и стадности людей. Это тоже не он выдумал. И, может быть, так и надо: только у таких, как он, и есть настоящий престиж. В демократических государствах престиж создается изредка после смерти человека, а в рабских он после смерти исчезает. Но ведь это «после смерти» ему, как им всем, не так интересно. Вы думаете, что время все поставит на место? Какое же именно время? Одно поставит, а следующее переменит. Быть может, близкое потомство будет исходить всецело из ненависти к нему и его делам: что угодно, да лишь бы на них не походило! А потом будут и рецидивы сталинизма. Да и что в потомстве? Далеко до потомства! Теперь у него все в иностранной политике, а ведь прежде она его и не очень интересовала. Внутренние враги как будто уничтожены. Велик соблазн, — он в два-три месяца может овладеть европей*ским континентом. Правда, он и так владыка полумира, но полу*цивилизованные страны, от Китая до Албании, ему мало интересны. Велик соблазн, но велик и риск. Однако с его шансами Наполеон давно начал бы войну, — разумеется, Наполеон-коммунист. Он и тут «средний». Знамение эпохи; взбурлил ее средний человек, страшный и все-таки средний. Загадка в том, что никакой загадки нет. Ничего в нем нет драматического, он не похож ни на Мефистофеля, ни на Ричарда III, в нем даже почти непостижимое отсутствие романтики. Это, конечно, минус для исторической личности. Но биографы что-либо придумают, будут во все времена глупые и изобретательные биографы. Ну, исторические заслуги найдут, найдут даже заслугу психологическую: построил огромное здание только на зле и ненависти, открыл колоссальный резервуар, из которого они будут литься столетьями. Да, все спасенье в том, что велик и риск. Это в мое время можно было начинать войны без риска. Мои приятели, Людовик XV, Фридрих II, знали, что ни им, ни их престолу поражение ничем не грозит. А теперь зеленая зала в Нюрнберге с виселицей и трапом... Так он ваше открытие отверг? Противоречит диалектическому материализму, а? Так, так. Но ведь он все-таки умер, а? Я сам читал об этом в неаполитанской газете, еще и Наташе прочел. Она была поражена, но «не особенно»... Наташа всегда говорит «не особенно». И не думайте, что мне снилось... Это полковнику № 1 приснилось, будто пророк Иеремия проиграл в покер два миллиона марок. А я проиграл меньше сорока тысяч... Вы Сеньориты не принимаете? В Мексике народ называет

Ололеукви Сеньоритой. Уж не знаю, почему. Быть может, потому, что бред так часто связан с женщинами. У меня тоже бывали такие виденья. А верно, все эти сановники, особенно те, что выпивают, входя к нему в столовую, думают: «А вдруг случится такой ужас и я за вином брякну то, что действительно о нем думаю!» Ведь тех, кто поважнее, он иногда приглашает к себе запросто на обеды. Атавизм старого кавказского гостеприимства? Любит угощать людей и выпивать с ними? Ведь человек же он все-таки, а? Или и тут его панацея? «Проговорюсь за вином, тогда они проговорятся». Он ведь и с Бухариным не раз коротал вечерок, и с Рыковым выпивал. И, верно, злобы к ним не чувствовал. Не чувствовал, быть может, и тогда, когда отправлял их в застенок: просто так будет лучше. Ну, а мелкая сошка — дело другое. Эти и в самом деле гордились тем, что каждый день видят вблизи самого могущественного, самого знаменитого человека на земле! Из-за него перейдут в историю, попадут в романы, в театральные пьесы 21-го столетия. Да и восхищались отчасти тоже искренно: как-никак, продержался у власти столько лет, всех своих врагов погубил, никто с ним справиться не мог. У более умных было, наверное, и сомнение: все-таки что же это такое? как это могло случиться? ведь мы-то знаем, что ничего особенного в нем нет, хотя он умен и хитер; он и говорить по-русски как следует не научился, ничего не читал, ничего сколько-нибудь интересного отроду не написал и не сказал. Но над всем преобладал у них, разумеется, ужас. Как и Гитлер, он вполне обладал этим ценным для государственного деятеля качеством: умел вызывать страх в людях. И больше всех дрожали высокопоставленные сановники, то есть те, к которым он выказывал благосклонность: они ведь лучше всех знали, что он органически неспособен сказать правду. Главные сановники иногда с ним еще спорят, но очень точно знают, когда надо перестать спорить. Некоторые из них, быть может, считают его душевнобольным и не так уж ошибаются... Да, да, я все говорю за вас, простите. Что же было?

— В ту минуту, как меня к нему ввели, секретарша подавала ему чай...

— Ему было бы приятнее, если б чай подавал какой-нибудь сановник, но он не каждому сановнику доверил бы свой чай. Секретарша, конечно, старая, сто раз проверенная коммунистка, «преданная, как собака». И уж, конечно, он прекрасно понимает, что если б дела сложились иначе, то она с таким же видом восторженного обожания входила бы в кабинет Троцкого. Кто знает, что и у нее на уме, в ее крошечном умишке? Что же он ей сказал?

— Сказал одно слово: «Спички». Кажется, чем-то остался недоволен. Но зачем мне рассказывать, когда вы все знаете лучше?

— Он, конечно, сказал: «У моей матери была коза, ты очень на нее похожа». Говорят, многие сановники слышали от него эту остроумную шутку, и у них верно тоже, как у нее, лица немедленно расплывались в восторженную улыбку. Перед ним лежала груда бумаг. По слухам, он сразу все схватывает и тотчас принимает решение. Иногда пишет на полях несколько слов, обычно грубоватых, почти всегда безграмотных. Прежде он еще немного стыдился, что плохо знает русский язык. Литературные способности Троцкого и Бухарина его раздражали. Давно больше не обращает внимания. По существу же то, что он пишет на бумагах, наверно, по-своему умно и целесообразно, так и должен писать диктатор, хорошо знающий свое ремесло и своих подчиненных. Его резолюции не покрывались для вечности лаком, как когда-то замечания царей на бумагах, но читались подчиненными с неизмеримо большим трепетом: почти по каждой из них тот или другой подчиненный мог предвидеть собственную судьбу, более или менее отдаленную: он редко расправлялся с людьми немедленно. Были, должно быть, и вырезки из иностранных газет. Если его в них называли дьяволом, он, наверное, читал с удовольствием. Но приходил в бешенство, когда говорили, что он некультурен, невежествен или же, что он не всемогущ, что власть принадлежит Политбюро. Все-таки в общем это чтение доставляло ему наслаждение. Видел, каждый день видел, что иностранные державы не только не хотят войны, а трясутся при одной мысли о ней. России же объявлял прямо противоположное, это входит в панацею. Теперь главный вопрос: быть ли войне или нет? Разница между ним и всем остальным человечеством была в том, что решение этого вопроса зависело именно от него. Великое было наслаждение! А коммунистические идеи? Быть может, когда-то они и занимали некоторое место в его жизни, крошечное место. Гомеопатическая это была идейность и тогда. Но и от нее ничего не осталось и не могло остаться в той кровавой бане, в которой он жил столько лет. Да и когда же он беспокоился о счастье человечества! Он ведь людей всегда терпеть не мог. Будущее общество его совершенно не интересовало. Ему в этом обществе было бы нестерпимо скучно, просто не знал бы, что с собой делать. Кроме власти, он ничего никогда в жизни не любил. В молодости могла быть власть над десятками отпетых людей, теперь над сотнями миллионов. Жизнь без нее потеряла бы для него не только всякую прелесть, но и всякий интерес. Для сохранения власти нужно казнить, он это и делал. Быть может, вначале еще волновался — за себя, конечно: «сломаю себе шею!» А потом делал равнодушно, без сожаления и уж, конечно, без «садизма». Наслаждение испытывал разве лишь в исключительных случаях. Донесения о подготовке убийства Троцкого, потом о выполнении этого дельца были, вероятно, одной из величайших радостей его жизни. Люди, быть может, наивно предполагают, будто его по ночам преследуют кошмары, будто в его видениях проходят бесконечные ряды казненных, как это описывается в разных классических и неклассических трагедиях! В действительности он, наверное, о них никогда и не думает, — разве просто кто-либо вспомнится по какой-нибудь случайной ассоциации, иногда, быть может, и забавной. Его лакеям, должно быть, неловко или даже тяжело говорить с ним о замученных товарищах: все-таки не у всех же такие нервы, как у него. Иные казненные еще так недавно тут пили винцо и шутили с ним. Вчера тот, а кто завтра? Vivat sequens! Да еще вдруг пробежит по лицу тень? А как, верно, им хотелось узнать подробности убийства Троцкого! Узнавали, может быть, стороной. Нет, какие уж идеи! В своей компании они об «идеях» никогда и не говорят: некогда, да и что уж, старый философско-политический силлогизм есть, всегда можно вспомнить и отбарабанить: ну, там, мы стремимся к счастью человечества, — наша партия ведет к этому мир, следовательно, все, что полезно нашей партии, то и добро, а что вредно, то и зло. Не может быть преступным никакое полезное партии дело, хотя бы и самое кровавое. Не они и это выдумали. Да только теперь вспоминать и отбарабанивать нет ни времени, ни нужды, ни повода. И, разумеется, Иосиф Виссарионович без малейшего колебания начал бы третью войну и отправил бы сотню миллионов людей в лучший мир, если б только была уверенность в победе. Но ее нет! Шансы есть, большие шансы, а ведь все-таки чем может кончиться, а? Гитлер был совершенно уверен, что выиграет мировую войну, он даже почти ее выиграл. Многие сановники надеются ему понравиться бодрым тоном: чрезмерный оптимизм может их погубить лишь в более отдаленные времена, а чрезвычайный пессимизм немедленно. Кто в России далеко заглядывает в будущее? И знает, хорошо знает Иосиф Виссарионович, что в случае беды первыми его предадут «фанатики». Так было и с Гитлером. Спасение для человечества в том, что он часто думает о Гитлере: тот тоже шел от успеха к успеху, того тоже «обожали». Если б Сталина в самом деле любили в России, как говорят на Западе дураки и продажные люди, то это было бы доказательством чудовищного падения русского народа, падения и умственного, и морального. Но этого нет. Да ему-то что? Не народной любовью держатся такие правители, как он. Он человек с сумасшедшинкой. Может быть, теперь даже и вправду совсем душевнобольной? Но нервы у него, вроде канатов, случай редчайший. Гитлер жил в смертельной опасности только двенадцать лет, а этот чуть не вчетверо дольше... Впрочем, я все забываю, что он умер. Ведь умер?

— Умер.

— Он нежить. Это старое русское слово: человекообразное существо, совершенно лишенное души. Вы не удивляйтесь, что я все облекаю в ироническую форму. Наташа тоже говорила мне, что я слишком много шучу: «Не все шутки сегодня шути, оставь и на завтра». Она это сказала «там, в Груневальде»... У меня в свое время был nervous breakdown. Очень заметно, что я не совсем в своем уме?

— Очень заметно.

— Это вы назло говорите, за то, что я подбивал вас на отъезд издевательством над русской интеллигенцией. Да что же мне было делать? Наташа тоже этого терпеть не может. Она милая, чудесная, но она ничего в людях не понимает. Уж если меня еще не раскусила! Я по ее рассказам много о вас думал: как к вам подойти? Спрашивал себя: какие мысли, какие чувства могут быть у старого русского интеллигента, у очень много думавшего человека, прожившего тридцать пять лет под властью большевиков? Отвечал: ничего не может быть, кроме отвращения от людей, от себя, от всего. Он, Майков, думал я, ухватится за бегство. Приведу ему доводы, и рациональные, от выгоды, и не рациональные... Я о вас судил по себе. А вышло, что вы, так сказать, спектральное ко мне дополнение. Неужто в вас все перегорело? Но были же у вас страсти, влюблялись же вы, проигрывались в карты, бывали на волосок от гибели? Или только были страсти умственные, а тарантеллы никогда не было?.. Нет, не гневайтесь ни за себя, ни за русскую интеллигенцию, я все беру назад. Допускаю, что в России и только в России теперь есть истинные праведники. Искренно это говорю, вполне искренно. Их мало, они считанны, но есть. Да не в них дело. Лучше были бы Макроны. Помните, Макрон задушил Тимберия? Или же, его отравил врач Харикл? Как же, я рассказывал об этом Наташе. Да, конечно, могли и Иосифу Виссарионовичу помочь умереть. Для них ведь вопрос стоял точно так же, как для Калигулы: ведь ясно, он выжил из ума, Тимберий, просто выжил из ума, уж если собирается укокошить таких прекрасных людей, как мы? Теперь либо мы, либо он. То есть, либо он, либо я: до других каждому из калигул так же мало дела, как до «идеи». О, это шекспировские должны были быть сцены! Ночь, наглухо затворенная комната, кто-то с кем-то шепотом совещается. Двое их? Трое? Больше? Что в таких случаях говорят? Как в таких случаях говорят? С высокими идеями? — «Поймите же, товарищ Хариклов: этого требуют высшие интересы коммунизма. Партия поставлена перед этой ужасной необходимостью. Вы должны исполнить свой тягостный долг». Или, напротив, по привычке, очень просто, «цинично», чтобы употребить глупое испошленное слово: — «Ты, Харикловский, сам понимаешь, ты не

дурак, у тебя выбора нет. Генриха Ягоду и его врачей помнишь? У них тоже выбора не было. Сделали и ты сделаешь, а то сам понимаешь»... Конечно, Харикловский бледен, как смерть. Но, верно, и у Макроновых руки трясутся, ох, сильно трясутся. Спорит ли он? Соглашается ли сразу? А следующая глава? Следующая глава-то? В белом халате стоит товарищ Хариклович у той постели. — «Вот, Иосиф Виссарионович, примите... Это очень вам будет полезно». И надо сказать бойко, уверенно, твердо. Избави Бог, чтобы дрогнул голос или дернулось лицо. Прошло! Проглотил!.. Господи!.. И выйти нужно тоже как ни в чем не бывало. «До завтра, Иосиф Виссарионович»... И не рухнуть на пол без чувств. А так спокойно пройти по коридорам, по лестницам, чтобы ни один мускул не шелохнулся в лице. Ох, нелегкое ремесло ягóд и их агентов! Их жизнь почище моей! Если что-то людям прощается за *ужас* переживаний, то этим простится немало. Хоть бы увидеть когда-нибудь жуткие места, где все это происходило! Эти стены Кремля так много впитали, что и через сто лет будет страшно дышать. Мало вам будет ста лет, гдажданин Майков, чтобы увести души людей. Знаю, знаю, догадываюсь, какая у вас вторая панацея, моральная: тут и русская идея, и «мы нация крайностей», и Нил Сорский, и Достоевский, и «всечеловечество» — и все это ни к чему. И на Западе тоже ни к чему, хотя там тоже есть и такое, и еще лучшее. Эллинский дух, например. Странно, все мыслители сомнительной порядочности очень любят толковать о мудрости Эпикура и о «духе древней Эллады»...

...Поезд только что отошел от вокзала. По перрону ходили полицейские. Вагон третьего класса был переполнен греческими беженцами, спасавшимися от каких-то военных действий. Кто-то ругнул англичан, другие хмуро на него покосились. Как только поезд тронулся, сидевшая у окна красивая, очень бледная женщина сорвалась с места и поспешно, мимо стоявших в коридоре людей, вышла на площадку. Там никого не было. Она перекрестилась — и отворила дверцы вагона. Высокий оборванец в рубашке без рукавов и воротника, в огромной соломенной шляпе, выбежал из-за водокачки, ловко вскочил в ускорявший ход поезд и захлопнул дверцы. Бледная женщина хотела обнять его — и не обняла, только смотрела на него, еле дыша. Говорить она не могла. Незаметно наклонив голову, он быстро прошел в другой конец вагона, морщась от запаха чеснока. «Вот тебе и Эллада! Славны бубны за горами. Еле спасся, да еще спасся ли. Зачем я выбрал эту сен-жермэновскую жизнь?.. Кем же я мог бы быть? Народным трибуном? Говорить политические пошлости перед многотысячной толпой? Мог бы. Написать замечательную книгу? Не мог бы. А только это ценно, только это и *остается:* замечательные книги. Ну, и черт с ними, не буду жить в веках. Женщины? Вот и эта гречанка ушла навсегда. Mille e tre... У Людовика их было тысяча восемьсот. У меня Оленьего Парка не было...»

— ...Так значит, у вас двé панацеи, Николай Аркадьевич? Вы не только хотите удлинить жизнь людей, но научить их добру? Хорошо, хорошо, вы будете проповедовать на Западе и моральную панацею. Вам нужно познакомить с ней мир. Но без вашего биологического открытия вас и слушать никто не будет. Разве на Западе, без гения Достоевского, стали бы слушать какого-нибудь Мышкина или Алешу Карамазова? Куда лезете? Кто такие? Один идиот, другой мальчишка. Совершенно другое дело, когда говорит великий ученый, открывший в своей науке новые пути! Послушайте, я вам устрою статьи в газетах, радиосообщения, телевизию, что хотите, и не для вас, а для вашей идеи! Вы будете говорить о всеобщем сближении, о последних аксиомах сотням миллионов людей. Уедем, Николай Аркадьевич! Я использовал для вас *его* панацею. Я подал им идею новой провокации, они дали нам аэроплан, он нас ждет! Конечно, на границе они собираются нас сбить. Вы понимаете, какая очаровательная, какая дивная провокация: капиталисты пытались вывезти своего агента, то есть вас, но тому помешала бдительность рабоче-крестьянской власти! Мне предложено спуститься на парашюте, обещаны разные блага. Условия с провокаторами они часто выполняют, я ими не соблазнился. Принял, конечно, с полной готовностью, но у них свой план, а у меня мой, бабушка надвое сказала. Погибнем так погибнем, вы сами говорите, что вам терять нечего. Это fifty-fifty, теперь все в мире fifty-fifty, даже существование земли ..? Послушайте, если вы умрете здесь, что будет с обеими панацеями? Бумаги бросят в корзину. Допустим, вы сделаете надпись, что они очень важны. Тогда папка попадет на Лубянку. В лучшем случае бумаги передадут на рассмотрение какому-нибудь их ученому, любимчику, надежному прохвосту. Он либо признает ваше открытие не имеющим никакой ценности, либо выдаст его за свое. Вернее, он сделает то и другое: сначала объявит, что бумаги вздор, а через некоторое время сообщит о своем головокружительном открытии. Быть может, Советское правительство и будет знать правду, но оно поддержит версию любимчика: гораздо лучше, чтобы автором великого открытия был коммунист, чем сидевший в тюрьме белобандит. Он объявит, что он сделал свое открытие под руководством Иосифа Виссарионовича. И на вечные времена автором будет он... Видите, у вас даже лицо задергалось. Возможно и другое: ваших бумаг никому не покажут, на них просто не обратят внимания: какое уж там открытие мог сделать жалкий лаборант, неудачник, которого на службе держали из милости! На Лубянке ничего никогда не уничтожают, все может пригодиться, бумаги так и будут лежать. Допустим, большевики падут через десять или двадцать лет. Перед гибелью они наверное все сожгут, к великой радости бесчисленных сексотов. А если даже не сожгут, то для разбора понадобятся столетия. Знаете ли вы, что во Франции до сих пор разобрана только часть архивов, оставшихся от Великой революции? Кроме того, разбирать архивы будут люди, ничего в биологии не понимающие. Можно ли предположить, чтобы они наткнулись именно на ваше досье из лежащих там миллионов? Можно ли предположить, чтобы они заинтересовались делом никому неизвестного лаборанта, умершего в тюрьме от рака простаты? Чтобы они прочли и оценили полуистлевшую ученую записку? Нет, не обманывайте себя: ваше имя останется совершенно неизвестным. Награды, почести, слава достанутся вору. Он станет знаменит и его, разумеется, пощадят в день расправы, если будет такой день. Он немедленно перекрестится, как все, и будет «наша русская гордость»... Не отдавайте бумаг Макронам! Отдайте их мне, и вы будете благодетелем человечества! Клянусь честью, что мы поступим иначе! Конечно, вы вправе не верить чести секретного агента, но подумайте, *зачем* нам обманывать? Если б даже нашелся у нас такой подлец-ученый, то ведь мы-то будем знать, откуда пришло открытие. Мы отдадим бумаги на рассмотрение компетентной комиссии. она будет убеждена, что автор на свободе и находится где-то в западных странах, мы и имени вашего не назовем, пока не узнаем, что вас больше нет в живых. О, тогда мы назовем ваше имя! Мы разгласим его на весь мир! Это будет соответствовать и нашим интересам, это будет наш реванш за Фукса, за Понте-Корво, за стольких других. Открытие гениального русского ученого досталось нам! Они его не использовали. Для этого, верно, вы и понадобились американцам. После войны вы вернетесь... Да, будет война! Москва найдет повод. Всегда можно найти повод. У вас нет выбора, гражданин Майков. Вы — человек обреченный, это судьба трех или четырех гениальных людей, которые, быть может, теперь существуют в вашей несчастной, забытой Богом стране!.. А если не хотите лететь, то кончайте с собой немедленно! За вами придут сегодня же ночью. Проваливайте в лучший мир! А то бежим, аэроплан ждет на улице.

— Аэроплан ждет на улице!

— Да, да, без аэродрома. Послушайте, вы увидите Капри! Солнце светится в зеленой воде моря. Вы помните эту воду? Вы увидите Венецию, мы проведем ночь на Пиацца-Сан-Марко!.. Вы увидите Наташу! Наташу де Палуа!.. Бежим...

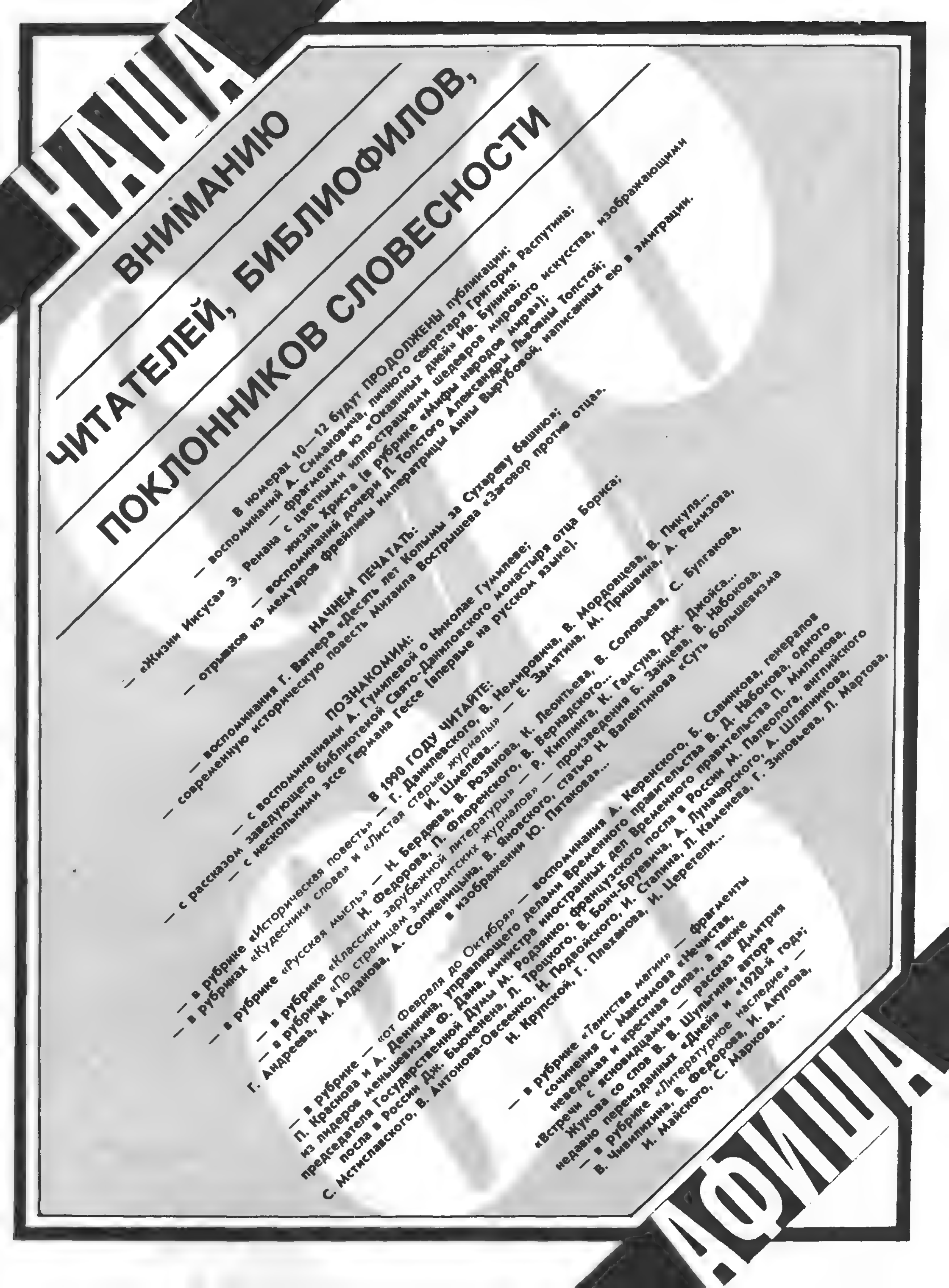
...Это под нами Красная Площадь! Слышите траурный марш? Это *его* хоронят! Это бьют часы на башне Кремля. Гудят гудки фабрик, заводов, пароходов, паровозов. Играют траурный марш. Склоняются победные знамена над прахом величайшего полководца всех времен. Маршалы на алых бархатных подушках несут ордена и медали. И как все врут, как чудовищно все врут! маршалы и паровозы! Кто это говорит речь? Это *дофин*, Берия, Тиберий-Берия. Он в пиджачке! Дофин, дофин, в этой стране нельзя править в штатском платье! Дофин, дофин, рядом с тобой другие дофины, убей их поскорее, а то они убьют тебя... Прощай, Москва! За нами погоня. Не бойтесь, гражданин Майков. В Европе нет летчика лучше меня, они нас не собьют!.. Играют тарантеллу! Да, вся моя жизнь тарантелла...

...Аэроплан опустился на Капри. «И как хорошо прошел по каменным лестницам, ничего не случилось... Сколько же я летел? Почему началась война? Из-за меня? Так быстро? Нет, слишком незначительный повод... Надо сейчас же купить газеты... Где же папка? Сейчас снестись с полковником... Поздно, если началась война... Но заплатить он должен!..»

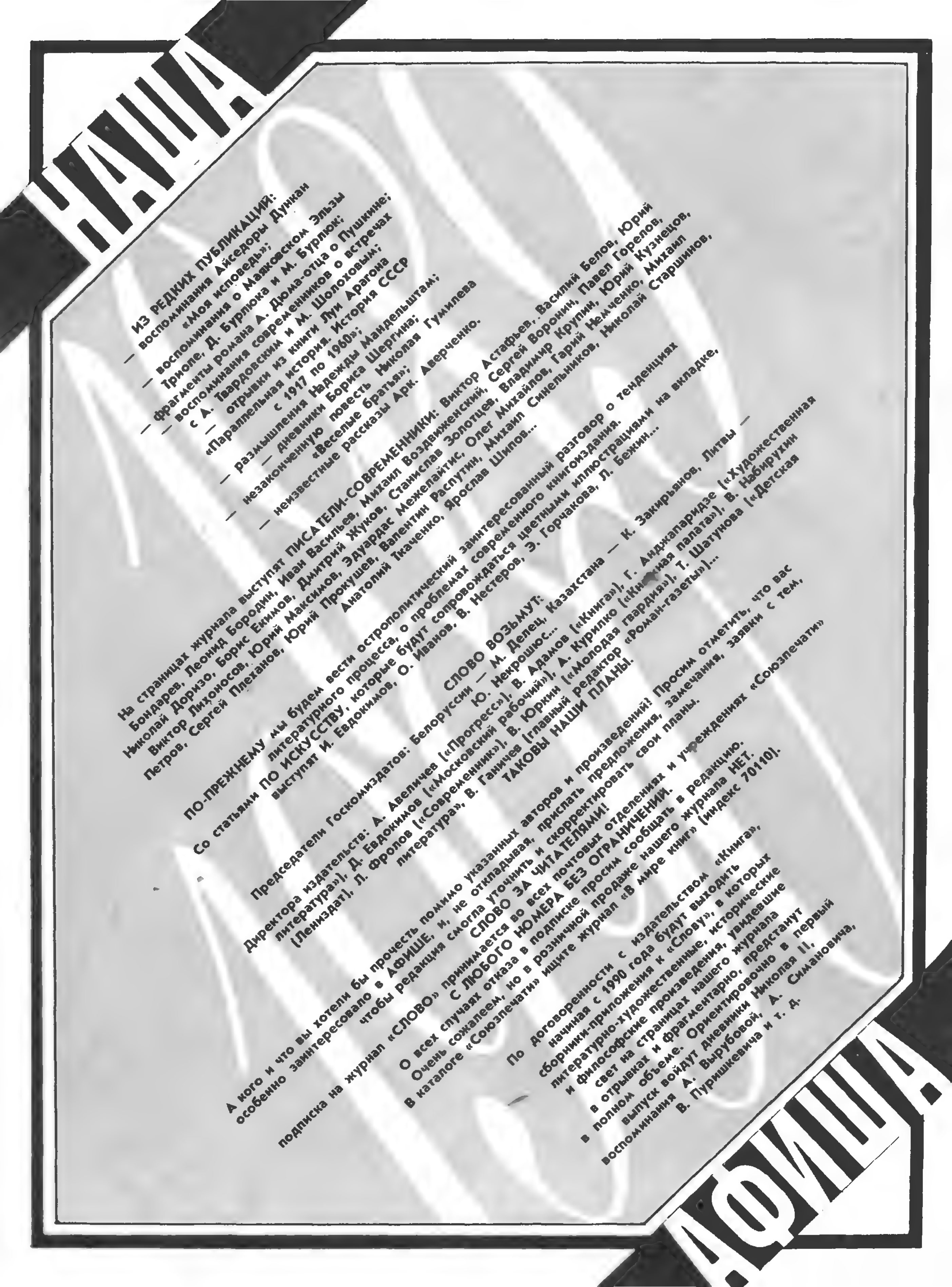
Шелль, широко раскрыв глаза, дрожал под одеялом на кровати. Бред уже кончался. «Ведь я с ним говорил! Я видел похороны... Неужто *все* было бредом! Не может быть... Но ведь это играют тарантеллу!»

Только минуты через две он пришел в себя. «Это у соседа играют... Неужто там танцевали до утра? Да, это так, все было ерундой! Никого я не вывез... И не поеду, ни за что не поеду в эту страшную страну».

Он встал и подошел к окну. Солнце уже всходило. «Море, сады... Все пройдет, это останется!»



НАША
ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ, БИБЛИОФИЛОВ,
ПОКЛОННИКОВ СЛОВЕСНОСТИ
В номерах 10—12 будут ПРОДОЛЖЕНЫ публикации:
— воспоминаний А. Симановича, личного секретаря Григория Распутина;
— фрагментов из «Окаянных дней» Ив. Бунина;
— «Жизни Иисуса» Э. Ренана с цветными иллюстрациями шедевров мирового искусства, изображающими жизнь Христа (в рубрике «Мифы народов мира»);
— воспоминаний дочери Л. Толстого Александры Львовны Толстой;
— отрывков из мемуаров фрейлины императрицы Анны Вырубовой, написанных ею в эмиграции.
НАЧНЕМ ПЕЧАТАТЬ:
— воспоминания Г. Вагнера «Десять лет Колымы за Сухареву башню»;
— современную историческую повесть Михаила Вострышева «Заговор против отца».
ПОЗНАКОМИМ:
— с воспоминаниями А. Гумилевой о Николае Гумилеве;
— с рассказом заведующего библиотекой Свято-Даниловского монастыря отца Бориса;
— с несколькими эссе Германа Гессе (впервые на русском языке).
В 1990 ГОДУ ЧИТАЙТЕ:
— в рубрике «Историческая повесть» — Г. Данилевского, В. Немировича, В. Мордовцева, В. Пикуля...
— в рубриках «Кудесники слова» и «Листая старые журналы» — Е. Замятина, М. Пришвина, А. Ремизова, И. Шмелева...
— в рубрике «Русская мысль» — Н. Бердяева, В. Розанова, К. Леонтьева, В. Соловьева, С. Булгакова, Н. Федорова, П. Флоренского, В. Вернадского...
— в рубрике «Классики зарубежной литературы» — Р. Киплинга, К. Гамсуна, Дж. Джойса...
— в рубрике «По страницам эмигрантских журналов» — произведения Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Андреева, М. Алданова, А. Солженицына, В. Яновского, статью Н. Валентинова «Суть большевизма в изображении Ю. Пятакова»...
— в рубрике — «от Февраля до Октября» — воспоминания А. Керенского, Б. Савинкова, генералов П. Краснова и А. Деникина, управляющего делами Временного правительства В. Д. Набокова, одного из лидеров меньшевизма Ф. Дана, министра иностранных дел Временного правительства П. Милюкова, председателя Государственной Думы М. Родзянко, французского посла в России М. Палеолога, английского посла в России Дж. Бьюкенена, Л. Троцкого, В. Бонч-Бруевича, А. Луначарского, А. Шляпникова, С. Мстиславского, В. Антонова-Овсеенко, Н. Подвойского, И. Сталина, Л. Каменева, Г. Зиновьева, Л. Мартова, Н. Крупской, Г. Плеханова, И. Церетели...
— в рубрике «Таинства магии» — фрагменты сочинения С. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила», а также «Встречи с ясновидцами» — рассказ Дмитрия Жукова со слов В. В. Шульгина, автора недавно переизданных «Дней» и «1920-й год»;
— в рубрике «Литературное наследие» — В. Чивилихина, В. Федорова, И. Акулова, И. Майского, С. Маркова...
АФИША



НАША АФИША

ИЗ РЕДКИХ ПУБЛИКАЦИЙ:
— воспоминания Айседоры Дункан «Моя исповедь»;
— воспоминания о Маяковском Эльзы Триоле, Д. Бурлюка и М. Бурлюк;
— фрагменты романа А. Дюма-отца о Пушкине;
— воспоминания современников о встречах с А. Твардовским и М. Шолоховым;
— отрывки из книги Луи Арагона «Параллельная история. История СССР с 1917 по 1960»;
— размышления Надежды Мандельштам;
— дневники Бориса Шергина;
— незаконченную повесть Николая Гумилева «Веселые братья»;
— неизвестные рассказы Арк. Аверченко.

На страницах журнала выступят ПИСАТЕЛИ-СОВРЕМЕННИКИ: Виктор Астафьев, Василий Белов, Юрий Бондарев, Леонид Бородин, Иван Васильев, Михаил Воздвиженский, Сергей Воронин, Павел Горелов, Николай Доризо, Борис Екимов, Дмитрий Жуков, Станислав Золотцев, Владимир Крупин, Юрий Кузнецов, Виктор Лихоносов, Юрий Максимов, Эдуардас Межелайтис, Олег Михайлов, Гарий Немченко, Михаил Петров, Сергей Плеханов, Юрий Прокушев, Валентин Распутин, Михаил Синельников, Николай Старшинов, Анатолий Ткаченко, Ярослав Шипов...

ПО-ПРЕЖНЕМУ мы будем вести острополитический заинтересованный разговор о тенденциях литературного процесса, о проблемах современного книгоиздания.

Со статьями ПО ИСКУССТВУ, которые будут сопровождаться цветными иллюстрациями на вкладке, выступят И. Евдокимов, О. Иванов, В. Нестеров, Э. Горчакова, Л. Бежин...

СЛОВО ВОЗЬМУТ:

Председатели Госкомиздатов: Белоруссии — М. Делец, Казахстана — К. Закирьянов, Литвы — Ю. Некрошюс...

Директора издательств: А. Авеличев («Прогресс»), В. Адамов («Книга»), Г. Анджапаридзе («Художественная литература»), Д. Евдокимов («Московский рабочий»), А. Курилко («Книжная палата»), В. Набирухин (Лениздат), Л. Фролов («Современник»), В. Юркин («Молодая гвардия»), Т. Шатунова («Детская литература», В. Ганичев (главный редактор «Роман-газеты»)...

ТАКОВЫ НАШИ ПЛАНЫ.

А кого и что вы хотели бы прочесть помимо указанных авторов и произведений! Просим отметить, что вас особенно заинтересовало в АФИШЕ, и, не откладывая, прислать предложения, замечания, заявки с тем, чтобы редакция смогла уточнить и скорректировать свои планы.

СЛОВО ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ!

подписка на журнал «СЛОВО» принимается во всех почтовых отделениях и учреждениях «Союзпечати» С ЛЮБОГО НОМЕРА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

О всех случаях отказа в подписке просим сообщать в редакцию.

Очень сожалеем, но в розничной продаже нашего журнала НЕТ.

В каталоге «Союзпечати» ищите журнал «В мире книг» (индекс 70110).

По договоренности с издательством «Книга», начиная с 1990 года будут выходить сборники-приложения к «Слову», в которых литературно-художественные, исторические и философские произведения, увидевшие свет на страницах нашего журнала в отрывках и фрагментарно, предстанут в полном объеме. Ориентировочно в первый выпуск войдут дневники Николая II, воспоминания А. Вырубовой, А. Симановича, В. Пуришкевича и т. д.



Ведет Павел Бондаровский и Александр Налоев

50 ЛУЧШИХ ДИСКОВ

зарубежной поп- и рок-музыки всех времен с точки зрения советских поклонников

В № 12 за прошлый год журнал «В мире книг» предложил читателям совместными усилиями составить таблицу *популярности у советских слушателей пластинок зарубежной поп- и рок-музыки.* В ответ редакция получила более 3800 открыток с самыми разными мнениями. Обработку почты, ее систематизацию и подведение итогов анкетирования безвозмездно осуществили московские филофонисты Надежда Савельева, Михаил Сырицын и Александр Бочаров. Методологическая консультация Алексея Бросалина.

1. SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND — The Beatles (1967, Parlophone)
2. THE DARK SIDE OF THE MOON — Pink Floyd (1973, Harvest)
3. ABBEY ROAD — The Beatles (1969, Apple)
4. DEEP PURPLE IN ROCK — Deep Purple (1970, Harvest)
5. WISH YOU WERE HERE — Pink Floyd (1975, Harvest/EMI)
6. MACHINE HEAD — Deep Purple (1972, Purple/Harvest)
7. LED ZEPPELIN IV — Led Zeppelin (1972, Atlantic)
8. THE WALL — Pink Floyd (1979, Harvest/EMI)
9. A NIGHT AT THE OPERA — Queen (1975, EMI)
10. THE BEATLES (WHITE ALBUM) — The Beatles (1968, Apple, 2LP)
11. JESUS CHRIST SUPERSTAR — Andrew Lloyd Webber/Tim Rice (1979, MCA, 2LP)
12. LED ZEPPELIN II — Led Zeppelin (1969, Atlantic)
13. RAINBOW RISING — Rainbow (1976, Polydor)
14. RUBBER SOUL — The Beatles (1965, Parlophone)
15. PHYSICAL GRAFFITI — Led Zeppelin (1975, Swan Song)
16. BROTHERS IN ARMS — Dire Straits (1985, Phonogram)
17. LOOK AT YOURSELF — Uriah Heep (1971, Bronze)
18. LED ZEPPELIN III — Led Zeppelin (1970, Atlantic)
19. ANIMALS — Pink Floyd (1977, Harvest/EMI)
20. HAIR OF THE DOG — Nazareth (1975, Mountain)
21. BAND ON THE RUN — Paul McCartney and Wings (1973, Apple)
22. FIREBALL — Deep Purple (1971, Harvest)
23. PYROMANIA — Def Leppard (1983, Vertigo)
24. BURN — Deep Purple (1974, Purple/Harvest)
25. LED ZEPPELIN — Led Zeppelin (1969, Atlantic)
26. MADE IN JAPAN — Deep Purple (1972, Purple/Harvest, 2LP, live)
27. HELP! — The Beatles (1965, Parlophone)
28. IMAGINE — John Lennon/Plastic Ono Band (1971, Apple)
29. DEMONS AND WIZARDS — Uriah Heep (1972, Bronze)
30. LET IT BE — The Beatles (1970, Apple)
31. HOUSES OF THE HOLY — Led Zeppelin (1973, Atlantic)
32. THE DOORS — The Doors (1967, Elektra)
33. REVOLVER — The Beatles (1966, Parlophone)
34. SABBATH, BLOODY SABBATH — Black Sabbath (1973, NEMS)
35. RAM — Paul and Linda McCartney (1971, Apple)
36. PARANOID — Black Sabbath (1970, NEMS; 1971, Warner Bros.)
37. NIGHTINGALES AND BOMBERS — Manfred Mann's Earth Band (1975, Bronze)
38. PICTURES AT AN EXHIBITION — Emerson, Lake and Palmer (1971, Island)
39. IN THE COURT OF THE CRIMSON KING — King Crimson (1969, Island)
40. MAGICAL MYSTERY TOUR — The Beatles (1967, Capitol; 1976, Parlophone)
41. AQUALUNG — Jethro Tull (1971, Chrysalis)
42. SLIPPERY WHEN WET — Bon Jovi (1986, Mercury)
43. THE JOSHUA TREE — U2 (1987, Island)
44. BENT OUT OF SHAPE — Rainbow (1983, Polydor)
45. A HARD DAY'S NIGHT — The Beatles (1964, Parlophone)
46. TECHNICAL ECSTASY — Black Sabbath (1976, Vertigo)
47. MASTER OF PUPPETS — Metallica (1986, MFN)
48. GOODBYE YELLOW BRICK ROAD — Elton John (1973, DJM)
49. THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY — Genesis (1974, Charisma)
50. DOUBLE FANTASY — John Lennon/Yoko Ono (1980, Geffen)

ОТ РЕДАКЦИИ

Некоторые подписчики нашего журнала, любители рок-музыки, ведут себя совсем не в духе времени — никакого демократизма и плюрализма. Шлют разгневанные, вплоть до нецензурной брани, письма, что мало вяжется не только с общей культурой, но и со столь утонченной, как они называют сами, рок-культурой.

Редакция, в своем бывшем составе, предлагая рубрику «Эксперимент» в № 6, 1988 г., не брала на себя никаких многолетних обязательств (каждому неверящему советуем обратиться к указанному номеру).

Новый состав редакции намерен продолжить рубрику в том объеме, как она начиналась полтора года назад (нынешние публикации в №№ 6 и 7, 1989 г., превышают этот объем), но четко скорректировав число публикаций вместе с ведущими рубрики. Они уже около года не работают в редакции, занимаясь подготовкой книги Рок-энциклопедия». Ваши справедливые замечания по материалам рубрики доводятся до их сведения, в том числе и о явном отставании журнальных публикаций от современного развития рок-музыки. Но, к сожалению, это не всегда находит у них понимание. Однако мы готовы попытаться достигнуть с ними договоренности в пользу подписчиков, о чем и сообщим вам.

Это, как нам кажется, вполне корректно и уважительно по отношению к поклонникам рок-музыки, несмотря на наше весьма сдержанное отношение к действиям коллег, открывших эту рубрику.

Однако мы никак не можем согласиться с теми, кто истерично пугает нас отказом от подписки на 1990 год. Они, конечно, не желают считаться с многочисленными читателями-книголюбами, которые совершенно не приемлют *присутствие рок-энциклопедии на страницах литературно-художественного журнала* и считают, что любители рока хотят насильственно утверждать только свое право...

Мнение нынешней редакции на сей счет таково. Мы доведем начатую рубрику до логического конца, если по-прежнему сохранится представительный круг подписчиков — любителей музыки и будут налажены достаточно *уважительные взаимоотношения с редакцией, исключающие шантаж и угрозы.* В ином случае мы оставляем за собой право в 1990 году прекратить публикацию материалов. В этом году продолжение рубрики будет в №№ 10 и 12.

Мы не отрицаем ни рок-музыки, ни поклонения ей. Но, оценивая редакционную почту последних полутора лет, весьма опечалены и встревожены воздействием подобной музыки *на молодых людей, вызывающей яростные* и оскорбительные эмоции, которые никак не назовешь добром, облагороженным чувством и романтическим порывом к свету, к жизни...

СЛОВО № 9 сентябрь 1989

Литературно-художественный журнал
Госкомпечати СССР и Госкомпечати РСФСР

Издается с сентября 1936 года
№ 9. Сентябрь 1989.

В НОМЕРЕ:

Сдано в набор 28.06.89. Подписано в печать 28.07.89. А03461. Формат 84×108/16. Бумага Знаменская 100 гр. Печать глубокая и офсетная. Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л. 14,27+0,85. Тираж 149 571. Заказ 427. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 129272, Москва, Сущевский вал, 64
Телефон для справок: 281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР. 170024, г. Калинин, проспект Ленина, 5.

Ясная Поляна. 1896. Годовщина свадьбы.



Гаспра. 1902. После болезни: с дочерью Татьяной. Фото С. А. Толстой. Из книги «Толстой в жизни».

В яснополянском доме



По тропе писателя.

ISSN 0321—0561. СЛОВО 1989. № 9. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.